

ISSN 0131-8136

РАДУГА

2

1990

Февраль



ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

ОРГАН
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
УКРАИНЫ

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

● ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ТАТАРЕНКО ЛЕОНИД. Поклонюсь я всей Отчизне. Стихи.	3
ГЛАЗОВ ГРИГОРИЙ. Не встретиться, не разминуться. Повесть.	4
КОМИЧЕВА ГАЛИНА. Талант останавливать время. Стихи.	38
ОЛЬШАНСКАЯ ЕВДОКИЯ. Памяти Анны Ахматовой. Стихи.	42
АРКАДЬЕВ ДЭВИ. Футбол Лобановского. Художественно-документальная повесть.	47
Оракулом, львом, орлом... Стихи поэтов Сирии	75
КРОПИН НИКОЛАЙ. В тот самый час... Стихи.	147

● ПУБЛИЦИСТИКА

БАЧИНСКИЙ ПЕТР, ТАБАЧНИК ДМИТРИЙ. Гибель премьера: версии и факты.	79
Штрихи к портрету Виктора Некрасова.	99

ИЗДАЕТСЯ С 1927 ГОДА

КИЕВ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«РАДЯНСЬКИЙ
ПИСЬМЭННИК»

● НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

- ВИТКОВСКИЙ Е. «В зале Вселенной, под созвездием Топора». 129

● КРИТИКА

- МАЗУРКЕВИЧ АЛЕКСАНДР. Человечное свечение Вишни. 138

● ПИСЬМА, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ 148

Цена и вокруг нее. Читательский резонанс на заседание дискуссионного клуба «Радуги».

● НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

- РЕРИХ ЕЛЕНА. Агни Йога. Братство. 157

Главный редактор
А. П. РОГОТЧЕНКО

Редколлегия:
А. Н. ВЫШЕСЛАВСКИЙ,
М. В. ГЛУШКО,
Ф. Д. ЗАЛАТА,
С. С. КАЛИНИЧЕВ,
В. В. КАНИВЕЦ,
М. С. ЛОГВИНЕНКО,
Б. Д. ПАЛИЙЧУК,
Г. Л. ЩУРОВ,
Ю. Ф. ЯРМЫШ

Ответственный секретарь
Н. А. МИЛОЦКАЯ

Технический редактор А. Н. Нечипоренко
Корректоры Т. Б. Криницкая, Ю. В. Нижник

Адрес редакции: 252004, Киев-4, Пушкинская, 32. Телефоны: 224-91-98, 224-33-23.

Сдано в набор 27.11.89. Подписано к печати 29.01.90. БФ 39024. 70×108/₁₆. Бумага книжно-журнальная. Офсетная печать. 15,4 усл. печ. л. 16,1 усл. кр.-отт. 17,9 учетн.-изд. л. Тираж 61 886 экз. Зак. 090. Цена 75 коп.

Ордена Ленина комбинат печати издательства «Радянська Україна»,
252047, Киев-47, проспект Победы, 50

К СВЕДЕНИЮ НАШИХ АВТОРОВ:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.
Рукописи объемом до двух авторских листов редакция не возвращает.

ПОДПИСКА НА «РАДУГУ» — БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

Текст набран и сверстан с использованием системы переработки
текста на базе фотонаборного комплекса «Каскад»
и средств вычислительной техники.

Леонид ТАТАРЕНКО



ПОКЛОНЮСЬ Я ВСЕЙ ОТЧИЗНЕ

Поклонюсь я Украине —
Над Россией
солнце встанет.
С первой
песни соловьиной
Мы — одна семья! —
славяне.
Нас одна земля взрастила.
Хлеб и песня — все
по-братски.
Нашу волю освятила
Тишина могил казацких...
Поклонюсь я Белоруси —
Свет взойдет
Над Украиной.
С первой радости и грусти
Мы в одной семье —
единой.
Нам одно сияет солнце.
И одно мы пашем поле.
Ни ордынцы, ни тевтонцы
Не убили нашей воли.
Поклонюсь полям России,
Украины, Белоруси —
Над днепровской вешней
синью
Светом счастья озарюсь я.
Нас одна судьба сплотила.
Мед и горечь — все
по-братски.

Нашу дружбу освятила
Тишина могил солдатских.
Поклонюсь я обелискам
На высотах и в долинах,
Под цветущим тамариском,
И грустящею калиной.
С золотых балтийских плесов
Песня братьев донесется.
Из детей никто не спросит:
Чье
в песке янтарном
солнце?
Да не будет больше горя
Ни у моря,
ни в Карпатах.
Дети вырастут, и вскоре
Все обнимутся —
брат с братом.
Поклонюсь я всей Отчизне.
Осененной славой дедов —
Майский дождь желанный
брызнет
На колосья
в День Победы.
Братья мы,
сражались вместе —
Потому и победили.
Брату, другу — хлеб
и песня —
В мире нет
прекрасней были.

НЕ ВСТРЕТИТЬСЯ, НЕ РАЗМИНУТЬСЯ

Повесть

1

Останки выгребли из могил городского кладбища и обгаженных вороньем тихих сельских погостов, из-под придорожных завалившихся обелисков, и перезахоронили в общей могиле кости сотен солдат. Все они теперь числились героями, братьями, конечным общим пристанищем их стала б р а т с к а я могила.

По черепам уже не отличить, кто блондин, кто шатен или брюнет, и даже самому дотошному из живущих едва ли пришло бы в голову сейчас пытаться разделить их: этот — славянин, тот — мусульманин или иудей. Установить можно было разве что ныне ненужное: кому пулей просквозило череп, а кому осколком разmozжило грудь.

Последний выдох их отлетел в небо, смешался с воздухом, которым минувшие сорок с довеском лет дышали все мы живые. Плоть же досталась земле, растворилась в ней, а кровь смешалась с подпочвенной водой, и она, процедившись через фильтры черноземов, глиноземов, известняков, песчаников, очищенная, выбилась наружу где-то за сотни верст через скальную щель холодным родничком; из него в зной не раз за эти годы люди пили, подставив раскрытый рот, жадно и неутоленно дергая кадыком, радостно ощущая жизнь, когда капли щекочуще текли с подбородка на потную шею, за рубаху по разгоряченной груди...

Все было готово: новую общую могилу на центральной городской площади засыпали, утрамбовали, сверху без единой зазоринки уложили тяжелые розовые гранитные плиты, уравнивая их с ухоженной травкой прямоугольного газона. Имена и фамилии высекать на памятнике не стали — не хватило бы места. Лишь врубили на лицевой стороне две надписи, взятые из сводок Совинформбюро: «После тяжелых боев с превосходящими силами противника наши войска временно оставили Город...» и «После тяжелых боев наши героические войска освободили Город...» Резчик разделил эти надписи изображением каски, лежащей на автомате ППШ, и датами.

Ночью при свете прожекторов новенький памятник освободили от досок, подпорок, лестничек, нарядили в белый саван, сшитый по заказу горисполкома на местной фабрике. Булыжны площади блестели, как отшабренные металлические заклепки. Уже разосланы были приглашения по городам и весям еще здравствующим защитникам и освободителям Города. Оставалось только притрусить песочком дорожки, рассекавшие буквой «Х» площадь, обязательно белым, как распорядилось начальство. За песком погнали экскаватор и два самосвала за Город, где еще до войны, подмытый дождями и талой водой, обвалился крутой обрыв, и на месте оползня обнажился белый песок. Сейчас там вонюче дымила городская свалка. Тут-то и вышла заковыка: из ковша в кузов вместе с песком посыпались кости и черепа, фляги,

позеленевшие пряжки от командирских ремней со звездой посередке, алюминиевые ложки, несгнившие голенища сапог, даже довоенный, помутневшего серебра портсигар с выдавленным охотником и двумя борзыми на крышке, самодельный наборный мундштук из плексигласа и обточенных заподлицо цветных пуговиц. Ясно было, что все это нашенское — и кости и предметы. Но чьи, откуда взялись? Что с ними, бесхозными, делать, когда все уже готово к открытию памятника? Не срывать же запланированное к дате освобождения Города торжество! Прибывший судмедэксперт наспех, приблизительно подсчитал: человек двадцать или чуть более. Шоферам самосвалов и экскаваторщику строго наказали помалкивать, само место спешно огородили плотным забором и учредили милицейский пост. Все — до выяснения...

2

Ничего этого Петр Федорович Силаков не знал. Он ехал, приглашенный в Город на торжества, в купе спального вагона. Попутчика не оказалось, и, довольный, Петр Федорович расположился как хотел. Иногда его, уморенного бездельем, окунало в сон; просыпался, ощутив сушь на губах, — спал навзничь с открытым ртом, — ополаскивал горло глотком остывшего чая, садился, нащупывал ногами шлепанцы и шел в тамбур покурить. Ему казалось, что зря ехал он в Город, где не был с осени 1942 года, поскольку не испытывал ни приподнятости, ни ожидания каких-то встреч или событий. Очередное мероприятие. Про такое начитался в газетах, наслушался по радио, насмотрелся по телевизору, — одно и то же: съедутся старые люди, навесив на пиджаки ордена, медали и значки; отставные генералы, некогда командовавшие этими людьми, будут выступать так, словно не проиграли ни одного сражения. Отцы Города вывернутся наизнанку, чтоб ублажить гостей, и старики, очумевшие от казенного внимания, расчувствуются и, забыв, что оно всего-то на четыре дня, что жизнь состоит из будней, станут восхищенно сравнивать здешние власти со своими — в тех городах и селах, откуда прибыли сюда на открытие памятника. Четыре дня их будут показывать по местному телевидению, а может, полуминутным сюжетиком удостоит и программа «Время». Но старость не должна быть комичной, считал Петр Федорович, всегда стараясь не впадать в сентиментальные воспоминания. Когда ему исполнилось шестьдесят, мудро и без лишнего сердцебиения вообще посчитал, что тревоги, волнения, вспышки эмоций позади, все давно произошло и ничего подобного уже не будет да и не нужно.

После смерти жены Петр Федорович остался один в двухкомнатной квартире. Человек сдержанный, педантичный, говорил он всегда словами, отобранными к месту, вроде перешушанными. Даже на поминках, когда к нему осторожно обращались, чтоб как-то отвлечь от горя, не вздрагивал, как бы очнувшись, не выглядел отсутствующим, а отвечал, как и привык в любых разговорах — определенно, последовательно, вроде горе не его и он тут всего лишь сторонний, по печальному случаю. Знавшие его очень близко, не удивлялись, не осуждали. Разве что сыну Юрию было неловко перед коллегами, впервые попавшими в этот дом, пришедшими с кладбища помянуть покойную. Единственное, что заметили тогда, — как сразу налил себе Петр Федорович водки не в рюмку, а в старый граненый стакан, выпил до мутного доньшка, не морщась, не выдохнул шумно, по-рыбы округлив рот, а тихо поставил стакан и, на минуту опустив глаза в тарелку, выбрал затем из горки на хлебнице черную горбушку, положил на нее сардинку и медленно стал жевать. Он не захмелел, но больше не пил...

Прожили они с женой сорок лет в согласии, во взаимном понимании, в нешумной доброте друг к другу. И соседям сперва казалось, что эта неразговорчивая и вроде замкнутая пара просто демонстрирует этакий образец, а колкости и обидные слова оставляют в стенах своей квартиры, из лифта выходят голубками, дабы не выносить сор из избы...

Пожалуй, никто не знал, как он переносит одиночество и неудобство — свою однорукость (левую по локоть отрубило осколком в конце войны под

Ораниенбургом). Он давно приспособил ко всему правую, почти не испытывал уже затруднений. И все же, когда остался один, оказалось, что во многом жена была второй его рукой, которую сейчас будто снова оторвало. Пришлось обучать правую делать что-то незнакомое ей, и когда не получалось, сдерживал раздражение, понимая жестокость этой необходимости — больше никто не подсобит.

Работал он на полставки на лакокрасочном заводе юрисконсультom, уйдя за год до смерти жены из адвокатуры, слыл хорошим знатоком гражданского права. По сей день ему звонили бывшие коллеги, а иногда и судейские — проконсультироваться по какому-нибудь каверзному случаю.

Почти ежедневно вечером в одно и то же время звонили сын или невестка: как он там, не нужно ли чего. Всегда оказывалось, что ничего не нужно. Он отвергал саму мысль быть зависимым от них, а потом — обязанным. Если невестка задавала эти вопросы по своей, что ли, должности в семье, то в искренности сына он не сомневался. Вопросы их звучали как-то застенчиво-осторожно, словно оба боялись обидеть Петра Федоровича напоминанием, что он-де теперь одинок и беспомощен, либо остерегались услышать резкость в его постоянном ответе «Мне ничего не нужно», резкость, которой они вроде и не заслуживали... Но он и не думал их оскорблять или обижать своими отказами. Он давно уже стал, как оголившаяся, но крепкая ветка. Время и менявшаяся по-всякому жизнь высосали, иссушили почти все заботы, хлопоты, трепетал лишь один зеленый листок — внук Алеша, вернувшийся только что из госпиталя после Афганистана, где ему оторвало осколком полстопы. Как и куда повернет его эта беда?

Незадолго до приезда Алеши Петр Федорович сказал сыну:

— Алеша вернется, пропишу его у себя. Пусть квартира ему достанется. Может, женится.

— А пропишут, папа?

— Пропишут. Я однорукий, одинокий и прочее. Он теперь со мной сравнялся... В общем это моя забота.

— Я бы не хотел, папа, — просительно сказал сын. — Алеша совсем от меня и Кати отдалится.

— Что ж, дело ваше... Была бы честь, — вздохнул Петр Федорович, дивясь очередной непрактичности сына.

К нему Петр Федорович относился с наболевшей жалостью, с каким-то постоянным ожиданием, как к спящему, которого не хотят будить, а стоя у изголовья, терпеливо ждут, когда проснется сам. Еще лет десять назад жена Петра Федоровича сказала ему:

— Смотрю я на нашего Юру, и душа болит. Тридцать пять лет, а все он какой-то неуверенный, смиренный. Хоть бы капелька тщеславия или зависти. А то ведь, что само приплыло в руки, то и ладно...

Сын работал ординатором в неврологическом отделении городской клинической больницы скорой помощи. Многие однокашники по институту уже «остепенились», ушли в науку, на кафедры, а он — по-прежнему «Юра», врач-ординатор. Петр Федорович давно перестал «доставать» сына разговорами на эту тему, поскольку в ответ всегда звучало одно и то же:

— Папа, я клиницист и по своему мышлению, и по складу характера. Наука мне противопоказана, наверное, я ей тоже. Я люблю иметь дело с больными. — И чтобы успокоить отца, заканчивал шуточно: — Представляешь медицину, где все поголовно кандидаты и доктора!..

В том, что говорил сын, имелась, конечно, внешняя правда. Но Петр Федорович был отцом и понимал другую правду: Юре не хватает тщеславия, профессионального самолюбия, зависти, может быть, всего этого в замесе, нет в нем хребта, хватки для нынешней жизни, не умеет локти растопырить, избыток деликатности в наше наглое время сделал его пассивным. От сына Петр Федорович знал, как сочинялись многие кандидатские, сколько платили за них нанятым «рабам», сколько бритв «ремингтон», дорогих японских зажигалок, позолоченных «паркеров», французских духов, роскошных коробок конфет ушло шефам и их женам; знал, как чадам этих шефов ассистенты и доценты кафедры строчили кандидатские, куда чада занимались более

веселыми делами... И смирившись, Петр Федорович утешался, что у Юры первая категория, что его на дом приглашали, что кандидаты наук не особенно мучались гордостью, просили, случалось, проконсультировать своих больных, а по радио в День медика «...для доктора Юрия Петровича Силакова» передали однажды песню по заказу какой-то Марии Степановны — бывшей Юриной больной...

«Ну и то слава богу», — печально согласился Петр Федорович, вернувшись в купе. Он снова отпил остывшего чая и уставился в окно.

3

В одиннадцать утра, как и было назначено, бывший десантник, сержант Алексей Силаков, уволенный по ранению и прибывший из госпиталя в родной город, стоял в огромной голой комнате перед длинным столом медкомиссии. Ничего, кроме умывальника и ширмы, прятанной кушетку, покрытую мягкой простыней, тут не было. Стопки сколотых бумаг — выписки, анализы, рентгенограммы, — папки с личными делами из госпиталей, райсобесов, больниц, — все это холодно шуршало, шелестело, доктора о чем-то шептались, иногда поглядывая на Алексея; с двух сторон склонялись к сидевшему в центре молодому мужчине, видимо, председателю комиссии. И только пожилая женщина со стетоскопом, как с хомутом, вокруг шеи скучала. Достала из кармана халата яблоко, обтерла его полбй, начала грызть, увлажняя пенистым соком белый металл вставных зубов. За спинами лекарей мутнели высокие окна, а Алексей видел только неподвижные верхушки деревьев, крыши, сколько лоснившиеся разогретым битумом. Ему казалось, что все это, как в спектакле: на сцене актеры в белых халатах, а за ними старый задник декорации — побуревшая стена в трещинках, в окнах серовато-голубое (сквозь запыленные стекла) небо и кроны каштанов.

Он стоял в одних трусах, испытывая неловкость, унижительное состояние зависимости, как и два года назад на призывном пункте военкомата. Но сейчас все стало иным: тогда врачам надо было загнать его в армию, нынче же нечего долго мудрить — полстопы оторвано, какого же черта они тянут резину?!

— Можете одеваться, Силаков, — наконец сказал председатель. — Даем вам третью группу.

Алексей, чуть подпрыгивая, молча направился к ширме одеваться. С непривычки долго возился с протезным ботинком, затем быстро надел брюки, тельняшку и китель уже без погон, сильно затянул талию ремнем и, прихрамывая, вернулся к столу за документами.

— Явитесь на переосвидетельствование через год, — председатель подвинул к нему документы.

— А потом опять через год? И так — всю жизнь? — сипло от волнения спросил Алексей, ведя злобным взглядом по глазам этих людей, которые, считал он, давно никого не лечили, напялили белые халаты, а могли б синие, красные — один хрен, — засохли за многорядной проволокой мертвых инструкций, от которых их самих наверное воротило. — Надеетесь, что новая нога вырастет, как хвост у ящерицы?

— Таков порядок... Вы не первый и не последний...

Он знал лучше их, что не последний. Уже выписывался, а в госпиталь все везли... Да и не первый. Вон он, первый, — подумал Алексей, опускаясь в коридоре на скамью, чтоб перевязать шнурок на ботинке. Рядом сидел старый, очень высокий человек с орденом Отечественной войны, туго ввинченным в лацкан синего суконного пиджака. Опираясь обеими руками о палку, человек вытянул плохо гнувшиеся длинные ноги.

— Осень и зима сорок первого в Синявинских болотах, — сказал мужчина.

И еще посетовал, что вот уже три года добивается второй группы (тяжелый артроз коленных суставов), чтоб получить «балалайку на колесах» — «запорожец» с ручным управлением, но ему все время суют третью, а она не дает права «на балалайку»...

На улице Алеша огляделся. Надо было идти в военкомат. Не хотелось. Мутило от таких хождений. Все, что считал нормальным, прямым, понятным, вдруг утыкалось в возражения, непонимание, сопротивление, изгибалось, уводя в лабиринты разных контор. Вроде обыкновенные люди, которых прежде либо не замечал, либо не задумывался об их роли в жизни других. Теперь же, когда они возникли, казалось, что мстят, вроде злонамеренно не желая воспринимать все, что считал простым, логичным. Сидели за столами восемь рабочих часов, как переодевшись в свои должности, обыкновенные женщины и мужчины, вдруг утратившие собственные слова, слух, характеры. Смысл этой игры был непостижимым...

В троллейбусе он разглядывал людей, отгороженных друг от друга множеством признаков, причин, дум, забот, симпатий и антипатий. «Куда они все едут? — дивился он. — Чем озабочены, когда небо тихое, синее, гладкая надежная брусчатка, солнце в больших дымчатых очках модной дамы, в ларьках «пепси-кола», железные ящики-автоматы для газет? И никто никого не убивает»...

В подъезде райвоенкомата сквозило прохладой, — где-то была открыта дверь во внутренний двор. Алеша не спеша поднялся на второй этаж, длинным коридором прошел к знакомой двери, одернул китель. В кабинете молоденький старший лейтенант с белым чубчиком над высоким безмятежным лбом что-то вписывал в картонную карточку, стопка их лежала перед ним. Он поднял глаза, сощурился:

— А, сержант Алексей Силаков! — на секунду прилип взглядом к его «Красной Звезде», словно ощупывал — настоящая ли. — Принес? — спросил весело.

Алексей подал ему бумаги. Офицер повертел их небрежно, как бы меж пальцев.

— А где же еще одна справочка, из жэка?.. А здесь нужна гербовая печать, — откладывал он листки.

— Я в который раз сюда пришел? — По сжатым скулам Алексея пробежала судорога.

— Ну второй, а что?.. Такие дела сразу не делаются, Силаков, — старший лейтенант пригладил белесый чубчик. — Это — документы.

— Не второй, а третий. Считать надо... Вы чего меня гоняете, как зайца? Нельзя было сразу сказать: надо то-то, то-то?

— Не шуми, Силаков, не шуми. Ты один, что ли, у меня такой?.. Делай, что положено, — воспитательно, как на плацу перед новобранцами, произнес офицер.

— А ты делаешь, что тебе положено, документ? — крикнул Алексей.

— Ты... ты что?! — опешил тот.

— А то! Сам пойдешь в жэк за справкой, и за печатью сам сгоняешь, тыловая крыса!.. Будь здоров! — Алексей вышел, швырнул за спиной дверь так, словно захлопывал навсегда...

Суетливый, оживленный город предстал вдруг обеззвученный, онемевший: ни голосов, ни шарканья шагов, ни шуршания тысяч колес, ни скрежета трамвая на крутом изгибе колеи. Сильно стучало сердце, и толчками била в ушах кровь. Переходил из улицы в улицу. Взгляд его недоуменно скользил по витринам, по радостным лицам прохожих, по их невесомой одежде. Все чужое, чуждое, иллюзион, населенный людьми, продолжавшими какую-то давнюю игру. К ним страшно было обращаться — не поймут твоего языка...

На проспекте Победы вошел в магазин «Воды-соки», выпил бутылку «Миргородской», двинулся дальше и на углу, где обычно торчат «центровые», — парни и девчонки, городская элита, где сам не раз околачивался среди них, своих, — увидел группу ребят. Алексей замедлил шаг, не хотелось этой встречи, но деваться было некуда. Издали узнавал лица, одежду — кроссовки «Пума», фирменные брюки и легкие курточки из плащевой ткани; по кругу шла пачка «Марлборо», сияли японские электронные зажигалки — плоские, изящные, разноцветные, с одного щелчка выбрасывавшие лезвие пламени. Все знакомо; доставляло наслаждение владельцам, давало ощущение независимости, вроде защищало их от чего-то и что-то обещало...

— Мужики! Да это же Алеха Силаков! — гаркнул кто-то.
— Привет, старик!
— Когда вернулся?
— Отметить надо!
— Ого-го!.. «И вошел граф с орденом «Почетного легиона» в петлице», — актерствовал щуплый парень с заячьей губой, проводя пальцем по выпуклой свеженькой эмали Алешиной «Красной Звезды».

— Я когда-то кадрил одну. Тонька-«Верста». Училась в двадцать седьмой школе. Медсестричка сейчас. Тоже вернулась оттуда, вольнонаемная. Кучу чеков навезла. Я у нее успел взять на две банки финского масла для «Жигулей».

— Выползай, Алеха, из этой шкуры. Новые ляли подросли. Выстроим — выбирай любую. Героям положено без очереди!..

А он молча слушал их, приятелей по прежней, такой ясной тогда и доступной жизни, и вроде ничего не понимал, хотя смотрел на них в упор. А они продолжали:

— Говорят, Вовка Гольцев тоже вернулся?

— И не звонит гад! Отсидывается в хате.

— Он вроде с тобой был?

— Вроде, — ответил Алексей так, что на это «вроде» переглянулись.

— Вы что, расплевались? Сидели же на одной парте?

— Слушай, Алеха, у вас там, говорят, промедольчик давали?

— Давали, — кивнул Алексей. — Чего же ты тут задержался? Тебе бы «дүхи» отстрелили твой... Вот и колынулся бы. Возможность была, чего же не поехал?

— Меня не брали, сильный астигматизм.

— А может, это у твоего папы сильная дальноркость? — Алексей дернул головой.

— Не заводитесь, — сказал который с заячьей губой.

Дальним холодившим чувством Алексей улавливал, что парни эти в модных сорочках с низеньким двухцветным воротничком-стойкой, в белых изящных кроссовках «Пума», делавших ходьбу кошачьей — неслышной, — парни эти не фиглярствовали сейчас, все было естественным, от нутра. Вот в чем дело!.. И со дна души всплывал крик, Алексей успел сглотнуть ком, удушить рвавшиеся слова: «Дерьмо! На вас бы «Кимры» напялить!.. — вспомнились кроссовки фабрики в Кимрах, которые десантники покупали в военторге. Лучшей обуви для пешего хода по жесткой тропе, зыбучему песку или пересошим каменистым руслам не придумаешь. — Обуть бы вас в «Кимры!» — И, царапая горло сухими словами, он сказал:

— Тусуетесь? В тир лучше сходите, пригодится, — и чуть раздвинув плечом стоявших, протиснулся, не прощаясь и стараясь меньше хромать, ушел.

— Чокнуло его, — засмеялся кто-то. — Железку нацепил и думает, что хозяин.

— Да пошел он...

А он, оглянувшись на них, уже спокойно подумал: «Даже десять этих лбов не стоят одного «черпака»...¹ Но мы уже не нужны... Неужели нужны эти пópки в цветных перьях?..»

4

Что-то произошло в их семье, прежде надежно соединенной, как полагал Юрий Петрович, откровенностью, общностью дум, прямым смыслом слов, обращенных друг к другу, пониманием забот каждого. Юрий Петрович всегда чувствовал себя главой, его советы казались всем — ему в том числе — нужными, полезными и не тягостными. Он не был ни самоуверен, ни деспотичен, всегда оставался неподчеркнуто заботлив, внимателен. Одним словом — кормилец. Он естественно получил, а не узурпировал право главенствовать,

¹ «Черпак» — (жаргонное) — солдат, уже отслуживший минимум полгода.

жена не противилась: пусть, если человеку так хочется. Однако делала, что считала нужным, но мягко, и Юрию Петровичу не приходило в голову ни возразить, ни возмутиться. Алешу же он просто считал мальчиком, о котором надо заботиться, что-то дарить ненáзойливо, не очень вникая, что сын думает по поводу этих подарков.

Никто из них не оглядывался: мол, когда, с чего началось такое тихое счастье? Казалось, так было всегда и, значит, — навсегда, что-либо измениться не смеет. Впрочем, об этом даже не думалось.

В доме в те времена часто сиживали гости — врачи, коллеги Юрия Петровича и Екатерины Сергеевны, — инженеры и юристы, друзья юности. Велись веселые или серьезные разговоры; о том, где лучше отдыхать — в Крыму, где не так влажно, или на Кавказе, там все-таки праздничней, о больничных новостях, о том, что не хватает коек для urgentных больных, потому что много «плановых» и «блатных». Ругали Юрия Петровича, что он опять уступил заведующему отделением, когда на днях в его палаты положили двух «блатных», и к ночи не осталось ни одной койки для тех, кто поступит по «скорой»; что надо было идти к начмеду жаловаться. Юрий Петрович не спорил, не возражал, лишь отвечал: «Я уже говорил другим ординаторам, что нечего шуметь, начмед только обозлится, ведь на него жмут из горздрава, а он уже на нас»... — «Все бесполезно», — резюмировал кто-нибудь, вздыхая. И никому не приходило в голову, что кто-то из них может н а ч а т ь и его, возможно, поддержат другие. Слово где-то существовала некая третья сила, которая должна в нужное время вмешаться и все исправить. Но дальше этого смутного ощущения их бунт не проникал...

Когда в доме собирался особо узкий круг, возникали и политические споры. Почти одни и те же. Горестно посмеивались над бахвальным телевизионным выступлением своего министра. Осведомленно называли цифры астрономических хищений на железной дороге. Гость — директор завода, усмехнувшись, говорил: «Это что! Вот у нас в отрасли бардак так бардак!» — «Все съедает армия», — вздыхал Юрий Петрович. — «А ты уверен, что хоть с пользой? — спрашивал юрист. — Не может быть, чтоб в пределах одной системы где-то было плохо, а где-то хорошо». — «Проверить это сможет только война», — мрачно шутил юрист. — «Не дай бог!» — восклицала кто-то из женщин...

Мог ли думать тогда Юрий Петрович, что через несколько лет ответит на этот вопрос его собственный сын, вернувшийся с войны.

Гости и хозяева смелели в разговорах. Никого не смущало, что темы повторялись, варианты были незначительными. В такие минуты Юрий Петрович оглядывался на комнату Алеси и делал выразительно глазами: «Потише вы, он дома, возможно, еще не спит, я бы не хотел...»

Гости уходили, искали у вешалки рожок для обуви, выясняли, где чьи перчатки, женщины клали туфли в целлофановые яркие мешки с полустершимися рекламными надписями каких-то заморских товаров, надевали сапоги, мужчины закуривали, вызывали лифт. Пронзая затихшие этажи, он полз снизу, пустой и громкий...

Наконец Юрий Петрович распахивал окно, сырой ветер надувал тюлевую занавесь. Юрий Петрович, стоя в одной сорочке с закатанными рукавами, вдыхая ночную свежесть, вытряхивал за окна крошки со скатерти, шел на кухню помогать Екатерине Сергеевне мыть посуду...

Утром отправлялись на работу, продолжалась привычная жизнь с бессмысленными собраниями, посвященными очередной кампании в защиту какого-нибудь африканского лидера. Со всеми вместе Юрий Петрович голосовал «за», поглядывал на часы — скорее бы все это кончилось: тяжелого больного из четвертой палаты должен смотреть профессор из мединститута. А Юрий Петрович опаздывал, боялся, что профессор обозлится, уйдет, значит снова кланяться, просить. Но сидел и голосовал «за», понимая, что его поднятая рука поможет этому лидеру из Африки так же, как поднятая рука африканца помогла бы Юрию Петровичу выбить в больничной аптеке хотя бы двадцать ампул церебролизина для перенесшего инсульт старика из одиннадцатой палаты.

Шла привычная жизнь. Люди вросли в нее, как корни многолетней травы, глубоко вцепившейся в грунт, который им достался, и где казалось так надежно.

Если бы им сказали, что они беспринципны, могли бы обидеться, как обиделся бы горбун за попрек в плохой осанке...

Как недавно все это было!

Иногда теперь на ночных дежурствах, сидя после обхода в пустой ординаторской, где по углам растыканы облупившиеся столы, заваленные стопками истрепанных историй болезней, он думал, удачно ли сложилась его жизнь, чего еще можно пожелать, когда есть любимая работа, хорошая семья; думал, в то ли время родился? Юрий Петрович позволял себе не отвечать определенно, и из какого-то суеверия как бы увещевал себя общей фразой: «Не гневи бога, грех жаловаться». Он был легко внушаемым. И если в какой-то раз ход его размышлений зависел от того, что накануне перечитывал любимого писателя Юрия Трифонова, то в следующий раз в нем, обеспокоив, отозвалась мысль из книги Селье: когда существовала только неодушевленная материя, ее атомы и молекулы соприкасались, но не соперничали. Им были чужды радость победы или горечь поражения и, значит, чувство унижения, что «коллеги» оттирали их. Они еще не испытывали ни себялюбия, ни стремления защитить свою неприкосновенность, ни потребности бороться за выживание. Но потом, в процессе эволюции, возникло два способа выживания: борьба и адаптация...

Юрий Петрович как бы примерял эти соображения Селье на себя и своих знакомых, вернее все само примерялось, потому что охватывало все, что вокруг. Но тут по внутреннему телефону его вызывали в приемное отделение — привезли больного. Затем еще три или четыре вызова за ночь. И пока Юрий Петрович обследовал, размещал, описывал, наступало утро, появлялись голоса, и все ночные думы меркли...

Теперь, когда с войны вернулся Алеша, что-то произошло в их семье. Возникло напряжение, каждый как бы прислушивался, нервно ожидая, когда раздастся треск. Прежние слова казались неестественными, вымученными, от них оставалась окись во рту. Радость, что Алеша уже дома, живой, выглядела измученной. Они начинали не понимать друг друга...

5

Всех гостей разместили в отдельные номера лучшей в Городе гостиницы. В холодильнике Петр Федорович обнаружил три бутылки «боржоми». Разгуливая в майке и трусах по просторной комнате, он рассматривал гравюры местных художников, воспевавших свой Город, но ничего знакомого на них не нашел, ничего в памяти не откликнулось. Затем побрился в ванной, с удовольствием ощущая босыми ногами холодные пупырышки резинового коврика, приняв душ, надел свежую сорочку. Порывшись в чемодане, подбросил на ладони колодку с орденскими планками и, зачем-то пересчитав их, бросил обратно...

Завтракали прибывшие в маленьком банкетном зале ресторана при гостинице. Войдя, Петр Федорович огляделся. Почти все столики оказались уже заняты. Люди его возраста и постарше с орденами и планками на пиджаках. Два отставных полковника в форме. Официанты, растопырив пятерни, увертливо жонглировали подносами. Петр Федорович нашел свободное место. Перешушав напрягшимся взглядом лица, он убедился, что знакомых нет. Да и почему-то не надеялся встретить. После августа сорок второго вся война была еще впереди, люди гибли. Сам он из полка выбыл в ноябре с первым ранением. А за сорок с лишним послевоенных лет сколько бывших солдат перемерло!..

Позавтракав, томились в вестибюле. Прибыли автобусы. Молодой человек с черной сарацинской бородкой, несколько прикрывающей затвердевшие бугорки шрамов от давних отроческих фурункулов, был приставлен к гостям как гид-распорядитель. Он терпеливо отвечал на множество ненужных вопро-

сов, сдержанно и деликатно подталкивал к дверцам автобуса: «Да-да... Конечно... Поторапливайтесь, рассаживайтесь, товарищи, опаздываем». Но по глазам его Петр Федорович тайно уловил муку нянчить этих занудливых, беспомощных и вздорных стариков.

Рассаживались долго, толклись в проходе, каждый выбирал себе место повыгодней, хотя что выгадывать, когда ехать-то пятнадцать минут. Наконец погрузились. «Икарусы» двинулись за патрульной машиной ГАИ. Ехали медленно, и Петр Федорович успевал разглядывать улицы, прохожих, которые никогда не видели свой Город иным, — когда, разбитый, он горел, черные жирные дымы зыбкими столбами подпирали синее жаркое небо и, растекаясь по нему, заволакивали непроглядной серой пеленой, а ехавшие сейчас в «Икарусах» старики были молодыми парнями, ползавшими, лежавшими, перебежавшими, стрелявшими среди завалов из битого кирпича, штукатурки, межэтажных перекрытий, дверных рам и разной домашней утвари...

На большой площади перед зданием обкома и облисполкома была установлена трибуна с микрофоном. Стояло городское начальство. Под белым покрывалом таинственно скрывался памятник. По трем сторонам площади пестрым каре выстроились горожане. Гости вылезли из автобусов, подбежали пионеры с цветами, закутанными в шуршащий целлофан. Митинг открыл председатель горисполкома. Выступавших оказалось много. К микрофону подошел генерал-майор Уфимцев, командовавший в те далекие годы Оборонительным районом. Петр Федорович помнил его фамилию. В ту пору Уфимцев был генералом, а Петр Федорович сопливым лейтенантом Петькой Силаковым, командиром резервной роты. Теперь они стояли на одной трибуне, и Петр Федорович искоса разглядывал генерала-отставника. В светло-сером парадном мундире, был он высоченного роста, тучный, с пышными, белыми до голубизны волосами и густо-черными при этом бровями. Все время вытирал потный лоб и глаза сложенным платком, хмурился, сдвигая к переносью словно выкрашенные тушью брови. С таким же недовольным лицом усаживался в «Икарус» подле гостиницы. Покамест ехали, сидел как-то безразлично-отстраненно, не шевельнув тяжелой ожиревшей спиной, не повернув ни к кому головы, ни разу не глянув в окно. И Петр Федорович подумал тогда: Уфимцева, возможно, обидело, что не прислали персональную машину, как-никак — старший по званию и должности.

«Какое звание, какая должность? — усмехнулся про себя Петр Федорович, глядя, как Уфимцев, стоя перед микрофоном, перебирает странички с заготовленным выступлением. — Одно у нас звание теперь, одна должность — пенсионеры. Время всех сравняло, как баня: все голые... Сколько же ему? — прикидывал Петр Федорович. — Наверное, за восемьдесят...»

Голос у генерала оказался зычным, с хрипотцой многожды простужавшегося, пившего и курившего человека. Зачитав без пауз общие героические фразы, как ровно через месяц после сдачи немцам Города вверенные ему войска штурмом освободили его, Уфимцев сунул листки в карман и, отступив от микрофона, подозрительно оглядел стоявших — таких же, как и он гостей тут, — словно желал угадать: ну, кому не понравилась речь моя? Они встретились взглядом, и Петр уловил, что несмотря на возраст, на болезни, которые разъедали этого старого человека, разум его не помутнел, трезв, насторожен, пожалуй, сильнее и надежнее шестипудовой плоти...

Измученные трехчасовым торжественным стоянием на залитой солнцем площади, с глазами, слезившимися от обжигавшего блеска полированных булыжин, бывшие лихие солдаты и офицеры в тех же «Икарусах» сонно и безразлично возвращались в гостиницу.

Петр Федорович чувствовал, как под пиджаком прилипла к спине и подкладке сорочка, а набухший липким потом воротник туго и неприятно охмутил шею. Поднявшись в номер, глянул на термометр за окном. Было плюс двадцать пять. Он разделся, залпом до рези в ноздрях выпил стакан ледяного «боржоми» и зашлепал в ванную принять душ. Потом, не сняв покрывала, рухнул на постель и, борясь с дремотой, расслабленно лежал около часа, ругая

бессмысленность поездки. Но поскольку заранее был готов к этому, нечего было пенять и растравлять свое разочарование...

В обеденный час Петр Федорович спустился в тот же залычик, где их кормили утром. Народу уже было полно, но Петр Федорович увидел, что генерал Уфимцев сидит один за столиком. Поразмыслив, направился к нему.

— Разрешите, товарищ генерал?

— Садись, места хватит, — буркнул Уфимцев.

Перед ним уже стояли графинчик с водкой, бутылка «пепси». Вытянувшийся молоденький официант вроде ничего особого и не делал руками, но с подноса как бы сами бесшумно слетали к Уфимцеву тарелки с закуской — маслины, холодный язык, кета семужного посола, чуть влажные умытые помидоры без единой вмятинки или трещинки с зеленым бантиком в попках. Все это, как догадался Петр Федорович, в гостевой комплексный обед не входило — генерал гусарил. И Петру Федоровичу захотелось есть. Он заказал то же, кроме водки, порционную окрошку и баранью отбивную.

— Ты в какой дивизии у меня был? — спросил генерал.

Петр Федорович назвал.

— Кем?

Петр Федорович ответил, заметив, как недоверчиво генерал скользнул взглядом по пустым лацканам его пиджака.

Уфимцев потянулся к графину. Рука у него была пухлая, со старческими пигментными пятнами, но не дрожала.

— Не пьешь, что ли? — спросил он. — Может, налью?

— Благодарю, не пью.

— Нынче мусульмане и те пьют и свинину лопают, — одним выверенным наклоном графина генерал до краев наполнил рюмку, не пролив ни капли. — Я тоже не очень. Два инфаркта уже осилил... Но день сегодня такой. Уравновеситься надо, — он медленно выцедил холодную водку подрагивавшими губами, запил «пепси» и, бросив на ломоть хлеба кусочек кеты, тяжело жевал. — Чудеса творятся, — тернул он салфеткой рот. — Фронтвики помирают, время идет, а так называемых ветеранов все больше. Откуда? — зыркнул на Петра Федоровича. — Кто их плодит? По какому правилу?

— А вас это волнует?

— А тебя нет? — обозлился Уфимцев. — Всякая тыловая накипь поперла. Газетные писаки. Один раз съездил из Москвы в штаб фронта на два дня, а теперь он, видишь ли, ветеран! И некому завернуть ему оглобли. Ничему цены не стало: ни людям, ни фактам, — то ли от выпитого, то ли от возмущения лицо генерала побагровело, оттого еще более выделилась изморозь его легких волос и злее чернели молодцеватые брови. — Ты книгу мою читал? — вдруг спросил он.

— Какую?

— Значит, не читал. «Огненная стена» называется. Про эти события. Пять лет назад вышла, в Москве. И сразу же опровергатели нашлись. Одни примазываются, другие завистники, — говорил Уфимцев, густо сдабривая горчицей упрятанный в желе ломтик языка...

Петр Федорович гадал, чем может быть недоволен его собеседник. Чего недодали ему, чем обошли, чему еще завидовать генерал-майору при хорошей пенсии, льготах, уважении к его красивому кителю и штанам с лампасами? Понимал Петр Федорович, что разговор их — не беседа двух внезапно понравившихся друг другу людей, а просто какое-то раздражение, разбухавшее в генерале, требовало выхода, Петр Федорович был, видимо, не первым, с кем Уфимцев уже делился этими своими мыслями, а сейчас оказался еще один повод — свежий человек, сосед по столу.

— Явился тут, понимаешь, плюгавый опровергатель-проситель, — продолжал генерал, затакивая пухлыми пальцами салфетку за ворот, когда официант поставил перед ним тарелку и стал наливать в нее из горячего судочка жирную, помидорного цвета солянку. — Так я его, — Уфимцев махнул рукой, словно с силой сбрасывал что-то. — Нашел, понимаешь, время... Семья большая? — неожиданно спросил генерал.

Тон фразы вспомнился Петру Федоровичу. Так, походя, между прочим,

но чтоб звучало по-отечески, заботливо спрашивали солдата большие начальники из штаба армии или политотдела, посещая роту перед наступлением, когда люди, измаявшись в окопах и землянках в долгой обороне, пересчитывали патроны, подвязывали куском кабеля отвалившуюся подошву, нарезали прямоугольнички для самокруток из читанной и перечитанной газеты...

— Один я. Овдовел, — ответил Петр Федорович.

— Вовсе один? — кивнул генерал на протез Петра Федоровича.

— Сын с невесткой. Живут отдельно. — И после паузы добавил. — Внук вернулся из Афганистана.

— Не так надо было... в Афганистане этом. Я-то знаю. С двадцать шестого по тридцатый я в Туркестане служил, басмачей ловил. Мусульманская природа — это тебе не устав строевой службы.

— А как надо было? — Петр Федорович задержал у рта вилку с куском мяса.

— Скоро тебе скажут. Всем скажут... Официант! — командно позвал Уфимцев, вылив в фужер остатки «пепси».

Подошел официант. Уфимцев велел подать счет. На прощание кивнул Петру Федоровичу и, ни на кого не глядя, заслоняя проход, втиснулся в дверной проем, на секунду остановился и крикнул Петру Федоровичу:

— Будешь в Киеве, заходи. А книгу прочитай... Телефон я тебе у дежурного администратора оставляю...

6

Алеша всегда считал своих родителей людьми порядочными, часто слышал, как осуждали чью-то подлость, неблагодарность. Они никогда не ссорились, не повышали голос. Деньги — зарплата обоих — лежали в незапиравшемся ящике письменного стола, это были деньги с е м ь и, и каждый брал сколько нужно было, не ставя в известность друг друга. Разве что Алеша говорил: «Мама, я взял три рубля на шарики для настольного тенниса», или: «Папа, дашь мне девять рублей на кассету?..»

Родители охотно выполняли чьи-нибудь просьбы, даже хлопотные. К этим людям старались потом не обращаться со своими нуждами, чтоб не выглядело «я — тебе, ты — мне». Скажем, треснула чешская раковина — слесарь, набивавший сальник в кране, уронил в нее тяжелый гаечный ключ. Долго пользовались, заклеив трещину лейкопластырем. Купить новую было невозможно. И все же мама осторожно однажды сказала: «Юра, у тебя же лежал с воспитанием трюничного управляющий базой стройматериалов». — «Неудобно», — ответил папа. Но раковина нужна. И выход был найден: вспомнили, что сестра коллеги работала товароведом на этой базе.

Характер отца иногда удивлял Алешу. Знал, что отец не позволял хамить себе, на прямую грубость отвечал жестко, чьему-то наглому напору противопоставлял неуступчивость, но почему-то мягко сникал, становился беспомощен, растерян, согласен, когда на него давил не кто-то конкретный, а нечто в с е о б щ е е, подчинявшие всех обстоятельства, официальное мнение, массовое послушание, которым один человек, считалось, противостоять не в силах...

Теперь, после возвращения, возникло что-то жалостливое к родителям, порой раздражавшее. Алеша старался умерить эти чувства. В чем он может упрекнуть отца и мать? Как и все, рос сытым, обутым, одетым. У кого-то джинсы итальянские, а у кого-то похуже — индийские. Но были! Магнитофон. Кому-то купили «Шарп», а кому-то наш. Не суть важно. Зато почти у всех. Страдания, переживания. Какие? От чего? Вокруг — незыблемая, радужная жизнь, благодать. Урожай, неурожай — понятия не имели. Да и не интересовался. Политика? Кто-то там ею занимается?.. О'кей! Вдолблено было: все идет путем! Ну и прекрасно! Поезда с рельсов не сходили, не обрушивались шахты, не тонули теплоходы. А слухи — так это же слухи! «Би-би-си»! Пошептались в школе и забыли назавтра. Со школьной скамьи усвоено: такая жизнь и есть настоящая, самая-самая, единственно возможная

и достойная. Ничто не нуждалось в доказательствах. Все считалось общепринятым, массовым — и сознание, и цели, и средства. Все стало привычкой. И родители передавали ее детям, как гены. Ложь в семье считалась пороком. Алеша никогда не лгал. Но всеобщая ложь существовала, как среда обитания: не замечаешь, дышишь, — другой не дано. Это была та самая жизнь, о которой родители, их друзья во время застолий рассказывали анекдоты, плотно прикрыв дверь, за которой находились дети, чтоб упаси бог... Но детки знали эти анекдоты, рассказывали в школе, будучи уверенными, что анекдоты придумываются только ради веселья, потом забываются, уходят, чтоб уступить место новым.

Обо всем этом теперь не поговорить ни с папой, ни с мамой. Зачем загонять их в угол и слышать лепет оправданий? Вот с дедом — это можно. Пусть у деда, как и у родителей, с в о е время, но дед хоть верил в него, когда на войну уходил... С ним можно обо всем...

Да... Что-то произошло... Тот же дом, те же папа и мама... Стены в тех же обоях — в углу у окна вздувшийся кусок, куда не попал клей. Тот же неполированный югославский стол. Если наклониться, смотреть вдоль столешницы, на ней еще заметно несмывающееся пятно от пролитого вина во время проводов в армию. В ванной те же, отслоившиеся на вытяжной трубе от жара серебристые лохмотья эмали. И та же на кухне черная от времени и ввешенного жира «лапа», ею мама снимала с плиты сковороду. И в чуланчике на гвозде тот же ярко-красный тренировочный костюм, черно-белые кроссовки. Все это давно сошло с размера, было привезено ему родителями из Алжира, где они работали три года в каком-то госпитале, оставив Алешу с бабушкой и дедушкой...

Ничего не изменилось и в его комнате: полки с книгами, кассетный «Панасоник» (тоже из Алжира), в ящике письменного стола целлофановый пакет с запасными штеккерами и предохранителями...

По-прежнему отец, придя с работы, суется на кухню, заглядывает в кастрюлю на плите и, потянув носом, весело спрашивает: «Чем нас сегодня угощают?» И при этом посматривает на Алешу. Или распечатав пачки сигарет, укладывая их под подоконником на отопительную батарею, знакомо сетует, обращаясь к Алеше: «Не пойму, как они впитывают влагу. Ведь смотри: фольга да еще картон и целлофан...» Обычные слова. Как прежде. Но сейчас даже в них Алеша улавливал какую-то фальшь, заигрывание, желание отца что-то напомнить ему, внушить, что ничего не изменилось. «А ты бросай курить, и сушить не надо будет!» — отвечал Алеша, поскольку ответить что-то надо, и перехватывал понимающий сочувственный взгляд мамы, посланный отцу...

Натянулся какой-то нерв, по дшам прошла невидимая трещина, все напряглось, словно с возвращением Алеша в квартиру поселился незнакомый человек, и теперь шло взаимное узнавание...

Вскоре Алеша с удивлением понял, что отец как-то робеет перед ним, странно заискивает. И стало жаль его, доброго, бесхитростного. Но что-либо изменить сразу казалось невозможным, не бросишься на шею: «Прости, папа, мне надо прийти в себя, понять, что происходит тут, в вашей жизни, в этом городе, со всеми в этой стране». Выглядело бы неискренним, а, главное, потребности такой Алеша не ощущал. Потом возникло новое — отец порой говорил: «Сынок, мне нужно с тобой посоветоваться». Или — мать: «Юра, спроси у Алеша». Алеша вскидывал глаза и недоумевал, чего же от него ожидают эти двое взрослых людей, прежде дававших советы ему. «Не перенести ли нам полки с книгами из твоей комнаты в столовую, твою старую тахту выбросить, а поставить там диван-кровать?» — Юрий Петрович улыбался, но уголок губы вздрагивал. Алеше было совершенно безразлично, что будет в его комнате: старая жесткая тахта, покрытая зелено-желтым шотландским пледом, или новый диван-кровать. Но ответить полагалось, чтоб не обидеть. И он отвечал: «Оставим тахту. Чего ее выбрасывать? Диван, наверное, мягкий, а я люблю спать на жестком».

Как-то вечером смотрели программу «Время», а потом фильм о битве под Курском. Алеша видел его еще в девятом или десятом классе. Тогда дед сказал: «Как вы можете смотреть это? Кляква!». И вот опять бежали в пол-

ный рост в атаку чистенькие выбритые солдаты, волосы до воротничков, и пилотки едва держались на них; генерал в землянке подавал какие-то команды по телефону, сытый, очки в модной оправе (форцы продавали такие по четвертаку). Посмотрев минут десять, Алеша не выдержал: «Папа, выключи. Это фуфло, липа». — «Хорошо, Алешенька, — поспешно согласился Юрий Петрович. — Ты, наверное, прав... Тем более, мы с мамой этот фильм уже видели... Он действительно несколько театрален... Да, знаете, новость! — весело, чтоб смять неловкость, воскликнул Юрий Петрович. — Вот хотел с вами посоветоваться. Мне предложили перейти в областную больницу. Заведовать отделением. Как считаете?» — Он посмотрел на Алешу. Это уже не про тахту. Со своими делами отец к нему никогда не обращался. — «Не знаю, папа... А в чем, собственно, разница? В зарплате? А что мама говорит?» — «В областной есть свои преимущества, — сказала Екатерина Сергеевна. — Положение, близко от дома, меньше urgенции, в основном плановые больные...» — она говорила что-то еще, но Алеша почти не слушал. Он догадался, что вопрос этот решен, отец куда-то не уйдет из своей больницы, не такой он человек, чтоб рисковать чем-то устоявшимся, готовым и что разговор затян лишь бы втянуть Алешу в обсуждение семейных проблем...

Но случилось, с ним советовались без игры, — когда приходилось решать: вступать с кем-то в конфликт или нет. Уже несколько лет, как прохудилась водосточная труба, намокала наружная стена, в комнате над окном появилась плесень. Юрий Петрович звонил в жэк — не помогало. «Ну что, написать на них жалобу? — спросил Юрий Петрович. — Или не стоит ссориться? Потом вообще ничего от них не добьешься, будут мстить». — «Я сам», — коротко сказал Алеша. Через три дня проржавевшие колена заменили новыми из оцинкованной жести.

Пока Петр Федорович отсутствовал, Алеша маялся. Первую или вторую половину дня он обычно проводил у деда. Было о чем говорить. Петр Федорович, знавший толк в этих делах, с нелicenseм любопытством расспрашивал про наше оружие, про его скорострельность, убийную силу, как оно ведет себя в афганской пыли и зное, сравнивал вслух с тем, что прошло через его руки. Чаще всего сидели на кухне. Алеша либо чистил картошку, либо отдира со сковороды шершавой металлической мочалкой подгоревшие кусочки яичницы и охотно рассказывал, отвечал на неназойливые вопросы Петра Федоровича, поглядывая и дивясь, как тот изловчился одной рукой, придерживая протезом, молот в мясорубке кусочки говядины.

— Дед, ты сразу привык к протезу? — спрашивал Алеша.

— Не сразу, но приспособился, как видишь.

— А я не могу, трет зараза. Допотопный, наверное, еще с вашей войны. В космос гоняем, а такое говно сделать не могут...

После обеда или ужина они иногда садились в комнате за круглый стол, и Петр Федорович, достав большой черный конверт от фотобумаги, вываливал из него старые фотографии — довоенные, где он школьник в белой матроске, коротких штанишках, гольфах и в сандалиях; военной поры — паренек в кубанке, модно сдвинутой на правую бровь, держит автомат за цевье стволом вниз, в кругу таких же ребят, все очень серьезные; более поздние — студенческих лет: в длинном пальто с высоко подложенными плечами, в широких брюках; с Алешиной бабушкой и с друзьями на пикнике на берегу реки, бабушка красивая, в купальнике, видно, только вышла из воды, — наклонившись, отжимает волосы. На обороте снимка дата: «1956».

— Двадцать девять...

Уходил Алеша успокоенный общением с дедом, но чем ближе к дому, тем медленней становился шаг, и какой-то нервный страх охватывал его: устал он от поспешной предупредительности родителей, от их слов, мучительной деликатности. Даже во фразе матери: «Алешенька, сегодня у нас твое любимое: свинина, запеченная в тесте» он улавливал какое-то заискивание, хотя он действительно любил такое мясо, и слова ее эти произносились и прежде, но тогда звучали для него иначе...

В тот день, накануне отъезда Петра Федоровича, вернувшись от него,

ужинать Алеша не стал, заявил, что сыт, назвал, чем его потчевал Петр Федорович. Согласился лишь выпить чаю.

— Ма, дай меду, а? — попросил Алеша.

Екатерина Сергеевна воспарила от просьбы, но не успела подхватиться, как отозвался Юрий Петрович:

— Катя, Катя, подожди! — он вскочил, подмигнул Алеше радостно: — У меня в заглазничке баночка горного! Мама уже забыла о нем. В прошлом году, на Пицунде... — Юрий Петрович вдруг запнулся и уже обыденно, без восторга закончил: — ...у одной женщины-армянки, у нее пасека в горах... — он вышел в кухню, где был чуланчик, прикрыл дверь и, остановившись, обхватил ладонью лоб, грустно укорял себя: «Как я мог? Как мог ему — о Пицунде?! Мы на Пицунде, а мальчик мой, сын, в это же время был т а м! Под пулями, измученный, грязный, харкающий пылью!»

И перед Юрием Петровичем возникла дуга пляжа с разноцветными матрасами, на них в разных позах, полусонные от безделья, жары и непрерывного купания полуобнаженные лица; солнечные вспышки, как судорога, пробегали по мелким волнам, а со стороны берега пахло испарениями могучих древних сосен и ароматным кофе. День кончался, небо загустевало, быстро задерживалось южной тьмой, и где-то далеко, будто из самой воды, выскальзывала полнощекая рыжая луна. Возвращались в пансионат, размякнув от духоты, чувствуя на губах шершавую обветренность, а на коже, — если лизнуть, — рапной привкус моря. Юрий Петрович шел босой, закатав штанины, а Екатерина Сергеевна — в мокром купальнике и поверх — распахнутый махровый халат. Их комната с лоджией выходила на море. Постели были теплые от дневного зноя. Свет не зажигали, боясь комаров — хватало лунного сияния. Ополаскивались под душем и ложились рано, любили друг друга, как в молодости, подолгу, забыв обо всем... Екатерина Сергеевна отправлялась опять — в который раз за день — под душ, а Юрий Петрович в одних трусах выходил в лоджию, садился в шезлонг, истомно откидывался на тугую выгребную парусину, с наслаждением курил и бездумно смотрел в засасывающую черноту ночи, где далеко и медленно перемещались огни сейнеров или пограничного сторожевика...

Из кухни он вернулся с виновато погасшими глазами, молча поставил банку перед Алешей. Но тот ничего не заметил в состоянии отца. Екатерина же Сергеевна все поняла еще тогда, когда муж запнулся, упомянув Пицунду, и сейчас в душе разделяла муку Юрия Петровича, мысленно брала часть вины на себя, несмотря на то, что сын их теперь уже с ними, вот он, за столом, живой, сильный, красивый... Она незаметно, сквозь сетку сомкнутых ресниц с любовью до слезливой дрожи в губах наблюдала, как он, наклонив крупную голову с каштановыми — её! — волосами, выскребывал из блюдечка мед и по-детски облизывал ложечку... Живой!.. Вот только нога... Екатерина Сергеевна работала акушером-гинекологом в роддоме, где рожала Алешу. За двадцать лет она приняла сотни детей, с ее первым ласковым шлепком они входили в жизнь... «Неужели кто-то из них уже убит т а м?» — с содроганием думала она...

— Слава богу, ты дома, — не выдержав, сказала Алеше. — Все кончилось.

— Что кончилось, мама?

— Война.

— Придумают другую. Для других.

— Что ты, Алешенька! Не то время... И вообще... так говорить... — она посмотрела на мужа.

— Конечно, не следует так, Алеша, — подтвердил Юрий Петрович.

— Мне бояться нечего, за чужие спины не прятался, — вставая, жестко сказал Алеша. — Спасибо, мед действительно вкусный.

— Как нога, сынок? — спросил Юрий Петрович. — Я все же хочу показать тебя доктору Гольцеву.

— Не нужно, папа, — нахмурился Алеша. — Все нормально.

Но это была неправда. Он просто жалел их. У себя в комнате, разувшись, морщился от боли, растирал ногу, перевязывал свежие шрамы бинтом.

— Почему ты не пойдешь куда-нибудь? — спросила Екатерина Сергеевна.

— Куда, мама?

— Ну... не знаю... Раньше ты в дискотеку ходил...

— В дискотеку? — он помолчал и, стоя у окна к ним спиной, сказал: — Можно и туда...

В своей комнате он распахнул дверцу шкафа: что надеть? В форме не хотел, старый костюм стал кургузенький, жал в плечах. К его приезду родители купили югославский костюм и светло-голубую индийскую сорочку, за ней Екатерина Сергеевна отстояла час в очереди. Но ему не хотелось надевать их ни сейчас, ни носить вообще. Он вытащил из ящика синий мятый комбинезон, купленный в Ташкенте в магазине «Рабочая одежда». Оторвав картонную бирку, натянул, глянул в зеркало. «В самый раз», — усмехнулся и вышел, крикнув родителям:

— Я ненадолго...

7

Вечером в номер к Петру Федоровичу явился корреспондент местной газеты, попросил интервью. Петр Федорович стал отказываться. О чем, собственно, говорить? Все давно сказано, все известно, сегодня на площади повторено. Кому нужны опять общие слова, уже не воспринимающиеся и потому раздражающие людей? Но корреспондент — молодой парень в джинсах и в расстегнутой почти до пупа (мода такая, что ли?) сорочке — стал упрашивать.

— Почему я? — спросил Петр Федорович. — Много же приехало. Есть полковники, даже генерал.

— Надеюсь, никого не обижу, — сказал доверительно корреспондент, — но ваши товарищи какие-то косноязычные, говорят фразами из нашей же газеты. А вы, кажется, адвокат.

Пришлось согласиться. Они просидели больше часа...

Утром следующего дня от экскурсии по местам боев Петр Федорович отказался, решил в одиночку отправиться за Город к МТС, где в сорок втором стояла его рота.

Он выяснял у прохожих, как добраться туда, но никто не знал, девушка с черным футляром-тубусом, в каких носят чертежи, даже спросила:

— Это куда же вы хотите? Что это — МТС?

И лишь старик в киоске «Союзпечати», присвистывая сквозь вставную челюсть, объяснил:

— Езжайте двадцать девятым автобусом до конечной «Пляжный бульвар»...

Из автобуса Петр Федорович вышел, когда водитель прошипел в микрофон: «Конечная».

Он огляделся и решил, что киоскер напутал. Вокруг оказался тот же Город: гастронорм, аптека, химчистка, бочка на колесах с надписью «Квас», разноцветные машины, припаркованные вдоль тротуаров, мусорные урны у фонарных столбов, регулировщик ГАИ на перекрестке. На противоположной стороне бульвара чуть поджелтела акация, с лотка торговали дынями и арбузами. За парашютом — длинный песчаный пляж в пестром накрапе плавок, купальников, зонтиков, будок-раздевалок. И — река с мутно-серой медленной водой. Ее движение можно было проследить только по смещавшимся лодкам, катерам, нарезавшим винтами гладкую резьбу в плотной убегавшей струе. Проскользнув мгновенным взглядом далеко вниз по реке, Петр Федорович понял, что киоскер не обманул и не ошибся: там в чуть колымавшемся мареве, словно выгнувшая спину гигантская кошка, опирался о берега бетонными лапами старый мост. Петр Федорович узнал его. Мост соединял настоящее с прошлым, слезавшимся в памяти; по нему можно

пройти на противоположный берег и увидеть степь с изморозным блеском польни, когда ветер клонил ее в одну сторону, с быстро высохшей землей в свежих воронках, в одной валялся стабилизатор от немецкой мины, маркированный белой краской; увидеть поле, где жестко шелестели листья высокой кукурузы, иссеченные пулями и осколками, словно траченные молью; труп немца в натальной рубаше, лежавшего лицом в землю, и возле него детская, из глины, самодельная свистулька-пастушок... Все это давно ушло под асфальт, под фундаменты девятиэтажек, под ноги пешеходов и шины «Жигулей»...

...«Мост! — вот о чем следовало говорить в интервью, — вдруг пришло на ум Петру Федоровичу. — Мост с двусторонним движением. Я — оттуда, а нынешние, кто помоложе, пусть пройдут туда. И на обратном пути встретимся посередине, глянем через перила на реку, бросим в неподвижную воду какую-нибудь щепку или арбузную корку и увидим, что все же их, как время, сносит к горизонту, хотя река кажется стоячей...» Его не пугала банальность подобной символики, — таким сейчас, после увиденного вокруг, складывался ход его мыслей...

Утром в день отъезда Петр Федорович, упершись коленом в крышку чемодана, стягивал одной рукой ремни. И тут постучали.

— Войдите! — крикнул он.

Дверь открывалась медленно, словно тянул ее на себя кто-то обессиленный или ребенок. Вошел странный человек. Станным показался он из-за одежды, сразу не связавшейся с богатым убранством комнаты, с ее изящной, располагавшей к вальяжности мягкой финской мебелью, с тяжелыми, в тон стенам, плетеными портьерами, с сиявшими анодированным блеском люстрами и бра.

Невысокого роста, гость был в застегнутой доверху клетчатой зелено-желтой сорочке, поблекшей от бесконечных стирок. Поношенный костюм, казалось, сшит из какой-то бурой гофрированной ткани — до того измят. Вошедший опирался на палку, шел, подволакивая ногу не гнувшуюся в колене. Выглядел он тщедушным, изможденным, долго жеванным жизнью.

— Вы ко мне? — спросил, дивясь, Петр Федорович.

— Уезжаете? — поинтересовался гость, робко устраиваясь напротив окна и как бы окуная плешивую, со сдавленными висками голову в яркий радостный свет солнечного дня, лившийся сквозь огромные стекла. Глаза его с воспаленными веками вроде и ресниц не имели — щелочки, в которых устало тускнели зрачки. От сильного света весь он походил на контрастный снимок, сделанный с хорошего, но чуть передержанного негатива: возникла каждая морщинка, складочка на лбу и щеках, запавших, потому что зубов почти не осталось, каждая немощная уже жилка на тонкой обветренно-темной шее, серая щетинка на наспех, видимо, и безразлично бритом кадыке. Загоревшее, испеченное зноем лицо уставшего путника. Было ему, как показалось Петру Федоровичу, под семьдесят. — Значит, уезжаете? — еще раз спросил он.

— Через час, — ответил Петр Федорович, гадая: «Пьян, что ли? — и слегка потянул носом. — Или так, с приветом? Они почему-то возбуждаются, возникают, когда случается какое-нибудь общественное событие». — Я вас слушаю, — сказал Петр Федорович, стараясь поспокойней.

— Вы... Вот, во вчерашней газетке... того...

— Да. Понравилось или нет? — что-то надо было спросить.

— Моя фамилия Хоруженко, — ответил гость, извлек из кармана измятый паспорт, протянул Петру Федоровичу.

— Зачем это? Я вам верю... Вы по какому, собственно, делу?

— Я тоже... здесь тогда... в сорок втором. И дом-то мой рядом, в поселке Крутояррово... Теперь вот никто не признает, — постучал он сухими, вывернутыми ревматизмом пальцами по негнбавшемуся колену.

— Ну, а ко мне-то вы по какому вопросу? — Петр Федорович тоскливо пытался угадать, во что его втягивает этот забуддыжный с виду человек.

— Льготы, они в старости в самый раз... По причине инвалидности... Не

дают... — и он вытащил из паспорта просекшуюся на сгибах полуистлевшую бумажку.

На ней от руки химическим карандашом было написано: «Справка. Выдана рядовому Хоруженко Ивану Мефодиевичу, что в боях он получил ранение коленного сустава. Командир санроты мл. лейтенант Левин».

Ни штампа, ни печати. Кто же поверит в эту самодельную писульку какого-то командира санроты?..

— А вы в собес обращались? — спросил Петр Федорович.

— Ходил, ходил, — Хоруженко покивал головой, хихикнул и утер выпавшую из воспаленного века слезу — то ли насмешливую, то ли горестную.

— А чем же все-таки я могу вам помочь? Я приезжий... вот, собираюсь уже домой, — Петр Федорович посмотрел на чемодан и увидел, что плохо закрыл — наружу торчал кусок сорочки.

— Не знаю, — пошевелил ногой гость и замолк.

«Дать ему денег, чтоб отвязался?» — подумал Петр Федорович. За свою адвокатскую практику он навидался таких, несчастных, с занудливо-сутяжным упрямством всю жизнь доказывавших свои на нечто права...

Хоруженко продолжал молчать, но что-то изменилось в его облике: словно оставив в этом уютном номере старую измятую плоть, душа вырвалась, ушла куда-то на волю и блуждала, что-то отыскивая, чтоб, вернувшись, снова забько закататься в свою оболочку и сказать: «Нет, ничего не нашла, никого», — такое печальное возникло в глазах Хоруженко.

Петр Федорович встал, нарочито громко сдвинул кресло.

— Чего же вы от меня хотите? Никак не пойму? — спросил он.

— Мне бы пенсию... по инвалидности... Прикрепили бы к магазину... Вы-то прикреплены? — посмотрел он на пустой рукав Петра Федоровича.

— Но я эти вопросы не решаю!.. Как же я могу?.. — Петр Федорович нервно шагнул к чемодану и попытался затолкать сорочку.

— Не знаю... Теперь уже не знаю...

— Я-то тем более!

— Значит, не поможете? — Хоруженко поднялся.

— Увы, — Петр Федорович пожал плечами. — Я ведь тут человек случайный, гость. Ваши местные власти лучше разберутся... И времени у меня нет, сейчас такси придет.

Хоруженко кивнул и, вдавливая износившийся резиновый наконечник палки в мягкое ковровое покрытие, медленно заковылял к выходу.

Какое-то время Петр Федорович сидел, глядя на белые филенки двери и с опаской ждал, что Хоруженко вернется, такие люди обычно забывают, как им кажется, сказать напоследок самое главное, и тогда снова начнется странная бессмысленная канитель. Но гость не возвращался. Минут через пятнадцать позвонила дежурная, что такси у подъезда. И Петр Федорович с облегчением поставил чемодан на ребро...

8

В ту субботу, когда Алеша ушел в дискотеку, Екатерина Сергеевна затеяла стирку. С водой все время ощущались перебои, стали давать по графику: с шести до девяти утром и с шести до одиннадцати вечером.

Екатерина Сергеевна поменяла всем постели, стояла в ванной в длинной из голубого ситца ночной рубаше. Распущенные, влажные после мытья тяжелые волосы словно оттягивали голову. Екатерина Сергеевна укладывала в ванну белье, пересыпала порошком, чтобы залить водой и завтра, встав в шесть, начать стирку. Юрий Петрович помогал: выворачивал наизнанку пододеяльник и, как она научила, вытряхивал из уголков невесть откуда набившиеся комочки пуха и ниток.

Покончив с бельем, Екатерина Сергеевна накручивала волосы на капроновые белые бигуди с черными резинками, затем сушила феном. Юрий Петрович, усевшись на опрокинутый бак, задумчиво курил.

— Что же будет, Юра? — спросила Екатерина Сергеевна.

— Ты о чем? — он-то знал о чем, но не хотелось неотвязные тихие и тревожные думы озвучивать сейчас, делать их разговором, но понимал, что это неизбежно.

— Чем он собирается заняться? Учиться? Год уже пропал. Куда он хочет пойти? Может, решил работать?... Я боюсь с ним об этом... Ты бы, как мужчина с женщиной. Посоветовал... Чужой он стал, замкнулся... — Екатерина Сергеевна опустила фен на колени.

— Какой совет, Катя? Как я могу учить его жить?! У меня ощущение, что он старше меня! — Юрий Петрович подошел к зеркалу, мельком взглянул. — Он, Катя, был под пулями... Иногда кажется, что вся моя жизнь едва ли равна его году там... Ты вдумайся: мы еще не старые, а наш сын уже воевал...

— Ему никто не звонит, и он никуда. Лежит и читает.

— А ты видела, что читает? «Алиса в стране чудес», адаптированный «Робинзон Крузо», «Всадник без головы»!

— Не читать же ему Достоевского сейчас! — взорвалась Екатерина Сергеевна. — Он хочет забыться, уйти от этой войны!

— Заблуждаешься. Далеко ли мой папа ушел от своей? С возрастом меняются только какие-то оценки. Остальное у них пожизненно поверх всего, потому что случилось это и тогда, и сейчас с двадцатилетними, почти детьми. Алеша и многие его сверстники пока еще не нашли в этой жизни ничего равноценного той. Наши обиходные слова о дружбе, надежности, верности — суррогат. А там эти понятия решали: уцелеешь или погибнешь. Но вернулся Алеша сюда, где слова эти прежде существовали и для него, как разбавленное пиво. Вот он и читает «Алису». Ему сейчас нужна сказка, чуждо все вокруг. И мы неинтересны. А вот папа мой ему ближе, он свой, как однополчанин... То же самое у доктора Гольцева с их Володей.

— Не кури столько, — попросила Екатерина Сергеевна.

Но Юрий Петрович уткнулся лбом в газовую колонку и прикуривал от фитилька, потом, выдохнув дым, как-то безнадежно сказал:

— Я достал ему четыре кассеты «ТДК», это опять дефицит. Он любил писать только на них. Положил на тумбочку. Но он к ним и не прикоснулся! С момента приезда ни разу не включил свой «Панасоник». Ты знаешь, где он пропадает целыми днями?

— Может, у него девушка?

— Какая девушка! — махнул рукой Юрий Петрович. — Он почти ежедневно у папы. Ты это понимаешь? Наш сын, Катя, родился в семье невоевавшего поколения. Но видел, как убивали его ровесников и убивал сам.

— Его прикрепили к магазину-салону для инвалидов Отечественной войны.

— Их всех туда, инвалидов-«афганцев».

— Наш сын будет обеспечивать нас гречкой и сгущенкой! Боже мой! Дожили мы с тобой...

9

В эту дискотеку Алеша ходил еще школьником.

Сейчас с улицы увидел, как знакомо по окнам метались, дергались цветные огни. В зале на втором этаже гремела тяжелая металлическая музыка. Он купил билет. Женщина на контроле сказала:

— Что так поздно? Через полчаса закрываем, — она удивленно посмотрела на его комбинезон.

Он не ответил. Поднялся на второй этаж и направился не в зал, а по пустынному общарпанному коридору, который вел к сцене. Пахло пылью, табачным дымом, мочой из распахнутых туалетов. Алеша приоткрыл узкую железную дверь, остановился за выцветшей грязной кулисой, глянул в ще-

лочку. На пустой зашарканной сцене на двух столах мигала красными и зелеными глазками аппаратура. Перебирал бобины диск-жокей, все тот же Кока Куницкий — маленький, с прыщавым воробыным лицом, в белой свежей сорочке и черной бабочке под горлом. Алеша знал его давно. Было Коке лет тридцать, но он всегда выглядел подростком. Когда-то приторговывал импортным шмотьем, бобинами и кассетами, потом переключился на батарейки к японским часам и зажигалкам. Безобиден, труслив и услужлив. «Центровые» посмеивались над ним, над его балетными движениями, подозревали, что Кока педераст и потихоньку колется... Когда все было?! Как сон, какая-то придумка... Алеша посмотрел в полутемный зал. В потной духоте носились молнии цветомузыки и скакали танцующие. Не так давно любил все это, самое понятное в жизни. Но сейчас, морщась от грохота музыки, распиравшей динамики, он с холодным любопытством изучал лица, словно стараясь понять, что испытывают в этот момент парни и девчонки, вихляя бедрами, ногами, взмахивая руками, пытался вспомнить, что испытывал сам не так вроде и давно, вертясь в этом зале. Но чувства, ощущения не вспоминаются, они существуют один раз, становясь потом только словами, которые лишь в малой мере способны что-то восстановить...

И тут как толкнуло: он оказался у столов с аппаратурой, включил большой свет в зале, остановил магнитофон.

— Ты что?! — опешил Кока.

— Пригнись! — взяв Коку за плечо, Алеша вмял его в кресло.

— Эй ты, комбинезон, в чем дело? — раздалось из зала.

— Ну-ка вруби! — крикнул кто-то с угрозой.

Алеша стоял у рампы и молча обводил взглядом повернутые к нему злые лица.

— Да он псих!..

— Чего ему надо?..

— По шее захотел!..

Несколько парней двинулись к сцене. Но из толпы рванулась девушка, взобралась на сцену, — длинная, с распатланными белыми волосами, в расстегнутой у горла тонкой блузке, круто поднятой большими грудями.

— Силаков! — воскликнула она. — Привет! Да ты что! — заулыбалась ему в лицо. — Ребята, он из Афганистана! — обернулась к залу. — У нас лежал в госпитале, в Кабуле.

— Не суетись, — усмехнулся Алеша, узнав Тоньку-«Версту». Легонько отодвинул ее. Он чувствовал, как слева на животе дергается мышца, как истерический азарт гнал его напролом. Хотелось крикнуть: «Ну что, попрыгунчики, веселитесь?! Может, под похоронный марш брейк сбациаете?.. Знаете, какой ритм «Калашников» выдает? Мозги в чалму вываливаются!.. Такое видели?.. А нас в гробах?..» — Чего вылупились? — только и спросил он сипло. И вдруг сник. Воздух вышел, шарик сморщился...

В наступившей тишине кто-то кашлянул. Из группы парней отделился плечистый, с низко стриженными волосами блондинчик. Высокие бугры скул сузили до щелочек глазницы. Он подошел к сцене и тихо сказал:

— Уймись, не позорься. Я тоже там был. Четыре месяца, как вернулся. Что мы теперь — прокаженные?.. Или глаза завязать, чтоб жизни не видеть? По лесам разбежаться и выть по-волчьи?.. Чего рыло воротить?.. Завтра сам сюда придешь... Уведи его, Верста, — обратился он к Тоне, все еще стоявшей рядом с Алешей...

Она потянула его за рукав, и он побрел к железной дверце, ощущая, как прицельно десятки глаз уперлись в спину.

Сидели в сквере возле клумбы с чахнувшими цветами, где по воскресеньям обычно собирались футбольные болельщики, — пенсионеры, юнцы, просто ханыги, ходившие сюда кому-нибудь поддакнуть за возможную кружку-другую пива. Сейчас здесь было тихо.

Обессиленный и пустой, униженный своей выходкой, Алеша вспомнил, что последний раз перед уходом в армию он видел Тоню на КВН в соседней школе, а потом в госпитале. Даже не узнал ее в белом халате. Она работала

вольнонаемной, правда, не в том отделении, где он лежал, но часто заходила к нему в палату...

— Давно вернулась? — спросил Алеша.

— Два месяца... Как твоя нога? Спасли? — Тоня заглянула ему в лицо.

— Нет. Уже в Ташкенте полстопы отрубили.

— А ходишь хорошо, незаметно, — соврала она.

— Плевать мне, заметно или нет, — его обозлила Тонина ложь. — Мне замуж не выходить.

— Да-а, если б такое со мной... Кто бы захотел жениться? Ты бы первый отвернул нос, — посмеиваясь, миролюбиво сказала Тоня. — Зря ты, Силаков, на них набросился. В чем они виноваты? Ну, пришли потанцевать.

— Бежать к ним извиняться?

— Нет, но... И я ведь там танцевала, Силаков.

Он не ответил.

— Похолодало, — Тоня дернула плечами.

— Работаешь? — спросил Алеша.

— Да. В окружном госпитале. Иду на подготовительный в мединститут. А ты?

— Пока гуляю.

— Куда пойдешь? — Тоня поднялась.

— Куда хочешь.

Он знал, что был для нее одним из тех, кому она говорила: «Потерпи, родненький... Скоро домой поедешь... Может, дать попить?..» Казенные, как из устава, слова... Их полагалось произносить, независимо, милосердна ты или нет. Разные там попадались медсестры; одни ехали заработать, другие в надежде выйти замуж, особенно молоденькие разведенки и дурнушки, случались и восторженные комсомолочки, и такие, что расчетливо и честно поехали набрать стаж для льготного поступления в мединститут. К ним обращались одинаково: «сестричка», и они — ко всем: «родненький»...

Алеша мог, конечно, позвать ее сейчас на квартиру деда, ключи в кармане. Еще бабушкины: связка на черной тесемочке, два от входной двери, один от подвала. Тоня, пожалуй, пошла бы, видать, не из тех, что строят из себя... Но ему ничего не хотелось, был смят и пристыжен недавней своей истерикой... И эта девчонка существовала для него сейчас, как товарищ о т т у д а, соратник, «сестричка», для которой он, как и многие, оставался «родненьким»...

И вдруг Тоня сказала:

— Хочешь, пойдешь ко мне? Я одна, мама в Юрмале в пансионате.

— А отец?

— У него другая семья, — просто сказала она.

Было около одиннадцати. В листьях каштанов едва слышно зашептал дождь. Подвижный теплый туман оседал на тротуары, окольцевал фонари слипшейся радугой. Пока шли, Алеша решал, как быть, если Тоня предложит остаться. В голове сидела фраза «Я одна». Он представил себе, как будет возиться, снимая и надевая потом протезный ботинок, подпрыгивать на одной ноге, как Тоня станет смотреть на нее, изуродованную, и жалеть — искренне или притворно...

— Устал? — спросила она, когда остановились возле подъезда блочного дома. — Ну что, зайдешь?

— Да нет... Обещал родителям пораньше вернуться.

— На углу возле аптеки поймай такси или левака. Звони, заходи. У нас дома просто и тихо. Познакомлю с мамой. Она у меня спокойная, в мои дела не лезет, и мы дружим. Что расскажу, того ей и хватает. — Тоня дважды повторила номер телефона. — Запомнил?

— Не контуженый.

— И не устраивай больше фейерверки, Силаков. Ладно? — засмеялась она и, оглянувшись уже у раскрытой двери, весело шевельнула пальцами вскиннутой руки.

Раскалившись за день, степь отталкивала в аспидную южную ночь обезвоженную духоту. Силаков бежал, чувствуя прилипшую к потной ладони деревянную гладь автомата, кое-где пощербленную песчинками и колючками низкорослых жестких кустов. За спиной шуршали шаги остальных. Что-то звякнуло, кто-то споткнулся, упал и, матерясь, тут же вскочил, ойкнув, видимо, подвернул ногу. «Кто же? — гадал на бегу Силаков. — Похоже, Мартович...» Подъем был пологий, длинный, и когда достигли кучи валунов, рухнули под ними, облизывая зачерстневшую сушь губ, стянутую сукровицей на трещинах. Слева сверху, с далекого и невидимого во тьме холма бил крупнокалиберный... «По флангу... Сука... По роте Денисова», — понял Силаков, глядя на длинные нити желтоватых трассеров. Стук пулемета долетал, когда эти светящиеся иглы уже угасали. Силаков лежал за огромным гладким валуном, ощущая на щеке его тепло, скопившееся, казалось, за тысячелетия. Приказано было тут затихнуть и ждать красной ракеты, чтоб ударить сбоку... Выплюнув тягучую слюну, липкой нитью упавшую на подбородок, он потянулся к фляге, обломанный ноготь больно зацепился за нитку на одежде. Силаков оглянулся. Никого... Ни Мартовича, ни остальных... Куда подевались?.. Он один... Стало жутко... Из тьмы вдруг полезли странные звуки: то ли чей-то шепот, то ли шорох ползущего. Никогда он не испытывал такого безнадежного и непоправимого одиночества. Чернота ночи расширяла степь до беспредельности, никаких предметов, чтобы зацепиться глазом и попытаться от них отсчитывать расстояние. Взгляд утонул в темноте еще и потому безмерной, что степь сплошь соединялась с небом, где густой холодной сыпью стили звезды, до которых миллионы километров. И эта даль делала его ничтожным, беспомощно маленьким существом, как тот скарабей, что ползал днем у его ноги... Силаков заметил, что трассы крупнокалиберного укорачиваются и понял: пулеметчик повел стволом в его сторону. Когда трасса станет совсем короткой, а затем и вовсе превратится в быстро летящую светлую точку, — это конец: ствол там, на невидимом холме будет бить по нему... Куда же девался Мартович?.. И оглянувшись, Силаков вдруг увидел: Мартович, сидя за кустом, громко чавкая, ел сало... Надо встать, дать ему в морду? Приказано же было, чтоб тихо, а он чавкает!.. Но почему так тяжело подняться?.. Пулеметный стук нарастал неотвратимей... Силаков открыл глаза... Стук продолжался и внутри, где толчками дергалось сердце, и раздавался теперь снаружи...

Кто-то стучал в дверь. Весь в поту, ослабевший от терзавшего во сне ужаса, Петр Федорович прохрипел: «Сейчас», вялой рукой проведя по лицу и волосам, с трудом свесил с полки ноги и, забыв о шлепанцах, в носках доплелся до двери, опустил защелку.

Вошел проводник.

— Что это вы среди бела дня запираетесь? Еле достучался, уж пугаться стал: не случилось ли чего...

— Я переодевался, забыл про защелку, заснул, — ответил Петр Федорович.

— Вы же хотели чаю.

— Да, пожалуйста...

В купе было душно. Послеполуденное солнце медленно ползло с подушки на стенку, затем на двери, пока поезд, входя в крутой поворот, втягивался в сосняк. Сосед по купе, еще с утра ушедший к друзьям в другой вагон, так и не появлялся.

Петр Федорович вытер полотенцем потную шею. Сон еще дышал в нем живыми подробностями, был реален, как обычное воспоминание. Даже болел палец с обломанным ногтем, зацепившимся за нитку. Но того пальца, как и той руки, уже давно не было. И восстанавливая сейчас сон, Петр Федорович обнаружил единственную неточность: к тому дню, когда лежали за валунами, сержант Мартович был уже убит. Веселый, добрый, толстогубый полтавчанин, знавший уйму побасенок про сало. Когда у него что-нибудь просили: кусочек ли тряпочки для шомпола, ёршик ли, иглу с ниткой, он щедро давал, но при

этом шутил: «Ты как тот солдат, что писал маме: мама, пришлите иголку, а чтоб она не затерялась, воткните в добрый кусок сала...»

Где-то Петр Федорович вычитал, что у памяти якобы три свойства: возвращать время, удерживать его, проникать в будущее. Люди обладают одним из них в надежде не исчезнуть. О войне новые поколения знают много: когда и как началась и чем закончилась; кто с кем воевал; во имя чего кроваво и свирепо дралась каждая из сторон, — есть книги, фильмы, полотна живописи. Но чем была она для каждого, кто прошагал ее по верстам, изведаль ее подробности на собственной шкуре? Когда бродя по лесной заснеженной просеке дома отдыха в теплых «саламандрах» и в дубленке, вдыхая процеженный морозом чистый воздух, уловишь, случилось, мутящий запах керосина — где-то низко за спокойными соснами пошел к близкому аэропорту лайнер, — в тебе, и только в тебе возникала другая, твоя просека: в железных кузовах «студебеккеров», изрыгавших в такой же стерильно-морозный воздух вонь сторовшей солярки, уже четыре часа безостановочно везут вас, окоченевших, как чурки, утративших ощущение собственного мяса на костях. Вы дремлете на скамьях вдоль бортов, а вернее проваливаетесь в полузабытье, безучастные от усталости, скукожившиеся от голода и лютой стужи. За машинами и зачехленными противотанковыми орудиями вьется легкая сухая пурга. Окаменевшие мышцы лица, примерзшие к сапогам и ботинкам давно нестиранные жесткие портянки. Ни ощущений, ни желаний в этой тягучей дремоте под рев дизелей. Даже нет постоянно досаждавшего чувства голода, оно тоже словно выморожено в продутым стужей теле. И только чей-то котелок, привязанный к вещмешку, звякает, ударяясь о железный борт, напоминая, что ты еще жив...

И если через пятьдесят или сколько там лет кто-то, прочитав такое, увидит это, он всего лишь поймет ваши муки, но не ощутит их. Он не вернет, не присвоит себе твое время, у человека этого есть своя стезя в своем времени. И запах керосина, впрыснутый лайнером в неподвижный морозный воздух, ничего, кроме отвращения, у него не вызовет...

Все, что происходило с Петром Федоровичем в той круговерти, — комья мерзлой земли под Великими Луками, бившие по спине, когда, сжавшись, сгибался в момент разрыва снаряда; грязь по колено, когда шли полем под Невелем, засасывавшая сапоги, заляпанные ею руки, лицо, даже заткнутые за пояс полы шинели; разостланный ветром черный дым догоравшей «тридцатьчетверки» около Себежа, летевшие из этого дыма клочья саж и смешавшиеся запахи раскаленного металла, обгоревшей краски, плавившейся резины, изжарившегося человеческого мяса, — все это оседало почти мгновенно в глубины — в ямы, щели, щелочки памяти, укладывалось слой за слоем, — потому что поверх ложился следующий день подаренной жизни, который начинался чем-то новым, не менее страшным. И никто не знал да и не задумывался, возвратится ли вчерашнее, вспомнится ли, всплывет ли когда-нибудь, ибо думалось назавтра уже о другом: как сберечь две ложки сахара, сперва размокшие, а потом корочкой засохшие на стенках мешочка; что дать в обмен на флагу немецкого рома хмурым нестроевикам из похоронной команды. Но оказалось, все всплывает и душит затем, и сам уже, истязаясь, окликаешь одну подробность за другой, чтобы растравленной душой еще раз жадно испить все это... И чем старше ты, тем старше и слаще это горькое вино воспоминаний, потому что тоскуешь по юности, какой бы она ни была — с утренним ли садом, пробитым полосами солнечного света и наполненным весенними неутешными призывами горлицы или с полуобгрызанным, в табачной пыли, жестко закаменевшим сухарем в кармане шинели...

«И Алеше не миновать этого», — вздохнул Петр Федорович...

11

Вагон, в котором ехали Петр Федорович, остановился почти в центре перрона, Алеша увидел деда, двигавшегося — от окна к окну — по проходу.

Они торопливо, неловко обнялись, Алеша подхватил чемодан, спустились в тоннель, выводивший на привокзальную площадь.

— Как съездил? — спросил Алеша, поглядывая на небритое, вроде усохшее лицо Петра Федоровича.

— Съездил...

— Подарок внуку привез? Заводной автомобильчик или надувную резиновую белочку?

— Не догадался.

— Зря.

— Что тут? Какие новости?

— Годами ничего не меняется, а ты хочешь за несколько дней, чтоб новости...

— Как родители?

— Живы, здоровы.

— Что ж, богатая информация...

Вышли на площадь. У стоянки такси уплотнялся хвост — на час, если не больше.

— Подожди, я сейчас, — Алеша поставил чемодан и двинулся через площадь к месту, где парковались частники. Но никто не хотел везти в город, норовили куда подальше: длинная дорога — длинный рубль. За кустами стоял серый «Москвич» со свежим загрюнтованным и зашкуреным пятном на дверце. Хозяина в куцей мятой кожаной куртке с обтершимися добела складками, смотревшего с вопросительным ожиданием, Алеша вычислил сразу по мутноватым глазам в красных кроличьих прожилках и губам, пересохшим от внутреннего непохмеленного жара.

— Ну что, водила, стоять не надоело? — спросил Алеша.

— Далеко?

— На Банковскую.

— Как поедет?

— Трояк.

— Садись. Может, еще кого укомплектуем, ежели по пути?

— Не надо. Нас двое. Я и дед.

— Где дед-то?

— Сейчас приведу.

— Из деревни, что ли?

— Да, кабана привез.

— Почему сдавать собираетесь?

— Еще не знаю.

— Если не жирный, возьму окорок.

— Там видно будет, — Алеша пошел за Петром Федоровичем.

Когда уселись, водитель, оглянувшись, сказал Алеше:

— Что ж ты гнал про кабана, парень?

— Шутки надо понимать, дядя...

Дома, едва вошли, Петр Федорович недовольно потянул носом:

— Не проветривал? Ни разу не заходил?

— Вчера. Извини, — Алеша распахнул форточки обоих окон. — Питаться будем?

— Чай поставь.

На кухне Алеша вытащил из холодильника мясо, плавленые сырки, пачку пельменей, вареную колбасу, вспорол плоскую банку сардин. Все это накупил накануне.

— Пельмени варить, дед?

— Мне яишенку зажарь... Чай поставил?..

Оба ели быстро, проголодались.

— Вкусная штука колбаса, — подмигнул Алеша.

— К чему у тебя еще вкус прорезался?

— К пончикам с повидлом, — отшутился Алеша, поняв, куда гнет дед. — Мама их здорово варит в масле.

— А еще к чему?

— Тебя не было неделю, ты что, надеялся, что я за это время какой-нибудь диплом огребу?.. Не придумал я еще ничего. Устроюсь куда-нибудь... Где меньше пачкаться.

— В каком смысле?

— В дерьме, которое вы тут разводили всю жизнь..

— Кто это «вы»? А ты, чистюля, не участвовал?

— Я учился в школе.

— Сосали вино в подъездах из горла, тискали одноклассниц?

— А что вы предлагали нам взамен? Петь хором комсомольские песни? — взорвался Алеша. — Брехня в школе, дома умолчание... И кто с нами хотел говорить обо всем?

— А вы хотели такого разговора? Вы на мир смотрели сквозь динамики магнитофонов, а уши заткнули здоровенными наушниками.

— Так мы, дед, не доберемся до конца: мы не слушали, потому что нам не говорили, а нам не говорили, потому что мы не слушали! Где тут голова, где хвост?! — крикнул Алеша.

— Почему ты на меня кричишь? — Петр Федорович спокойно нанизал на вилку кусочек хлеба и вымакивал в тарелке остатки глазуньи.

— А на кого?.. Я знал, что этот разговор возникнет... На родителей? Какой с них спрос? Они же меня боятся теперь... В рот заглядывают — что изреку. Папа какой-то отморозенный, лебезит передо мной. Все ублажает, советы спрашивает!.. Обхохочешься!.. Он что, и на работе такой? Как мне теперь относиться к нему?

— Отца своего не тронь. Он ко всему еще и мой сын. Хороший сын, и человек порядочный. А если ты не способен понять его и маму, значит, ты дурак.

— Пойми, дед, — Алеша с боков сжал ладонями грудь, — не я один такой дундук. Нас миллионы двадцатилетних. И вдруг нам на голову посыпалось по телевидению, из газет и журналов столько да такое! В особенности для нас, вернувшихся оттуда. Только и слышишь: «культ личности», «последствия культа»... А что мы знали про это? Что мы знаем? Он для нас, как Иван Грозный для вас — история, эпизод из школьного учебника. И то, и другое чёфт-те когда было!.. Но, выясняется, имеет отношение к моей жизни. К сегодняшнему бедламу. Вот те на! Прут с мясокомбината вырезку на биштексы, ножки на холодец, с молокозавода тащут сливки и масло! Мама моя это покупала, называлось «достать». Если бы было украдено у соседа, мама не купила бы... Принимаются грозные постановления. От них же толку никакого! Ты «Прожектор перестройки» смотришь? Отпад!.. При чем здесь «культ»? Когда он был-то? Может, действительно нужно, как при вашем «культе», министра любого за грудки и т у д а? Чтоб все знали: не выполнишь — загудишь на червонец или к стенке... Иначе они чихали на вашу пересгройку...

Отложив вилку, Петр Федорович слушал и думал: «Боже мой, какая сумятица у них в голове! Как мы перед ними виноваты!..»

— Сталина уже нет, Алеша, — сказал он.

— Найдутся другие!

— И ты готов — с ними?

— А чего? Готов!

— Заменить одни фамилии другими, одних рабов и надсмотрщиков другими и — проблема решена? Пружина страха лопнула, Алеша. И слава богу! Но общество наше развратили болтовней, ложью, демагогией. Рабочим без устали внушали: вы — гегемоны. А гегемоны тащат через проходную канистру финской краски, салники, поршневые кольца, сбывают мастерам-частникам. Почему бы нет? Начальник главка берет «на лапу» десятки тысяч, выделяя кому-то металл. И не сверх лимита, — положенный. «Вы в долгу перед рабочим классом!» — долдонили на собраниях. В долгу считались писатели, актеры, художники, композиторы, вся интеллигенция. В каком долгу? Чушь! Он у меня в долгу, этот «гегемон». У меня отваливаются подметки на новых штиблетах. У меня «летит» агрегат на холодильнике, не проработав и месяца.

— Потому что никто ничего не боится уже, дед.

— Да, страх стал ручной, а совесть за последние двадцать лет растворили в словах: «Все идет хорошо, страна на подъеме, и пусть будет тихо...» — Петр Федорович нервно чиркал спичкой по коробку, прижав его протезом, но

никак не мог зажечь, дрожали пальцы. Наконец прикурил. — После Сталина, Алеша, кончилась эра истового раболепия, преданных послушников. Последующие, как от кровосмешательства, выродились в равнодушных и тихих, безразличных и наглых, «отмороженных», как ты говоришь, и рвачей. — Петр Федорович говорил и мучился от мысли, сколько звеньев не хватает между ним и внуком, какие провалы он заполнял сейчас тривиальностями, прописями. Зачем? Вон на столе куча газет и журналов. Там все... Пусть читает... Но это, — как отмахнуться... Он сощелкнул пепел в пустую банку из-под сардин. Мерзко запахло паленым маслом.

— Не понимаю, почему, почему, почему?! — Алеша застучал кулаками по столу. — Откуда пошло?

— Издалека. Оттуда, где мне было тринадцать-четырнадцать лет... А дошло сюда... Недавно, ты уже в пятый или шестой класс ходил, один начальничек с бо-о-льшими погонами на плечах запретил армейским библиотекам выписывать «Юность» и «Новый мир». Но ты про это и не слышал.

— Как запретил? Почему?

— Там печаталась правда о войне. Для вас же не должно было быть ни ужаса сорок первого, ни плена, ни напрасной гибели солдат из-за бездарных генералов, ни разгромленных в окружении дивизий. Чтоб не возникал вопрос: как так, кто виноват? Лучше, чтоб война выглядела, как гладкая дорога до Берлина. Убивало, конечно, и тогда, люди гибли, но только героически. А когда вам достался Афганистан, оказалось, что случались и окружения, и плен. Но были ли вы готовы к этому? То-то... Похмелье тяжкое и цена ему высокая...

— Как же нам жить теперь?.. За что же мы там... У тебя водка есть? — вдруг спросил Алеша, вставая.

— Возьми в буфете, в бабушкином графинчике. Но с условием: ляжешь поспать потём. И ночевать останешься.

— Не останусь!

— Тогда уйдешь без водки... Посуду я сам вымою. Еще раз говорю: не ори! Не превращайся в истерика. Я видел таких в сорок пятом и позже. Размахивают костылями, налакаются и — в голос: «Жизнь кончилась!.. Я безногий!.. Завоевали называется!.. Нюрка, дай бутылку без очереди!..»

— У нас с тобой разная война была, дед. — Алеша стоял у раскрытого буфета.

В толстых граненых хрусталинках в дверцах радужно слоился свет. Налив водки в синюю рюмку, он приблизил ее к глазам, разглядывал, словно хотел увидеть нечто важное, потом сказал: — Твоя называлась «отечественная». Как мою назовешь?

Петр Федорович смотрел на внука, ждал — никогда не видел его пьющим, и думал: мы тоже тогда, едва вернувшись, растерялись перед жизнью на гражданке. Эйфорию радости, что победили, уцелели, выдуло. И оробели: как жить дальше, что делать? Что мы, бывшие школьники, умели? Убивать? Вслепую собрать «на слабо» затвор? Тихо сползть на «нейтралку» поживиться у трупов куревом? Это никому уже больше не нужно было. В разрухе, в голоде мирной жизни требовалось другое умение. Возникли новые и непонятные уставы, страдания, проблемы, слова, понятия. Опешили, затосковали по знакомой фронтовой вольнице — простой и ясной. Откуда-то подоспели и новые начальники, сгибавшие нас, стучавшие кулаком по столу: «Хватит! Нечего права качать! Война кончилась!.. Страна в разрухе, а вы тут...» Что ж, и в этом имелась правда. И постепенно распахала нас жизнь по нужным ей углам. Кого куда, кого с пользой, кому хребет сломала... Так и пошло, покатилося. Но никогда не было ни сомнений, ни вопросов, подобных Алешкиным... Хотелось сказать внуку: «И твоя растерянность пройдет, все минует. Ноша ваша легче — полстраны тогда в руинах лежало». Но Петр Федорович сдержался и подумал: «А может быть, и тяжелее».

И словно поняв, чего он поостерегся, Алеша повторил:

— Разная у нас с тобой война была... Оглянись вокруг: все сыты, жрут, хари, прости, — за неделю не обгадишь, довольны, требуют модное тряпье... Большого им не надо...

— Какое тряпье? Где ты это видел? У кучки своих дружков? До сих пор телогрейки тюремного цвета шьем. И ведь спрос на них есть! Сыты, говоришь, жрут? Ты пройдишь по магазинам, пробейся к прилавку. Минтай в деликатесы попал. Сбегай на рынок, спроси, что почем. Страна хлебом брюхо набивает — вот и сыты. Что разваливалось пятьдесят лет, теперь по кирпичику собирать придется.

— На что же надеяться, дед? — Алеша потер лоб. — Я где-то вычитал на днях, что профессор Федоров, этот, что операции на глазах делает, рассказывал: обследовали слепых. Попадались, которым можно вернуть зрение. А они отказались: «Мы привыкли уже, приспособились, нам так легче». Понятно? Народишко наглый стал. В гробу он видел эту демократию, гласность. Ему важно, чтоб не мешали набивать чулок купюрами. Украсть легче, чем заработать.

— Слепые со временем вымрут.

— И родятся все зрячие?

— Даже новые слепые родятся в новое время. Им неуютно станет ходить в слепцах.

— Долгая работа, дед, — покачал Алеша головой, налил еще рюмку, выпил и захлопнул буфетные створки. — А ты мне тут красивые слова говоришь, товарищ Силаков.

— Для этого других слов не существует, уж извини... А насчет твоей работы... Иди диктором на радио. Самая чистая и безопасная: тебя никто не видит, и слова произносишь чужие, по бумажке, — Петр Федорович встал и уже как бы себе сказал: — Ни у кого теперь не должно быть сомнений: каждое время оставляет своих свидетелей... Пойду прилягу...

— Иди. Я помою посуду и тоже придавлю, тут на диване...

В спальне впитык стояли две кровати. Первое время после смерти жены Петр Федорович устраивал себе ложе на диване в столовой. Потом укладывался уже в спальне, но покрывало откидывал только со своей половины...

Он закрыл глаза, но сон не брал его, возбудился разговором. Слышал, как внук носил посуду на кухню, как загудела струя воды, звякнули ножи и вилки в мойке, мягко хлопнула дверца холодильника, пощелкивала проволока в тугих гнездах сушилки, когда втискивались тарелки.

Но вот затихло. Он уловил прихрамывающий Алешин шаг, слабый выдох диванных подушек под тяжелым телом. «В кого он такой? — удивился Петр Федорович. — Восемьдесят пять килограммов, и ростом махнул под метр девяносто. Ведь я и Юра довольно субтильные». Захотелось пить. Петр Федорович босой зашлепал на кухню.

— Ты чего, дед? — с хрустом потянувшись, Алеша перевалился на бок.

— Пить.

Вернувшись, он подсел к внуку:

— Поспишь?

— Это я всегда могу. Хоть по команде, хоть стоя.

— Что же ты так мало писал нам?

— Почему мало? Раз в неделю или десять дней.

— Ладно, спи. — Петр Федорович ушел к себе, притворил дверь. «А сколько же я написал маме и папе с войны?» — подумал внезапно. Не поленился, полез в нижний ящик комода, где лежали в целлофановом пакете старые письма жены, родителей, отдельно пачка треугольников — его с фронта, сбереженные покойной матерью, высохшие, с тусклыми буквами, с фиолетовыми пятнами то ли от дождя, то ли от растаявших снежинок. Он пересчитал: тридцать шесть. Двенадцать в год. По письму в месяц. И вспомнились нарекания, волнения сына и невестки, свои особые тревоги за внука, тревоги человека, понимавшего лучше их, почему там каждый прожитый день. Подумалось, каково было его матери и отцу, жившим ожиданием треугольничка без марки со штемпельком «проверено военной цензурой» от своего сына Петеньки Силакова...

Петр Федорович влез под одеяло, повернулся, поелозил щекой по подушке, устраивая ямочку поудобней, смежил глаза и тут же разлепил их от царапнувшей мысли: «Мы играли в детстве в «чапаевцев», нынче детвора все

еще постреливает из палок в «фашистов», дети Алешки и его сверстников в «афганскую» войну играть не станут... Как все просто...»

12

От деда Алеша звонить не стал, двинулся к автомату. Он знал, что Тоня на дежурстве до девяти. Устоялись тихие, без теней сумерки. В витринах закрытых уже магазинов плавал зеленоватый неоновый свет, на больших стеклах темнели контактные колодочки сигнализации.

Словно вещи — с места на место — перекладывал Алеша слова и фразы из разговора с дедом, мысленно вскипал, добавлял запоздало возникавшие сейчас, подавленно или гневно выуживал из своих раздумий новые «почему». Шел переполненный всем этим, и в уставшем уме, искрясь, как замкнувшие провода, металось горько: «Ладно, будем считать, мы были в Афганистане для дела... Хотя с этим теперь надо разобраться... Но какое право имели послать нас туда именно о н и? Какое м о р а л ь н о е право?! Кого спросили — народ, матерей?! С кем советовались — между собой? Так ведь уже в маразме были!.. А своих деточек и внуков неограниченным контингентом — в другие заграницы!..»

В будке уже минут десять лялякала девица. Волосы, как веник вынутый из перекиси, физиономия в цветной штукатурке — щеки поверх пудры густо натерты розовым, под глазами и над верхними веками синее с зеленым, будто кто-то фингалов насовал, губы лоснились жиром от двух слоев помады. Алеша знал этих девиц — сперва лимитчицы с лапшой на ушах, глупенькие, сердобольно-наивные, а через два-три года, отловленные форцами, — уже патентованные потаскухи, живут с деловарами из овощных и комиссионных магазинов, с прочими торговыми бобрами, наглые, безвкусные недоучки из общаг, складывающие под газетку в тумбочке четвертаки и червонцы на будущую мебель будущих квартир...

Он терпеливо ждал, а она перекладывала трубку из руки в руку, тарахтела, похохатывала, то поворачивалась к Алеше лицом, то становилась боком, и тогда он видел её груди и вспоминал огромные ладони прапорщика Гудкова. Когда у него спрашивали: «Прапор, тебе же уже тридцать, почему не женился?», тот отвечал: «Пока не найду для них бюст по размеру», — и вытягивал, демонстрируя, свои лапы...

Наконец, не выдержав, Алеша потянул дверь:

— Слышь, подруга! Кончай!

Девушка недовольно дернула короткой шеей с ниткой чешского жемчуга, вмяла трубку в другое ухо.

Алеша опустил руку на рычаг:

— Нам тут вдвоем тесно будет. Усвоила?

— Дурак! — она выскочила из будки.

Он набрал номер госпитального коммутатора, попросил вторую хирургию.

— Сестринский пост, — отозвался Тонин голос.

— Привет... Ты через сколько закругляешься?

— Через полчаса.

— Что купить на ужин?

Видно, Тоня удивилась — помолчала, затем сказала:

— У меня все есть. Ты где?

— Недалеко.

— Будь у проходной...

13

Петр Федорович проснулся, когда Алеша уже ушел. Почистил зубы, ополоснул лицо. Глубоко в груди пекло, решил, что изжога, знал: от яичницы. Пришлось выпить соды. На кухне все тщательно было прибрано. Посудное полотенце висело на холодной отопительной батарее — здесь всегда его

сушила покойная жена, веник и совок аккуратно стояли у пластмассового ведра для мусора. Петр Федорович улыбнулся, натянул петлю галстука с заготовленным Алешей ровненьким треугольничком узла, надел пиджак и вышел из дому.

Отправился он за книгой генерала Уфимцева «Огненная стена» в библиотеку Дома офицеров, где его знали — не раз выступал с лекциями по правовым вопросам перед молодыми офицерами. Он любил эту библиотеку, ее тихий порядок, приглушенность шагов, немногословность и степенность движений сотрудниц, их спокойные вопросы, терпеливость, вежливые ответы. Здесь не было эха суеты, нервотрепки, колготни, ошибок жизни, крутившей водовороты за толстыми стенами этого старого высокооконного здания, выстроенного в 1901 году и называвшегося тогда «Народная читальня товарищества имени Достоевского»...

Библиотекарша, выслушав просьбу Петра Федоровича, записала на формулярную картонку фамилию автора и название книги, ушла за ряды стеллажей куда-то в неподвижную тихую глубину, долго не появлялась, наконец принесла нетронутый, вроде и не читанный ни разу томик в глянцевой без трещинок суперобложке. Петр Федорович открыл. На титульном листе значилось «Литературная запись В. Скуратова». Слева — портрет Уфимцева. То же сумрачное крупное лицо, седые волосы, но на снимке он помоложе. Краткая биографическая справка. Начал войну в августе сорок первого генерал-майором. В этом же звании и закончил в сорок пятом. Что-то было в этом странное. Петр Федорович знал людей, носивших в сорок первом в петлицах подполковничьи шпалы, а в сорок пятом уже по одной, а то и по две генеральские звезды на погонах...

Спустившись по широким мраморным лестницам, прикрытым ковровой дорожкой, прихваченной начищенными медными прутьями, испытывая удовольствие от здешней тишины и аккуратности, Петр Федорович доброжелательно кивнул привратнику с красной повязкой на рукаве, нелепой в дворцовой торжественности этого здания, и умиротворенный вышел на вечернюю улицу. Сразу жешибануло бензиновой вонью, испарениями мусора и отбросов из баков, стоявших где-то во дворах и еще какими-то запахами и шумами, источаемыми городом в разную пору суток по-особому...

Было уже одиннадцать. Петр Федорович сидел за столом (читать он привык только сидя, как человек, имевший всегда дело с толстыми папками и множеством бумаг), и скучнея, через абзац одолевал газетчину первых страниц вступительной главы книги Уфимцева. Задребезжал телефон. Звонил сын:

— С приездом, папа... У тебя все в порядке?.. Где Алеша?.. Он ушел еще днем, мы с ума сходим... Он даже не позвонил,— Юрий Петрович словно упрекал Петра Федоровича.

— Он был у меня, поспал, ушел часов в семь... Конечно, поели... Не паникуйте, найдется... Ну, мало ли куда... Хорошо...

А еще минут через пятнадцать телефонным звонком объявился Алеша:

— Дед, просигналь родителям, скажи, что я заночую у приятеля.

— А сам не можешь? — недовольно пробурчал Петр Федорович.

— Начнутся долгие расспросы... А у меня настроения нет.

— А у них какое настроение, подумал? — и Петр Федорович вмял трубку в рычажки. Но, поразмыслив, набрал телефон сына:

— Алеша звонил,— спокойно сказал Петр Федорович. — Он будет ночевать у приятеля... Ну и что?.. Привыкнете... Спокойной ночи...

* * *

Домой Алеша все-таки позвонил.

Затем, уже отстранившись от всего, что двигалось, дышало за стенами этой двухкомнатной квартиры с тусклыми дешевыми обоями, наспех наклеенными еще строителями, с обычной мебелью из древесно-стружечной плиты, задутой лаком, с неброским ковром из синтетической нити, висевшим

на главной стене в столовой, — отгороженный простотой и неприхотливостью от всего неясного, непонятного, противного душе и взгляду, Алеша, закатав рукава тельняшки, сосредоточенно-терпеливо выковыривал спичкой из дырочек в телефонной трубке засохшие кусочки пищи, — видимо, не однажды разговаривали по телефону во время еды. Ковыряя, сдувал и думал, что вроде не на месте, выпадая из стандартного соответствия вещей здесь, стоит в углу, рядом с телевизором, видеомагнитофон «Филипс». Тоня успела купить его на чеки еще до ликвидации «Березки». Остальные чеки, полученные за Афганистан, почти все пропали, обменяла на рубли. «Жаль, обуви себе и маме не припасла», — посетовала Тоня...

Он помнил этот магазин, не раз там бывал когда-то с друзьями, бравшими чеки с рук у «лохов», чтоб купить шикарные плавки, модную сорочку, японский брючный ремень или еще какую-нибудь шмоточку. Его всегда радостно поражало торжество роскошных вещей, весело-обалдело смотрел на обилие, разнообразие их, красоту упаковок. И сейчас, вспоминая ломившиеся прилавки, лица людей, остолбенело поглощенных созерцанием товаров, глаза, словно выдавленные из орбит желанием иметь все это, он будто подносил к глазам бинокль, временами оборачивая его — то приближая, то отдаляя невероятно далеко свои воспоминания, холодно и равнодушно разглядывая их.

«Что же это со мной? — вдруг подумал он. — Свихнулся я, что ли?.. Как же будет дальше? — вспомнил, что в те безоблачные дни поход компанией в «Березку» был как веселая прогулка, одно из частых развлечений...

— Что мать сказала? — откуда-то ворвался голос Тони.

— Спросила, где я, — как бы возвращаясь, спокойно сказал он.

— А ты что?

— Сказал, у приятеля на дне рождения, — его удивили спокойные хозяйственные движения Тони, с которыми она натягивала на розовый наперник подушки свежую наволочку.

— Значит, у меня сегодня день рождения? — хлопнула она ладонями по подушке. — А что ты мне подаришь? — весело спросила.

Ее деловитость, все, рассчитанное как бы без него, за него, вызвали вдруг озлобление.

— Как бы ребеночка не подарил, — сказал он нарочито грубо. — Что тогда?

— Поженимся. У нас будет красивый сын.

— Не хочу. Сыновей убивают.

— Не всех же.

— Ну и что? Я вот как убитый для своих. Не можем найти друг друга! — искренне вырвалось у него...

Было уже далеко за полночь, а они еще не спали. Тоня включила ночник. Лежали, разговаривали.

— Хочешь, врубим «видик». Есть английская кассета про жизнь миллионеров. Красиво и смешно, — предложила Тоня.

— Не хочу... Не могу смотреть... У нас своих миллионеров хватает... Все какое-то ненастоящее, как мираж... Пестрое, не поймешь, кто друг, кто враг... — вздохнул он.

— Так нельзя, Алешенька. Здесь другая жизнь, наша, для всех. И хватит тебе спотыкаться обо все. Так можно с ума сойти. Надо при-спо-со-бить-ся, — Тоня в ритм слову постукивала его пальцем по лбу.

— Ладно. давай приспосабливаться, — он перегнулся через Тоню и погасил свет.

Странное письмо из Таганрога, потянувшее в дальнейшем из тугого клубка трагическую нить с вплетением многих судеб, Петр Федорович получил утром в субботу.

Созрели предосенние умиротворяющие безветренные дни, когда вот-вот

паутина бабьего лета мягко зацепит тебя по лицу. Жались к земле по утрам туманы; пока не всплывет повыше теплое солнце, они оставались в ложбинах, медленно перетекали в низинах полого падавшего с угоров шоссе и стлались по желтевшим кукурузным полям, иногда вползали в город со стороны аэродрома.

Петр Федорович не был грибником, но любил в такую пору доехать троллейбусом до последней остановки у кольцевой дороги, по большой дренажной трубе перебираться на тропу, пробитую в жестких кустах багряного шиповника, и километра три брести до леса. Там, выбрав солнечную сторону, посидеть на пне или коряге и, вдыхая первую прель оголявшегося бора, слушать, как перекликаются грибники, там он о чем-нибудь думал и ждал, пока знакомая уже по здешним местам немолодая женщина в синих шерстяных спортивных брюках, заправленных в красные резиновые сапоги, в мягкой куртке, простеганной большими пузыряющимися квадратами, выйдет из-за деревьев, держа в потемневших, липких от маслят пальцах нож и отяжелевшее пластмассовое ведро. Она показывала ему свой «улов» — это была не жадность, а радость жизни, а он с видом знатока, втянув носом свежую грибную сырость, хвалил и получал шутовское приглашение отведать «с лучком и со сметанкой». И случалось, тут же просыпался аппетит. И когда женщина скрывалась за мыском сосняка, Петр Федорович доставал из кармана плаща бутерброд с колбасой или сыром и с ощущением молодости и здоровья съедал его...

В эту субботу настроение идти туда было сбито письмом из Таганрога — корчившийся старческий почерк на выдерганном из школьной тетради листке в клеточку: «Уважаемый товарищ Силаков! Не сразу разыскал ваш адрес, да и нужды в этом прежде не испытывал. Но мой товарищ по войне, бывший радист Хоруженко Иван Мефодиевич, прислал местную областную газету с материалами про торжества в Городе, где состоялось открытие памятника его защитникам и освободителям. И снова как обожгло, горло обидо перехватило: торжествовали, да не все. Не было тех, кто тоже заслужил находиться среди почетных гостей у памятника, тех, которые не сдали Город, как считаете Вы и другие. Мы не позволили немцам сообщить тогда, что он в их руках. Но те люди — герои августа сорок второго года не признаны. Прочитал я Ваше интервью и хочу спросить: зачем же теперь на страницах газет и книг отдавать врагу этот Город, его землю, во глубине которой кровь его защитников? В Вашем интервью ложь. Ею Вы как бы обрекаете людей на вторую, но бесславную смерть. Бабанов Павел Григорьевич, бывший командир и начштаба 1-го СБОНа (сводный батальон особого назначения), который сломал синюю стрелку на немецких картах, не дал ей продвинуться там, где СБОН держал оборону».

Дочитав, Петр Федорович положил очки поверх письма и долго смотрел на него, словно там могли проступить еще какие-то слова, затем, хмурясь от оскорбительных строк, еще раз перечитал их, ощущая, как, сбившись с ритма, заторопилось сердце. Он достал из тумбочки валокордин, накапал в рюмочку и, залив сразу замутневшей водой, кривясь, выпил.

Удивление, гнев, обида, что незаслуженно обвинили во лжи, не давали покоя. В конце концов можно бы и плюнуть на это письмо, бросить его в мусорное ведро — экая печаль: какой-то там Бабанов из Таганрога, да плевать мне на тебя, мало ли вас, строчкогонов! Но что-то зацепило, обозлило, и Петр Федорович никак не мог отойти. «Нет, любезный Павел Григорьевич Бабанов, вы и не предполагали, на кого нарветесь! — злорадно подумал Петр Федорович. — Тут у вас сорвалось! Писали на арапа, просто как одному из тысяч участников обороны Города, а навалились на участника особого!» — И мысль эта как-то успокоила. Петр Федорович обмяк, рот потянуло судорожной зевотой.

Вообще в последнее время с Петром Федоровичем происходило непонятное. Умевший и любивший засиживаться за полночь с книгой ли, с газетой, со своими думами один на один, когда вокруг тишина и покой, теперь он с каким-то странным нетерпением торопил время, — скорей бы сумерки, вечер, ближе к ночи, чтоб в постель — и заснуть. Не потому, что морил сон. Хотелось как бы отделиться от всего, исчезнуть для себя, уйти в глубину, где ни звука, ни просвета, спать, словно вдохнув наркоза. И едва ложился, радовался

мысли, что он на пороге желанного небытия. Утром просыпался с сожалением, пробуждение означало конец сладостной глухоты и немоты, возвращение оттуда, где нет ничего из яви, нет воспоминаний, а приход дня — это опять долгое ожидание той радостной минуты, когда за окном снова стемнеет, можно снять протез — чужую лишнюю руку с мертвыми восковыми неподвижными пальцами, огромная тень от которых угрожающе-скрюченно отпечатывалась на стене, — и, натянув до подбородка одеяло, смежить веки. Но иногда его пугали это блаженство отсутствия, беспамятство: «Что со мной? — думал он. — Как старческое ожидание смерти». Испуг, однако, был краток. Каждый день Петр Федорович торопил приход ночи и вновь просыпался с сожалением. «Наверное, таково требование организма, — успокаивал себя Петр Федорович. — Устало тело, устали душа и разум. Пройдет», — философски заключал он.

Недоуменное раздражение от письма осело. И думал он уже жестче, спокойнее. Этот хромой Хоруженко, заявившийся тогда в гостиницу, плюгавенький, похожий на пьянчужку, может, и вовсе проходимец. Сунул под нос какую-то цидулку замызганную, без госпитального штампа и печати. Таких немало объявилось, новоявленных ветеранов. Вот и защитника нашел, какого-то Бабанова из Таганрога... Во-первых, что это за 1-й СБОН, был ли у нас такой тогда, во-вторых, имелся ли в нем начштаба Бабанов Павел Григорьевич?.. Ишь ты, публицист какой: «...зачем отдавать врагу теперь на страницах газет и книг Город»... Что значит «Город не был сдан»?.. Экая чушь!.. И кому сообщает — мне!..

Петр Федорович полистал книгу Уфимцева, отыскивая нужное место. Вот оно: «Огромный промышленный Город лежал по бокам сильной судоходной реки. Он разросся не в глубь суши, а вдоль речных берегов... Шли кровавые уличные бои. Превосходство у немцев было многократное, в танках и авиации — полное. Я, как командующий Оборонительным районом, понимал, что противник вот-вот расчленил нашу оборону, слабевшую с каждым днем, не получавшую подкрепления, переправится через реку на юге и севере и замкнет нас. Люди были измотаны многосуточными боями, полуголодным существованием. Наступило время единственного разумного решения — уйти из Города, увести еще боеспособные части, спасти их. После долгих сомнений я сообщил в штаб фронта. Ответа не было долго. Видимо, и там раздумывали, ждали согласия Ставки. Получил его на следующий день. Мой первый заместитель, полковник Губанов, уже несколько суток находился в частях, выдвинутых далеко на запад. Они держали оборону там, где река крутым изгибом уходила в степь, а затем возвращалась в черту Города. Здесь стало особенно сложно — ровное место, простор для немецких танков. В самом Городе противник с ходу грошил территорию завода «Сельмаш». Я приказал Губанову послать туда какой-нибудь батальон, а самому организовать вывод со всего участка артиллерии, пригодной техники, вывезти боеприпасы... В сорок четвертом году Губанов погиб: снаряд самоходки накрыл его машину на переправе... О том, что Город будет сдан, я как командующий должен был известить обком партии. Находился он в центральной части Города, километрах в 10—12. Я распорядился отрядить туда офицера с пакетом...»

...Резервная рота только числилась таковой. Вымотанная, выбитая на две трети, оглохшая от грохота в уличных боях, она как бы обретала слух, выхаркивала гарь, прозревала, ослепшая от чада, дыма, бессонья, — первые сутки обмывалась, ела горячее варево, спала в полуразрушенном здании бывшей МТС в пяти километрах от Города, выведенная в ближний тыл на двухдневный отдых из безумия трехнедельных губительных боев, когда кровь сливалась с цветом кирпичного крошева рухнувших домов, а цвет лиц и рук шел в масть с дымами пожаров, ввевшихся в небо.

В каморке с цементным полом, где прежде находилась инструментальная, старые деревянные стеллажи пахли промасленным железом, — наборами гаечных ключей, сверл, резцов. Здесь и устроились командир роты двадцатилетний лейтенант Силаков и его телефонист. На войне любой уголок покоя обживается быстро, неизвестно насколько судьба разрешит такую вольность,

как ежедневное умывание или свободный сон в одних подштанниках, когда солдат, прежде чем заснуть, успевает блаженно, по-домашнему пошевелить пальцами ног или почесать голой, жесткой, как наждак, пяткой другую ногу...

Жаркий август безраздельно соединил духотой день с ночью и, казалось, землю с небом.

Силаков, легко одолев полкотелка постной пшенной каши и запив ее кипятком, в котором телефонист запарил степную мяту, вышел за порог в одной нательной сорочке, вылезшей из бриджей, босой, и, ощущая теплоту колкой травы, смотрел в ночную степь, темную на востоке, словно там не существовало ни человеческого жилья, ни самих людей, ни жизни птиц, зверей, комашек, злаков. Все пусто-темно. Угадывалась только прохлада реки и горбатый мост через нее, видимый днем вдалеке.

Силаков задрал голову. Высоко на черное небо демаскированно-открыто приклеились блески звезд. Глубоко затягиваясь сигаркой, он, словно экономя, бережно выпускал дым через ноздри, наслаждаясь покоем, сытым урчанием в животе, ощущением его наполненности и тем, что впереди еще целых шесть-семь часов сна. За спиной, за прогретыми кирпичными стенами, застелив цементный пол сухой полынью, сопя, стеная, храпя, скрипя зубами, вздрагивая, что-то бормоча, спали его солдаты. И не могла юному Силакову прийти в голову страшная мысль, что пройдет пять, десять, двадцать и более лет, и кто-то из них, кто уцелеет, научится вроде невинно, но так, чтоб поняла, говорить своей секретарше: «Скажите ему, что меня нет, в длительном отъезде» и, услав ее, осторожно из-за шторы станет смотреть сквозь огромное окно, чтоб увидеть хотя бы спину просившегося на прием, согбенную спину человека в старом драповом пальто, а уже не в той короткой шинельке из зеленоватого английского сукна, на которой волок этого самого человека в сорок втором с перебитыми ногами через нейтралку к своим, петляя от воронки к воронке меж разрывами мин...

Родись такая мысль в голове Силакова, он бы ужаснулся: неужто они смогут тогда жить, существовать в одном мире, как сейчас в этом полуразрушенном здании МТС, где, поев из одного котелка, угостив друг друга махрой и огнем, поделившись патронами, наконец, заснули доверчиво рядом, готовые в любую минуту спасти лежащего обок?..

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! — в проеме возник телефонист. — Вас просят из штаба.

— Кто? — Силаков поплевал на пальцы и пригасил сигарку.

— Не знаю. Приказано вас.

— Чего попить есть? — Силаков не спешил, старался угадать, кто и зачем.

— В котелке чай холодный.

Он пил медленными глотками, особой жажды не испытывал, так — тянул время, уж очень не хотелось в эту спокойную ночь никаких новостей или перемен. Поднеся трубку к уху, нажал клапан и вяло сказал:

— Силаков слушает.

— Силаков! Где пропадаешь?.. Чего так долго?.. — голос командира полка был нетерпелив, нервен, вот-вот обложит.

— По нужде выходил, товарищ подполковник.

— Ел за троих, что ли, лопухов подтереться не хватило?.. Немедленно заводи колымагу, бери двух автоматчиков, самых надежных. Поедешь в главный штаб. Соображаешь? К такому, как я. Соображаешь? Как нужно выглядеть, учитьвай! Все! Действуй!..

— Да-а, тут не отбрешешься, — Силаков сунул трубку телефонисту, путаясь в догадках, что придумало ему начальство на сей раз...

Из главного штаба Оборонительного района, получив из рук начштаба пакет и выслушав объяснения, как найти обком партии, предостережения, наставления, какие-то слова об ответственности и о военном трибунале, Силаков отбыл на полуторке в сопровождении двух автоматчиков.

Над Городом в ночном небе качалось зарево, дым словно приподнимал и опускал его на своих буграх и столбах. Взлетали по-змеиному шипя немецкие ракеты и, разгораясь в зените белым светом, угасая на излете, медленно

опускались на крыши домов, на брусчатку улиц, цеплялись за ветки в скверах и садах. Всполошенно, как разбуженный ночью пес, злобно заходилась лаем пулемет, ему откликался другой, подстраивались автоматы. Потом опять все стихало, порою вскидывался одиночный винтовочный хлопок, и по небу, как спичка по коробку, чиркал быстрый светлячок трассирующей пули.

Ехали медленно, чтоб меньше шуметь, — задами, по тем кварталам, где одни дома уже стали остудившимися руинами, а другие разгорались в пожарище. Тут был, конечно, риск нарваться на немцев или схлопотать от своих — ночью, в неразберихе. Силаков, сидя в кабине, стриг глазами по сторонам, держа руку на автомате, лежавшем на коленях, и старался успеть увидеть то, что на войне всегда хорошо бы заметить первому. Шофер — дошлый молодой сержант, водил машины до войны в Монголии и в горах Таджикистана. Не стесняясь Силакова, старше которого был вдвое, он материл дорогу, загроможденную поваленными фонарными и телефонными столбами, обмотанными проводами, выброшенными взрывом тротуарными бордюрами, материл без повторов, круто переключая баранку то влево, то вправо. В каком-то месте все же влетели в воронку, сильно трянуло, что-то звякнуло под кузовом, и сразу из-под машины полетело такой силы чихающее тарыхтенье, словно с места рвануло несколько танков.

— Глушитель потеряли, — сказал шофер. — Что будем делать, лейтенант?

— Пока выключай, — приказал Силаков. Он понимал, дальше ехать так нельзя, немцы начнут лупить минами по нагло громкому и непонятному шуму и в конце концов накроют. — Пойдем пешком. Хоть и дольше, зато надежней.

— А машина?

— К чертовой матери!

— Жалко, лейтенант.

— Тогда гони в роту. Только дай нам отойти за дома.

Силаков и два автоматчика пустились бегом и, когда уже перебирались через завалы кирпича, досок, штукатурки, далеко позади слышали пулеметное стрекотание полуторки, а затем прерывавшие его воющие удары немецких мин...

Все, что оставалось в Городе живым, переселилось, зарылось, вгрызлось в подвалы, погреба, глубокие щели, вырытые руками войны, заползло под созданные ею каменные навесы, перекрытия, деревянные настилы, будто род человеческий вспомнил свое далекое пещерное существование и сейчас с атавистической надеждой вернулся к нему...

Обком партии расположился в коридорах и отсеках подвальной части Дворца пионеров, выстроенного перед самой войной. Отсюда руководили еще советскими районами, в которых оставалось немало очагов жизни населения, не успевшего или не захотевшего эвакуироваться.

Часовой вызвал какого-то немолодого мужчину в военной форме, но без петлиц. Тот повел его по длинному полутемному переходу. Гулко, звеняще отскакивали в тишине от цементного пола их шаги. У железной двери с трафаретной надписью «Распределительная» Силакову велено было подождать. Он огляделся. Тускло светились забранные в сетчатые колпаки две лампочки — в начале и в конце коридора, — видимо, где-то еще работала подстанция, — по потолку тянулись толстые трубы коммуникаций, торчали стояки, просочившись на стыке, с метрономной частотой капала вода. Наконец Силакова позвали. В маленькой комнате без окон, в которой прежде была какая-то подсобка, у обычного фанерного письменного стола стоял секретарь обкома — невысокий рыхлолицый тучный человек, разминавший в пухлых пальцах папиросу. Несмотря на духоту, на нем была суконная «сталинка», на ногах глянцево начищенные хромовые сапоги. Силакова удивил их детский размер и детская ладошка, протянутая ему. Но оказалась ладошка сильной. Доложившись, Силаков показал удостоверение и, расстегнув гимнастерку, вытащил из-за пазухи пакет, чуть помятый и влажный от пота. Пока хозяин кабинета читал, часто, как в тике, покусывая уголок губы, Силаков разглядел, что комната освещалась одной подпотолочной лампочкой, на столе почти не было бумаг, лежала пачка папирос «Наша марка», от трех армейских телефо-

нов тянулись провода, на стене висела покрашенная цветными пометками план-карта Города и на вбитом костыле — ППШ...

— А генерал Уфимцев обещал, что Город не сдадим, — сломав зажатую в пальцах папиросу, которую разминал все время пока читал, секретарь обкома выбросил ее в урну.

— Не сдадим! — кивнул уверенно Силаков.

— А что ж ты мне принес, лейтенант? — он протянул Силакову генеральское послание. — Читай, читай, — хмуро сказал, заметив нерешительность Силакова.

Прочитав, Силаков опешил. Осторожно, словно к бумажке был прищеплен невидимый взрыватель, положил ее на стол.

— Вот оно как... Можешь идти, лейтенант. Ответа не будет. Доложишь, что вручил.

Козырнув, Силаков вышел.

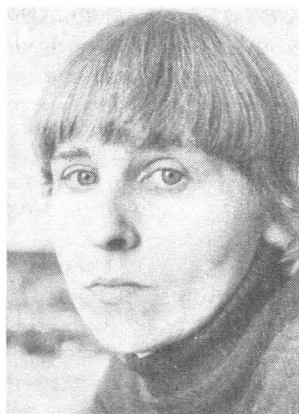
Добрался в роту уже на рассвете, огорошенный тем, что узнал, и интуитивно решивший пока об этом никому не болтать.

Едва скользнул первый солнечный луч, война, отдохнувшая за ночь, снова принялась за неоконченную в этом Городе работу. В разных концах пулеметная, автоматная и винтовочная стрельба переходила в сплошной, без пауз треск, его накрывал сперва шелестящий и свистящий вой мин и снарядов, тут же переходивший в слитный гул разрывов, с металлическим отзвоном ударяли воздух орудия танков и самоходок, вскидывались новые и новые пожарища, их дымы постепенно набирали пепельно-рыжую густоту, пламя снизу будто поджаривало эти рукотворные вонючие облака, и они спешили вверх, заволакивая просветлевшее, продышавшееся и отдохнувшее за ночь небо, а из их нутра на землю сыпались какие-то ошметки — то, что еще недавно было обутиными на ноги сапогами, плащ-палаткой, шинелью или подушками, матрасами, столами, пианино, рукомойниками, кухонной утварью...

Через две недели лейтенант Силаков, уже будучи где-то на марше, прочитал в армейской газете сводку Совинформбюро: «После ожесточенных уличных боев с превосходящими силами противника наши войска вынуждены были временно оставить Город...», а ниже — обращение обкома партии к населению с призывом создавать партизанские отряды...

«Так что, уважаемый Павел Григорьевич Бабанов, ваши эмоции одно, а факты — другое», — сказал невидимому собеседнику Петр Федорович и, воодушевленный воспоминаниями, сел сочинять ответ в Таганрог: «Уважаемый товарищ Бабанов! Не стану вступать с Вами в спор, распутывать какие-то Ваши претензии и обиды на кого-то. Прежде чем писать мне, мягко говоря, оскорбительное письмо, Вам следовало уточнить ф а к т ы. Слухи, домыслы, желаемое всегда пасуют перед ними. В подтверждение рекомендую прочитать книгу генерала Уфимцева «Огненная стена». Он тогда командовал там Оборонительным районом. Всякие обвинения, тем более во лжи, требуют доказательств. И выбитые на только что установленном памятнике строки о том, что Город все-таки был сдан немцам, содрать не так-то просто. Они взяты не с потолка, а из официального государственного документа — сводки Совинформбюро. С уважением П. Силаков».

(Окончание в следующем номере)



ТАЛАНТ ОСТАНАВЛИВАТЬ ВРЕМЯ



*Если ты уцелеешь в уродливой драке с собою,
если после проклятий на весь человеческий род,
если жалкий, как мокрая кошка, добытый судьбою,
с четверенек поднимешься — вот он я, Господи, вот!*

*ты не бросишься больше на волка — тебе он не равен,
и с философом наученейшим в спор не войдешь.
Эти игры с когтями, эти кукиши в драном кармане...
им цена — грош.*

*Но однажды ты лютик сорвешь и к его серединке
так прикиннешь губами, как дай тебе боже понять,
что ты так же любим, как тобою вот эта соринка,
значит, было сердешному, было за что пострадать.*



*Талант останавливать время
дается не всем.*

*Он падает с веточки
в незащищенное темечко.*

*И с тем, кому выпал он, — ох, что случается с тем!
Ох, что заводится там у святого под венчиком!*

*Вот он забыл уже, кто он, зачем, и куда,
и что надо множить на два, чтобы вышло четыре,
и сколько б ему ни твердили, что лучше — на два,
он взглядом покажет, что тут он темнее чифири.*

*Чем дальше, тем больше — вот видите, я не лгала —
совсем по-другому теперь расставляет он шашки
(Себя берегите! И если в порядке дела,
советую вам, постучите-ка об деревяшку).*

*И что ему скажешь, — он смотрит куда-то в траву,
там божья коровка*

*сто лет уже как восходила
к вершине зеленого стебля.*

*И тут бы кончаться всему,
но божья коровка с ним первая заговорила.*

И он ей ответил. Она расколола крыла, —
два черненьких перышка тоненьких высветив снизу,
она возлетала, парила, висела, плыла.
А он ей рассказывал что-то из собственной жизни.



Еще бы! — конечно, прекрасна земля,
но давайте —

о человеческом сердце,
натруженном до и после «нельзя»,
до крика последнего «некуда деться!»

В распутицу душ, в безнадежную тьму
поди-ка, попробуй! — а больно... а страшно...
И спросишь себя, изуверясь однажды —
а светлое, вечное, это — кому?!

Я видела тех, кто прошел через ад,
в глаза б не смотреть им, прости и помилуй!
И надо же, это они говорят —
«прекрасна земля», — говорят через силу.

ДОЖДЬ В ПОНЕДЕЛЬНИК

Очередной понедельник. Низкое небо и слякоть.
Ну, слякоть, пожалуй, уж слишком.

Пускай будет просто ноябрь.

И пусть будет дождь за окном, так, на случай на всякий,
и воображенья бегущий вдоль строчки корабль.

В такую погоду читать бы Гомера, к примеру,
да штопать носки или длинные письма писать,
болтать об искусстве и в непринужденной манере
какой-нибудь велосипед в соавторстве изобретать.

Итак, понедельник. Ноябрьского дождика нитки
там рвутся, где тонко, чтоб крайнюю выразить грусть.
Мой дождь затихает... Не думайте! — в новой попытке
наш скучный отличник доскажет свой текст наизусть.

Ему б дошуршать до утра, — неважно, что все тут продрогли,
в согласье с небесным законом до утра дожить,
в глухом упоенье лелеять куста иероглиф
и через дорогу тень тополя переводить.

Вы ждете завязки. Редактор мой изнемогает —
«Кирилл и Мефодий, и сдался же вам алфавит!»
И курит редактор, и курит, и длинно вздыхает,
и в небо глядит, а оно — беспросветный гранит.

Так вот... а о чем мы? — ах, да, все еще понедельник,
редактор хандрит, проклиная досужую букву,
и — повторяюсь — досада его беспредельна,
а дождик опять поднимает упавшую было хоругвь.

И все ж он коснется воображаемой лютни,
семь спаренных струн драгоценных приладив к окну:
— Ну что вы там — как вы там — чем вы там заняты в будни?
— Рассеянный гость, интересен ты мало кому!

— Ах, я догадался,— вы — люди! — ах, я догадался...
Я с неба упал, я бездельник... я так... — музыкант...
Как долго, как слепо у ваших домов я топтался
и в окна швырял мне доставшийся даром талант!

Любите же свой понедельник! И тот, кто догадлив,
тот понял уже — понедельника не переждать.
Но я буду петь вам! Я должен излиться до капли!
Я должен обратиться до сердца и доколдовать.

Мне сладостно с лютней, легко — с водосточною жестью,
с землей, с черепицей... Я отклик нашел в кирпиче!
Но вы, для кого я мечтал бы достичь совершенства,
ну чем вы там заняты-чем вы там заняты-чем!

НОЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Когда все слова переселятся в гнезда молчанья
и день отойдет, сползая по крышам вечерним,
в центре ночи появится с возгласом «я начинаю!»
циркач со звездой вместо сердца
и круг божьей искрой очертит.

И зеленоглазая кошка с коричневой шерстью
воссядет в четвертом ряду, как судья представления,
и спустится с неба чудак, и потребует факельных шествий,—
«вы скучно живете,— он скажет,—
я вас призываю к веселью.

Земляне, где факелы ваши? Огни карнавального счастья
я удостою зажечь...

— маэстро, поправьте оборки!...
лауреата...

— поправьте рукав у запястья!»...
...И грустный поэт чудаку улыбнется с галерки.



Мы или
Дерева ни о чем не спрашивали нас

Мы спорили
Дерева ни о чем не спрашивали нас

Поспорив разошлись
Дерева ни о чем не спрашивали нас



Зазеленело старое дерево.
Старое дерево хочет весны.
Старый мой друг, ничего не потеряно! —
старые радости, новые сны...

Мне написал один старый приятель —
семьдесят лет ему в этом году:
«Все, что скопил я, и все, что истратил,
мне пригодится в раю иль в аду.

Смерти, голубчик, не надо бояться,—
в страхе выходят глупцы из игры...
Играть это значит — в конце доиграться,
умные люди — меняют миры».



Прими мою любовь.
Прими — когда лесное существо выходит из орешника,
когда все ласточки слетаются к птичьему базару,
прими травинку «я люблю тебя», прими прикосновение,
когда туман еще ночными космами
бредет по лугу от реки и исчезает,
когда в зеленой глубине вдруг вскрикнет птица — закричит,
и разум помутится, и звуки птичьего беспомощного горла
стекут по соснам на траву, и все смешается.

Твоя душа — моя...

Но сколько лет

без устали
судьба следила каждое мгновенье нашей жизни,
а мы все думали — пройдет... пройдет...



Ужасно море. Третий день штормит.
Бушприт продрозгий выброшен на берег.
Оборванные тросы оживают в шипящей гальке.

С тяжелой медленностью набирая гнев,
коричневая мутная махина,
как бык в корриде, округляет спину,
чтоб сверху кинуться на волнорез, перевернуть киоск,
и маленьких людей загнать в кофейню.

В кофейне хорошо. Но не уходит боль.
А значит, лучше оставаться с морем,
и вдаль смотреть со сдержанностью мола,
и думать: до чего бесстрастен кипарис,
и брать уроки старости красивой.



Как потерялась одежда моя! а душа неприкрытая верит
в птичьи выкрики, рвущие воздух над мартовским сквером.

Сколько б раз ни крушились мои золотые надежды,
он ко мне пробивался, росток моей радости грешной.

Все сильнее и сильнее сквозняки из глухих подворотен,
но цветет мой каштан на углу Фундуклеевской — вот он!

Говорят, под счастливым созвездием надо родиться,
чтоб туда не ступить, где кишит, и гниет, и роится.

Что ж, спасибо судьбе!

И когда я умру, пусть она повторится
у того, кто ее, той счастливой судьбы, не боится.

1

2

3

42

У самовара, с зеркальцем, среди
Друзей и близких — тех, что окружают
И здесь, на снимках, фон изображают.
И этот — с белой шалью на груди
И в платье черном, длинном и нарядном,
Во времени почти что непроглядном
Для тех, кто нынче молоды весьма,
Стоит в преддверьи августа, что вскоре
Ей принесет немыслимое горе...
Но все Она предвидела сама.

4

Но все Она предвидела сама.
Она не зря была Кассандрой вещей,
Проникнув в мир прекрасный и зловещий
Волшебной силой дара и ума.
Вглядитесь в этот снимок, где свеча
Из тьмы лицо внезапно вырывает:
Подобный взгляд у тех лишь и бывает,
Кто рай и ад познал не сгоряча.
Фотограф Наппельбаум! До земли
Вам кланяюсь за то, что на века вы
Для всех Ее такую сберегли,
Вы с фотоаппаратом больше правы,
Чем те, что разберут Ее слова
И подсчитают, сколько долгих «А»...

5

И подсчитают, сколько долгих «А»
И что сей звук протяжный означает...
Но тот, кто в Ней давно души не чает,
Подсчетов не ведет. Ее слова
Не расчленяет — собирает в строчки,
А дальше — в строфы стройные, и вот
Ее стихи ему уже оплот
И с ним пребудут до последней точки.
Ему отныне очень повезло!
Душа не замыкается сурово,
Когда звучат названия: «Комарово»,
«Фонтанный Дом» и «Царское Село».
Ведь он из тех, что целый мир открыли
В стихах Ее, в их нежности и силе.

6

В стихах Ее, в их нежности и силе
Читаю повесть пережитых дней,
Ликую и печалюсь вместе с Ней,
И если бы сейчас меня спросили,
Зачем я и во сне, и наяву
Твержу Ее стихи, не уставая,
Вопрос подобный странным признавая,
Я б отвечала: — Ими я живу! —
Не думайте, что узок мой мирок.
О, как же он в стихах ее широк!
И не мирок, а мир — в красе и в силе:
— Любовь и смерть. — Россия. Человек. —

Но не найти мучительней вовек
Строки: «...Была со мной в моей могиле...».

7

Строка: «...Была со мной в моей могиле...»
Не Дантом ли написана она?
У всех, кто жил тогда — пред Ней вина,
Что от нападок злых не защитили:
А вы себе неужто же простили,
Что в дни беды Она была одна,
Изведав одиночество до дна?
Но, впрочем, есть легенда: приносили
Чужие люди карточки на хлеб
И безымянно в ящик опускали.
И это в Ленинграде, где познали,
Что дом без хлеба страшен, точно склеп.
Для них Ее поэзия жива,
Где до сих пор кровоточат слова.

8

Где до сих пор кровоточат слова,
Там никогда не ищешь рифмы броской,
Зато с такой строкою, как с березкой,
Светлеет даль, хоть брезжит день едва.
И чувство неподдельного родства
Рождается под этим чистым светом,
Соединив читателя с Поэтом,
Владеющим секретом волшебства.
И ты, доверясь истинному чуду,
Ее следы искать начнешь повсюду:
Зимой — у Царскосельского пруда,
Весной — где расплескала ветви ива,
А в летний день — у Финского залива.
И киевскою осенью. Всегда.

9

И киевскою осенью всегда,
Когда деревья желты и багряны,
И воздух прян, и падают каштаны, —
Ее представить можно без труда.
И кажется — Она идет сюда.
У черной челки разметались пряди,
В руке — стихи из «Киевской тетради»,
Которой не прочесть нам никогда.
О, как я этим знанием горда,
Что здесь Она смеялась и грустила
И, может быть, впервые ощутила,
Что с Музой неразлучна навсегда.
У окон дома, где Она гостила,
Кленовый лист, как яркая звезда.

10

Кленовый лист, как яркая звезда,
Меня повел нежданно за собою.
Так, видимо, и нашею судьбою
Случайности играют иногда.

Но я о Ней. Она была горда.
Судьбе своей поблажек не давала.
Пред пошлостью лица не открывала.
Друзей не предавала никогда.
Она была немыслимо добра.
Последнее отдать была готова.
Любила Достоевского, Толстого
И не была и в семьдесят стара...
Кленовый лист, как будто что-то вспомнив,
Чуть покружив, садится на плечо мне.

11

Чуть покружив, садится на плечо мне
От ветки оторвавшийся листок.
Настанет день, морозен и жесток,
Когда, как ласку, я его припомню.
А как Ее терзали холода!
Но в жизни у Нее была звезда,
Дарившая тепло в любую вьюгу.
Чью с детских лет Она признала власть.
Звезда та дивно Пушкиным звалась,
Ей протянув лучи свои, как другу.
Она его настолько поняла,
Как будто между ними не бывало
Ни времени, ни страшного провала,
Когда души утратам несть числа.

12

Когда души утратам несть числа,
Я так боюсь, что сердцем охладею,
Но нет: пока я памятью владею,
Со мной такого не случится зла.
Вы знаете, как строчки сберегла
Ее стихов, как будто на скрижалях,
Та женщина за проволокой ржавой,
Что без вины осуждена была?
Остались от Нее нам с той поры,
Окутанной отчаяньем и мглою,
Странички из березовой коры,
Где строчки процарапаны иглою.
Вот почему молчать я не смогла.
Я Ей венок бесхитростно сплела.

13

Я Ей венок бесхитростно сплела...
А в Таормино премию вручали,
И на десятках языков звучали
В стихах о Ней — почтение и хвала,
И снова «слава лебедем плыла...»
Но всех наград и почестей превыше
То, что заветный белый томик вышел
С рисунком Модильяни. Дожила!
...Писать о Ней! При тех, чьи имена
Доверием отметила Она,
Решиться, право, было нелегко мне.
Они напишут строки посильней!
Но я плела венок свой много дней,
Как знак того, что непрестанно помню.

Как знак того, что непрестанно помню,
 Повесила я дома на стене
 Ее портреты, дорогие мне.
 Взгляну на них — становится легко мне.
 Ее портреты тем и хороши,
 Что в них так много от Ее души
 И не бесстрашна мастеров работа,
 Среди них немало признанных давно:
 Есть Альтман и Осьмеркин, Тышлер... Но
 Мне с каждым днем одно милее фото,
 На нем Она белее, чем зима,
 Но каждому, кто взглянет, сразу ясно:
 Вот Человек, проживший не напрасно!
 О Ней напишут многие тома.

15

О Ней напишут многие тома
 Почтительные, строгие доценты,
 Все изучив, всему дадут оценки
 (Но все Она предвидела сама),
 И подсчитают, сколько долгих «А»
 В стихах Ее, в их нежности и силе,
 В строке: «...Была со мной в моей могиле...»,
 Где до сих пор кровоточат слова.
 И киевскою осенью, когда
 Кленовый лист, как яркая звезда,
 Чуть покружив, садится на плечо мне,
 Когда души утратам несть числа,
 Я Ей венок бесхитростно сплела,
 Как знак того, что непрестанно помню.

1981, октябрь.

ФУТБОЛ ЛОБАНОВСКОГО

Художественно-документальная повесть

СТАНОВЛЕНИЕ

В 1974 — 1975 годах киевское «Динамо» совершило стремительный взлет к вершинам международного значения, первым из советских футбольных клубов завоевав Кубок кубков и Суперкубок. Но вот парадокс. В Европе не было, пожалуй, другой такой команды, на долю которой — дома, у себя же на Родине! — выпало бы столько сокрушительной критики, сколько ее досталось в эти же годы динамовской команде и ее тренерам. Киевляне одерживали одну прекрасную победу за другой, брали командные европейские кубки и личные призы (в том числе и «Золотой мяч», который был присужден Олегу Блохину!), а у целого ряда наших известных тренеров (и не менее известных журналистов) игра киевлян то и дело, мягко говоря, вызывала различного рода сомнения в ее подлинно высоком международном классе.

К примеру, 9 июня 1974 года киевское «Динамо», опережая ближайшего конкурента на два очка, возглавляло турнирную таблицу чемпионата страны, а статья одного заслуженного тренера РСФСР, мастера спорта (опубликованная в еженедельнике «Футбол—Хоккей») разносила лидера в пух и прах.

«Непонятно выглядит сейчас игра киевского «Динамо», — писал он. — Команда демонстрирует отнюдь не прогрессивный футбол... более, чем десятилетней давности... нет ни простых, ни сложных отработанных вариантов наступления... расчет только на случай...»

Подобные нападки, похоже, сопровождают Лобановского... всю его тренерскую жизнь. Но они, пожалуй, в конечном счете меньше ему мешают, скорее помогают. На мой взгляд, именно такого рода «критика» выработала у Лобановского стойкий иммунитет к поверхностным, порой чисто дилетантским, несправедливым оценкам и отзывам о своей тренерской деятельности. Но почему это происходило (и происходит)? Вот мнение Лобановского:

— Во многом мы сами виноваты, — говорил он мне. — Вероятно, не следовало нам чрезмерно говорить о научном подходе к футболу. Ведь к этому совершенно не готовы ни большинство специалистов, журналистов, а тем более — болельщиков. Не были готовы и те, кто нас, в основном, критиковал. Хорошо еще, что в семьдесят четвертом и семьдесят пятом годах были победы. А потом вдруг — раз и провал. И тут началось! Какая еще наука?! Раньше побеждали без науки, а тут выдумали какую-то научную программу подготовки... Больше того, нашим людям пытались внушить, что мы на них хотим сделать диссертации. Какая диссертация?! Я для себя твердо решил: прежде, чем не закончу с футболом — как тренер! — никакой диссертации защищать не буду, хотя она у меня уже давно готова.

— Что же, по-вашему, о научном подходе, о совершенно новой методике тренировок, которую вы с Базилевичем применяли на практике, вообще не следовало говорить? — спросил я Лобановского.

— Прежде всего нужно делать! — воскликнул он. — Если ты убежден в своей позиции, следует твердо на ней стоять. Можно об этом говорить, но исподволь, осторожно и правильно все преподносить. Объяснять людям суть процесса более мягко,

разумно, без особой, что ли, рекламы. Что получилось тогда? Мы настолько в лоб подавали свои методы работы и так рьяно говорили о научном подходе, что, вероятно, со стороны это выглядело саморекламой. Мы перегнули. Потом за все пришлось расплачиваться...

То, что происходило в киевском «Динамо» в 1974 — 1975 годах, на мой взгляд, было одним из самых серьезных экспериментов в отечественном (а быть может, и в мировом) футболе. Известно, что не всякий эксперимент может быть увенчан абсолютной победой. Случаются успехи и просчеты. Но, как известно, даже отрицательный результат — это результат! У тренеров киевского «Динамо» были свои успехи, случались просчеты, но и то и другое вошло в ценнейшую копилку наших представлений и знаний сложной науки о большом спорте.

Предвижу, что своим утверждением могу навлечь на себя немало упреков иных журналистов и некоторых специалистов. Но скажу все же, что постоянные нападки на Лобановского-тренера его критиков, их по-своему сформулированные «доводы» и «выводы» все эти годы меня не всегда убеждали. И обвиняя Лобановского в том, что он исповедует «отнюдь не прогрессивный футбол», его критики наносили вред не столько Лобановскому лично, сколько нашему отечественному футболу. Уж кто был консерватором в футболе, так это прежде всего иные его тренеры (даже с очень высокими званиями) и некоторые журналисты, пишущие о футболе (об одном из них метко когда-то сказал В. А. Маслов: «Большой журналист! Здорово пишет. Жаль только, что он полный профан в футболе»). Лобановский еще в 1974 году вместе с Базилевичем бросили вызов таким товарищам, открыто призывая их перестроиться, повысить свой профессиональный уровень. К слову, говорили они и о необходимости перестройки в самой организации футбольного дела. Впрочем, об этом разговор у нас впереди. А сейчас, уважаемый читатель, мысленно вернемся вместе с вами в то время, когда Лобановскому предложили возглавить киевскую команду «Динамо». Было это в конце сезона 1973 года...

— Динамовцы, которых в то время тренировал Александр Александрович Севидов, в том сезоне играли в финале Кубка СССР, а в чемпионате страны завоевали серебряные награды, — вспоминает Лобановский. — И я подумал: «Куда же я иду?! Ясно куда: здесь нужны только победы...» Вполне понятные вещи. Но я видел людей, знал потенциал команды. Чувствовал, чего можно добиться. Но при условии, если люди поднимутся на совершенно другой уровень. Ощущал, что они могут это сделать. И шел в «Динамо» сознательно, в общем-то зная на что иду...

Лобановский сразу же предложил разделить все обязанности по руководству киевским «Динамо» Олегу Базилевичу, которого спортивные руководители республики тоже пригласили в Киев, но на должность «начальника команды», или, как ее еще тогда именовали — «тренера по воспитательной работе». Базилевич дал согласие. Для многих такой его шаг оставался загадкой. Старший тренер донецкого «Шахтера», за один сезон вернувший команду в высшую лигу и пробившийся с ней сразу в шестерку сильнейших клубов страны, вдруг идет работать, пусть и в сильнейший коллектив, но все же в подчинение к другому старшему тренеру. Помню, узнав об этом, я спросил Базилевича:

— Олег, будешь работать под началом Лобановского?

— Не под началом, а вместе, — спокойно ответил Базилевич.

— Прости, но так не бывает, — возразил я. — Во всяком случае до сих пор пока не было! Я не представляю себе экипажа, в котором два первых пилота.

— Теперь будет так. И считай, что мы ставим тренерский эксперимент...

Да, это был действительно интереснейший — единственный в своем роде для большого футбола! — эксперимент «двоевластия» в футбольной команде мастеров. Эксперимент, который, к великому сожалению, не был поддержан в самом его начале. А в последующем не был как следует изучен, кем-либо подробно описан, не был и завершен (два с небольшим года для подобного эксперимента — это не срок). Но дерзкая попытка Базилевича и Лобановского достойна того, чтобы о ней рассказать подробней. Их опыт не должен кануть в Лету. Он может еще сослужить добрую службу если не сегодняшним молодым тренерам, то потомкам Базилевича и Лобановского, которые — уверен в этом! — будут им еще благодарны за многое, что эти специалисты сделали для отечественного футбола. Хотя работать им было, ох, как непросто. Ведь различные их деяния встречались прямо-таки в штыки. Так, например, было и с «двоевластием» в команде.

...20 марта 1974 года (по просьбе Базилевича и Лобановского) в газете «Вечерний Киев» я опубликовал статью под заголовком: «Динамо» (Киев): тренерский эксперимент». Начинаясь эта публикация так:

«Номинально, по штатному расписанию, начальник киевской команды «Динамо» — О. П. Базилевич. Фактически же начальника команды здесь нет. Вернее, эти функции здесь выполняют два человека — О. П. Базилевич и В. В. Лобановский. Выполняют их в тесном контакте, на равных. Одновременно оба они взяли на себя и более важные обязанности — старшего тренера команды.

Как это случилось? Предыстория этого эксперимента такова...

А через несколько дней мне рассказали, как на совещании редакторов газет и журналов в ЦК Компартии Украины один ответственный сотрудник аппарата, куда он пришел работать из спортивных руководителей (к счастью — для ЦК! — он уже давно там не работает: к несчастью — для спорта! — его вновь возвратили на круги своя), потрясая «Вечеркой», негодовал:

— Это, товарищи, безобразие! Лобановский и Базилевич самовольно меняют штатное расписание! Они что, готовятся делить лавры будущих побед? Так их еще нет! А может быть, они готовят себе тылы для отступления и хотят разделить меру ответственности за будущее поражение поровну? Не позволим! Мы Лобановскому прямо сказали: «Вы — старший тренер! И спрос по полной мере будет только с вас!» С тренерами мы разобрались, а вы впредь смотрите, что печатаете...

Я понимал, что в общем-то такая оценка публикации для меня чревата последствиями. Прозвучала в определенной степени приговором: дескать, думайте, кого печатаете. Решив выяснить достоверность молвы, которая дошла до меня, отправился на прием к «сотруднику аппарата». И вдруг услышал от него:

— С такими выдумками в прессе выступать нельзя!

— Это не выдумка, а факт, — возразил я — Ведь всю информацию я получил у самих тренеров киевского «Динамо». Как же я могу не верить им?

— С ними мы уже разобрались. Я вызывал к себе Лобановского, беседовал с ним по этой статье. Он со мной согласился и сказал, что «...вероятно, Аркадьев что-то не так понял»...

«Вот так сюрприз!» — подумал я. Ведь фактически Лобановский, как принято говорить в таких случаях, меня просто-напросто «подставил». Но поражало другое: как мог я его «не понять», если «меморандум» о тренерском тандеме, после того, как он был написан, прежде, чем нести в редакцию, я «завизировал» у самих тренеров (да и написал его с их слов, по их же просьбе). Но выяснять отношения с тренерами не стал. Правда, для себя решил, что не буду больше заниматься пропагандой их эксперимента (тем более, если они в кабинетах высокого начальства сами от него отрешиваются). Но решение свое вскоре изменил.

Недели через две после публикации в «Вечерке», сотрудники спортивного отдела «Комсомольской правды» заказали мне репортаж о подготовке к сезону киевского «Динамо», высказав при этом пожелание — «представить новое руководство команды». Как тут быть с их экспериментом? Решил с ними поговорить, что называется, в открытую. Ожидал даже возможную ссору с тренерами. Но ее не произошло. Базилевич сразу же меня «обезоружил»:

— Неужели ты думаешь, — сказал он, — что в зависимости от мнения того или иного начальника меняются наш подход к делу, наши принципы?! В своей статье ты все абсолютно правильно написал, и мы благодарны тебе за это.

— А как быть с заявлением Лобановского, который там — «наверху»! — сказал, что «Аркадьев чего-то не понял»? — спросил я Базилевича (в присутствии Лобановского).

— Ты просто Васильевича за это должен простить: он тебя, как ты считаешь, «подставил» во имя дела, — мягко улыбаясь, сказал Базилевич. — А что он мог подделать? Уровень некоторых наших руководителей тебе ведь хорошо известен: такому хоть тресни, ничего не докажешь. Да и надо ли? Главное, что несмотря ни на какие его «указания», у нас все остается в силе...

— Сейчас я готовлю репортаж для «Комсомолки». Значит, могу повторить о вашем тандеме? — уточнил я. — Все действительно так, как изложено в «Вечерке»?

— Дело твое, мы не возражаем, если повторишь, — сказал Базилевич. — У нас все по-прежнему, ничего не меняется.

— Ну, раз уж вы действительно работаете на равных, то фамилии ваши —

вопреки указаниям начальника! — буду и в дальнейшем писать только в порядке алфавита: Базилевич, Лобановский. А не наоборот, как пишут сейчас почти все.

— Правильно,— одобрительно кивнул головой Лобановский. — Мы не возвращаем.

Спустя несколько дней после этого разговора с тренерами в «Комсомольской правде» был напечатан мой репортаж. Правда, ради интересов дела, которым занимались молодые тренеры, мы втроем решили даром гусей не дразнить и на рожон не лезть! Но «тандем» все же обнародовать и на всесоюзном уровне. Думаю, в первом же абзаце наша цель была достигнута:

«К нынешнему сезону киевское «Динамо» готовят мастера спорта, заслуженные тренеры УССР О. П. Базилевич и В. В. Лобановский (первый занимает пост начальника команды, второй — старшего тренера), — писал я в «Комсомолке». — Работают они в тесном контакте, оба на равных участвуют в учебно-тренировочном процессе, сообща решают вопросы быта игроков, их учебы».

Чем же руководствовались молодые специалисты, дерзнувшие вопреки сложившимся устоям футбольных клубов взять на себя роль «первых пилотов»? Вспомним их футбольное прошлое.

Любителям футбола было известно, что Базилевич и Лобановский, играя в киевском «Динамо», «Черноморце», «Шахтере», составляли дружный игровой тандем, что они также большие друзья и в жизни. Оба придерживаются сходных взглядов на многие проблемы теории и практики футбольной игры. Но важно другое: возглавив в конце 60-х годов разные команды, они по-прежнему поддерживали активные творческие связи. Когда их команды встречались на футбольном поле — борьба шла бескомпромиссная, но на занятиях с игроками «Днепра» и «Шахтера» молодые специалисты часто применяли и проверяли установки, выработанные сообща.

А в 1972 — 1973 годах Базилевич и Лобановский все чаще задумывались о возможности работать в одной команде. Желание попробовать силы тренерским тандемом вытекало из их анализа особенностей деятельности старшего тренера в командах мастеров высшей лиги.

Исходным пунктом тут было становящееся все более характерным для большого футбола 70-х годов участие в наступательных и оборонительных действиях максимального числа игроков, ускорение темпов борьбы, рождающее в свою очередь и новые объемы, и новые, более интенсивные формы тренировки. Значительно возрастают, следовательно, и объем работы, занятость старших тренеров — на площадке, в учебных классах, да и вне команды.

Когда создавалась нынешняя штатная структура футбольных команд мастеров, она предусматривала коллегиальное руководство старшего тренера и начальника команды. Но постепенно сложилась традиция, по которой главой команды стал старший тренер. Начальник, как правило, выступал в роли заместителя старшего тренера по неспортивным вопросам. Однако как бы он ни старался, все равно без помощи старшего тренера ему не обойтись. Многие важные вопросы приходится решать в городских и республиканских организациях, руководители которых хотят говорить с фактическим главой команды.

Поэтому ряд старших тренеров оставляли за собой и пост начальника команды. К примеру, в киевском «Динамо», начиная с 1960 года, все тренеры, под руководством которых команда добивалась крупных успехов — В. Д. Соловьев, В. А. Маслов, А. А. Севидов, — были и старшими тренерами, и начальниками команды. Такое совмещение предлагали и Лобановскому. Но он поступил иначе. Почему он это сделал? Никогда об этом его не спрашивал. Но, думаю, скорее всего потому, что Лобановский отлично знал, с кем именно он собирался работать тандемом и был уверен в своем единомышленнике. К тому моменту, что они сошлись в киевском «Динамо», этих людей уже объединяло одно общее серьезное качество — профессионализм в подходе к своему делу.

Базилевич, выросший в интеллигентной киевской семье, отличный ученик, гордость школы, с юных лет не мыслил своей жизни без спорта. Как и Лобановский, он был одним из любимых игроков киевского «Динамо» начала 60-х годов. Игру Базилевича отличала высокая скорость и острое тактическое чутье в выборе позиций. К тому же он великолепно играл головой и был одним из самых смелых форвардов в советском футболе.

Закончив Киевский институт физкультуры, он стал спортивным педагогом.

Книги, круг интересных друзей дома (жена Базилевича — Татьяна — в то время актриса театра имени А. Украинки) формировали взгляды молодого специалиста. Уже будучи футбольным тренером, он поступил в аспирантуру и весной 1975 года закончил работу над диссертацией. Аналитический ум, интерес ко всему новому в спортивной науке, дружба с тренерами по другим видам спорта и учеными-исследователями — все это помогало Базилевичу стать специалистом высокого класса. Его тренерский почерк отразило выступление донецкого «Шахтера» в 1973 году. Звание заслуженного тренера УССР стало официальным признанием заслуг молодого специалиста.

Объединившись в киевском «Динамо», Базилевич и Лобановский прекрасно понимали, что заняться реализацией своих совместных идей лучше всего не где-нибудь, а в столице, где их совместные усилия можно «привязать» к потенциалу республики, что само по себе сулит решение более серьезных задач, чем в команде любого другого города.

С первых же дней новых старших тренеров в киевском «Динамо» рука об руку с ними работал еще один человек. Правда, его фамилия в штатном расписании киевского «Динамо» не значилась. Консультантом наставников «Динамо» стал кандидат педагогических наук, в то время доцент Киевского института физкультуры А. М. Зеленцов, в прошлом одиннадцатикратный рекордсмен Советского Союза среди юниоров по прыжкам с шестом.

Первым с ним познакомился Базилевич. Было это еще в 1969 году, когда Олег пришел работать в Киевский институт физкультуры, на кафедру футбола. Свою первую встречу и разговор о футболе будущего оба помнят в мельчайших деталях. Он состоялся сразу же после лекции, которую прочел в Киеве московский профессор Д. Д. Донской, известный специалист в области биомеханики движений.

Большое влияние на формирование взглядов и выбор направления научного поиска Анатолия Зеленцова оказал его научный руководитель В. В. Петровский, тренер двукратного чемпиона Олимпийских игр В. Борзова. Хотя спортивная биография нашего прославленного спринтера достаточно широко известна, вспомним все же о том, как проходило его становление. Тем более, что это, думаю, имеет прямое отношение к данной главе. Вот лишь небольшой фрагмент моей беседы на кафедре легкой атлетики Киевского института физкультуры. Происходила она, когда до Олимпийских игр в Мюнхене, вознесших Борзова на вершину олимпийской славы, оставалось три года.

— С чего мы начали? — Петровский задумывается, поправляет очки. — Фундамент у Валерия уже был, так что для последующего строительства нам нужен был проект. Начались поиски наилучшей модели спринтерского бега. Изучались кинограммы бега лучших спринтеров мира — прошлых лет и нынешних. Велась работа угла отталкивания при беге, наклона туловища при стартовом разгоне, тщательно выверялся еще целый ряд мелких деталей, что в совокупности открывало путь к скорости. Для того, чтобы Валерий Борзов пробежал сто метров за десять секунд, целый коллектив вел поиск, похожий на работу, скажем, конструкторов автомобиля или самолета. Расчеты велись в лаборатории нашей кафедры легкой атлетики, в лабораториях других городов страны, в частности в Ленинграде и Омске... Ну, а когда модель бегуна «Борзов-70» была математически рассчитана, научно обоснована, мы стали наши цифровые выкладки претворять в жизнь, — продолжает Валентин Васильевич. — Это была работа тонкая и филигранная, похожая на тренаж балерины, ищущей единственно верное и законченное движение.

— Валентин Васильевич, вы считаете спорт наукой? — спросил я Петровского.

— Да! Времена свехинтуиции тренера прошли. Спорт считаю точной наукой, а тренера — разносторонним ученым. Он должен быть математиком, биологом, врачом, педагогом, психологом, философом, наконец.

Теперь вернемся к футболу. Зерна, брошенные Петровским, попали на благодатную почву. Зеленцова, как и некоторых других молодых ученых, давно занимала идея того, что науку можно поставить на службу не только в индивидуальных видах спорта (таких, как легкая атлетика, плавание, штанга), но и применить ее для тренировки спортсменов в командных видах, например, в футболе. Так вот, после лекции Донского Зеленцов поделился своими мыслями с Базилевичем и... сразу же был засыпан градом вопросов.

— Скажем, если одна команда тренируется три часа в день, а вторая — только полтора, конечно же, первая подготовится к игре лучше, — утверждал Базилевич.

— Нет, три часа — это уже плохо, — возражал Зеленцов.

— Но почему? — не успокаивался Базилевич. — Ведь всегда считалось, что время, затраченное на тренировку, определяет величину нагрузки.

— Это не совсем так, — спокойно парировал Зеленцов. — Можно провести всю тренировку, скажем, за час двадцать минут, а нагрузку организм получит гораздо большую, чем за трехчасовую тренировку. Дело ведь в начинке тренировочной модели...

Тогда Зеленцов и рассказал Базилевичу об идее метода научного познания футбольного дела, связанного с программированием учебно-тренировочного процесса и самой игры. С той поры и началось их творческое сотрудничество. А позже Зеленцов стал научным руководителем аспиранта Базилевича.

— Почему я о своей идее сказал именно Базилевичу? — повторяет мой вопрос Зеленцов. — Олег уже тогда понимал, что просто тренироваться, просто играть в футбол нельзя. Нельзя чисто визуально, на глазок, оценивать состояние игроков и строить тренировочный процесс, опираясь лишь на тренерскую интуицию.

В 1971 году Базилевич возглавил команду кадиевского «Шахтера», и в том же сезоне была осуществлена экспериментальная часть идеи тренировочных режимов, рационального использования работы и отдыха. Результаты порадовали: из второй десятки команд украинской зоны второй лиги класса «А» за один сезон кадиевский «Шахтер» шагнул на четвертое место!

В это время Базилевич уже познакомил с Зеленцовым Лобановского, который в работе с футболистами «Днепра» также начал использовать опробованные на практике новые модели тренировочных режимов.

— Базилевич и Лобановский — это тренеры совершенно новой формации, — рассказывал мне Зеленцов. — Работать с ними интересно и в то же время сложно. В них нет и тени упрямства, присущего порой тренерам, добившимся определенных результатов. Ради эксперимента и общей идеи они готовы поступиться собственным уже сложившимся мнением.

...Базилевич был в свое время, к примеру, убежден, что матч для футболиста — это утомительнейшая нагрузка. Зеленцов с этим не соглашался. Решили поставить эксперимент. На весеннем сборе в Ялте во время одной из контрольных игр донецкого «Шахтера», который тренировал в то время Базилевич, в раздевалке поставили тензоплощадку. Выходя на матч, каждый из игроков команды проходил через тензоплощадку и совершал прыжок с места.

Первый тайм «Шахтер» проиграл — 0:1.

На отдых футболисты шли также через тензоплощадку. К удивлению Базилевича, у каждого игрока результат прыжка был выше, чем до начала матча. «Значит, играли не в полную силу», — сделал вывод старший тренер.

— Считайте, что вы только лишь провели разминку, — говорил он в перерыве своим подопечным. — Теперь покажите игру, больше атакуйте!

Почти весь второй тайм «Шахтер» провел на половине поля соперников и забил три мяча.

— Молодцы, ребята, играли с полной отдачей, — сказал Базилевич перед финальным свистком Зеленцову. — Сейчас и показатели снизятся.

— Нет, они должны быть выше первоначальных, — возразил Анатолий Михайлович.

В раздевалку после матча футболисты снова шли через тензоплощадку. И действительно, каждый улучшил свои показатели. Если в среднем по команде высота прыжка до игры была 50 сантиметров, то после матча уже — 56!

— Все правильно, — говорил Зеленцов, — ведь команда на тренировках исподволь готовила себя к такому режиму, в котором будут проходить матчи. Организм футболистов адаптировался к условиям игры, а тактика команды базировалась на биологических законах...

— Анатолий Михайлович, вы сказали, что с Базилевичем и Лобановским работать интересно и сложно, — попытался я. — В чем же сложность?

— Видимо, вы со мной согласитесь, что оба они одаренные люди, — ответил Зеленцов.

— Согласен.

— А работа со всякими одаренными людьми требует огромного напряжения, — продолжал он. — Мы встречались почти ежедневно, и к каждой нашей встрече я тщательно готовился. Ведь любая тренировочная модель прежде, чем быть принятой,

детальнейшим образом обсуждалась и порой вызывала у них десятки вопросов. На каждое «почему?» нужно было дать точный ответ.

Так вдвоем они разрабатывали различные модели тренировок, искали и находили верные пропорции работы и отдыха игроков. В киевском «Динамо» впервые за все годы истории команды появился серьезный сплав науки с практикой. Но это была не прихоть тренеров или их научного консультанта. Творческий союз не был ими надуман — это было веление времени. Ведь когда сами Базилевич и Лобановский были действующими игроками, футбол развивался, можно сказать, автономно, как какой-то культовый вид спорта. А в это время теория спортивной тренировки уже обогатила тренеров по различным видам спорта какими-то общими законами, разработанными серьезными учеными (достижения Валерия Борзова и его тренера — ученого Валентина Васильевича Петровского яркий тому пример).

Но вот в конце 60-х и начале 70-х годов новая методика спортивной тренировки исподволь начала проникать и в футбол. Интересный тому пример (еще до киевского «Динамо») — тесное сотрудничество в то время старшего тренера ворошиловградской «Зари» Г. С. Зонина (ныне кандидата педагогических наук) с ученым М. А. Годиком (в настоящее время доктором наук, профессором, одним из самых серьезных наших ученых в области теории спортивной тренировки). Заметим, что именно в то время «Заря» выиграла звание чемпиона Советского Союза! Правда, уверен, найдутся скептики (особенно в футбольных кругах!), которые мне возразят. И, быть может, приведут «аргументы», почерпнутые в «Комсомольской правде», опубликовавшей 2 сентября 1986 года беседу начальника управления футбола Госкомспорта СССР В. И. Колоскова с читателями во время «прямой линии». Напомню фрагмент о «Заре»:

«— ...Вячеслав Иванович, — говорит читатель из Ростова-на-Дону, — в одном из интервью вы говорили о том, что «Заря» ворошиловградская стала чемпионом страны в результате неблагоприятных махинаций, сделок, и поэтому же случилось ее падение. Что вы конкретно имели в виду?

— Ну прежде всего «работу» с судьями, — отвечает Колосков. — Ведь вы же знаете, что пострадали уже в административном порядке многие должностные лица, включая и партийных руководителей. Там обнаружили неучтенные большие суммы денег, которые шли на «обслуживание», будем так говорить, судейского корпуса. Это касалось не только футбольной команды, это касалось и волейбольной команды тоже».

Как видите, просто и категорично. Но так ведь можно перечеркнуть все, что угодно. Можно чего доброго выплеснуть вместе с водой и ребенка. Когда я обменялся своими впечатлениями по поводу такого «резюме» с одним из авторитетных в нашем футболе специалистов, то услышал от него:

— Такое заявление не делает чести Колоскову. Можно «покупать» судей, можно делать все, что угодно, но если команда не будет двигаться, не будет забивать голы, то никакие судьи в ворота мячи сами не забросят! Такого в футболе еще не было! Согласен, судья может повлиять на результат, но не может обеспечить уровень подготовки команды. Как же можно сбрасывать со счета все полезное, что было в чемпионский для «Зари» год проделано тренером Германом Зониным и его научным консультантом Марком Годиком?! Перечеркивать их научно-практический вклад в чемпионскую победу команды — значит наносить вред нашему футболу...

Ничего не скажешь, верное замечание.

Когда киевлян возглавил тандем тренеров и команда под их руководством добилась европейского признания, мне не раз доводилось слышать примерно такое рассуждение: «Но позвольте, Лобановский и Базилевич пришли в хорошо укомплектованную, сильную, опытную команду». Говорили и так: «Базилевич и Лобановский делают то же самое, что делал «дед», но они под это подвели теорию. «Дедом» в футбольных кругах называли Виктора Александровича Маслова. О взаимоотношениях В. А. Маслова с Базилевичем и Лобановским ходили легенды. Впрочем, не только «ходили», но и попадали в прессу. Сам однажды читал о том, как Лобановский «...был тогда смертельно обижен на Маслова, его отчислившего». Так ли это было на самом деле? Как в действительности относились молодые тренеры киевского «Динамо» к корифею советского футбола? Но прежде чем ответить на этот вопрос, вспомним его самого.

...В. А. Маслов стал тренером киевлян в 1964 году, когда в Киеве его мало кто знал. Он не спешил давать широковещательные интервью, излагать свое тренерское кредо. Да и вообще не очень-то охотно шел на контакты с журналистами, считая, что большинство из них своей, как он говорил, «писаниной» только наносят вред футболу.

«Дед» был резок в выражениях, часто пересыпая свои фразы непечатными словечками. Иному — особенно назойливому журналисту! — мог резко бросить прямо в лицо: «Иди, иди! Заработай свою пятерку на ком-нибудь другом...» Одним словом, новый начальник и старший тренер динамовцев производил впечатление довольно хмурого, замкнутого, строгого и грубого человека. Таким было первое впечатление (а оно, как это часто бывает, оказалось обманчивым).

Стартовый матч нового чемпионата (уже под руководством В. А. Маслова) киевские динамовцы проиграли московскому «Торпедо». После игры, сложив руки за спиной и наклонив голову, новый тренер широкими шагами мерил взад и вперед раздевалку, бросая обидные слова своей команде. Он словно бы издевался над футболистами:

— Кому вы проиграли?! — бушевал Маслов. — Да в этой команде осталось сегодня полтора настоящих игрока, а вы дуете ей на своем поле. Позор!

От журналистов, которые жаждали в этот день взять интервью, получить у Маслова хоть какое-то объяснение поражению, Виктор Александрович вообще отмахнулся. Только пробурчал себе под нос: «Нет, в таком состоянии — это не команда... Надо делать новую». И началось...

Первым новый тренер посадил на скамейку запасных Лобановского — одного из самых популярных в те годы советского футболиста. И это, разумеется, была сенсация! Динамовскую атаку не представляли себе без возвышавшегося на левом краю рыжевато-годиннадцатого номера, который изобрел свой знаменитый «сухой лист» — когда мячи, поданные им с углового удара, влетали прямо в ворота! Как о подлинном мастере футбола писали о Лобановском даже южноамериканцы. А новый тренер киевлян словно бы и не замечал, что у него в коллективе есть такой популярный и очень необходимый команде игрок. И действия свои даже не собирался никому объяснять. Только и бросил одному из журналистов:

— Да поймите вы, наконец: мне на краю нужен настоящий боец!

Следующим (за Лобановским) надолго стал запасным киевского «Динамо» не менее популярный и любимый киевлянами игрок — Олег Базилевич, что и дало повод одному из обозревателей написать: «Киевская атака сразу потеряла и свой интеллект, и свое стремительное правое крыло».

Представляете, какие бури бушевали над головой Маслова? Но он стоял на своем, как скала. А когда ему сообщали о какой-нибудь новой публикации и претензиях в местной прессе (сам он ее, как правило, никогда не читал), «дед» только отмахивался.

«...Ходил по Лондону задумчивый, молчаливый человек. На чемпионате к делам нашей сборной он не имел отношения, наблюдал только игру команд одной из подгрупп. В то же время он имеет все права называться лучшим тренером советского футбола шестидесятых годов...» Это строки о В. А. Маслове. Почему статья начиналась именно с его упоминания? А. И. Филатов это объяснил: «Надо ценить мастерство своих тренеров, уважать их мысли, прислушиваться к ним!»

В. А. Маслов — один из немногих наших специалистов, кто не стал восторгаться «новинками», увиденными на чемпионате мира в Англии:

— Я решительно против того жесткого футбола, который видел на английских полях, — говорил он после своего возвращения из Лондона. — Я за артистизм, за зрелищный футбол. Меня радует, что молодые динамовские игроки стоят на таких же позициях. Только игра, а не работа, только свободная импровизация и творчество, а не механическое исполнение задумов тренера. Самое неприятное впечатление оставила у меня команда ФРГ — команда-робот. Атлетизм сам по себе ничего не стоит, если он — не компонент тонкого и ажурного, как вуаль, комбинационного стиля.

За годы работы В. А. Маслова в Киеве у меня с ним сложились добрые отношения. Скорее всего потому, что он знал моего отца — известного довоенного боксера и послевоенного тренера по боксу. Однажды, поздним вечером в Гаграх, куда я приехал делать большое интервью с Масловым и репортаж о подготовке динамовцев к сезону (к тому времени они уже были трижды кряду чемпионы страны!) «дед», пребывая в добром расположении духа, мягко сказал мне: «Ты все-таки свой — спортивная косточка... А был бы чистым журналистом, я бы тебя в команду не пустил...»

Между прочим, на первых порах В. А. Маслов не воспринимал тренерский тандем Базилевича и Лобановского всерьез. Весной 1974-го откровенно мне в этом признался:

— Не верю я что-то в это начинание. У команды должен быть один хозяин...

Правда, осенью того же семьдесят четвертого «дед» изменил свое мнение: Победа динамовцев на первых двух этапах розыгрыша Кубка кубков не оставила и тени сомнения в истинной силе команды: в четырех встречах с сильными клубами Болгарии и ФРГ — четыре победы «Динамо»! Но дело скорее всего не в счете, а в игре, которую демонстрировали динамовцы в ответственных матчах европейского турнира. Эта игра и дала повод бывшему тренеру киевлян Виктору Александровичу Маслову, специально прилетевшему в Киев, чтобы посмотреть матч с «Эйнтрахтом», еще до начала встречи сказать журналистам:

— Девять лет назад, находясь в хорошей форме, мы дебютировали в европейских турнирах. Все уже тогда ждали от киевлян весомых побед. Но это особые турниры, чтобы побеждать в них, надо созреть. Мне думается, что теперь к киевлянам пришла пора зрелости. Я уверен, что сегодня все будет хорошо, хотя «Эйнтрахт» — твердый орешек...

А что, интересно, Базилевич и Лобановский, уже став тренерами киевлян, думали о Маслове, который отчислил их из киевского «Динамо», как «несовременных игроков»? С каждым из них на этот счет у нас были довольно откровенные беседы. И ни от одного я ни разу не услышал в адрес легендарного тренера ни одного недоброго слова. Откровенно признаюсь: услышал то, что хотелось услышать. И это радовало, ибо мысли о корнях наших — и не только в спорте! — давно не давали покоя. Базилевич и Лобановский, не позируя, не говоря об этом вслух, наверняка понимали — и это чувствовалось! — что жить без сотрудничества с мудростью корифеев — значит строить свою теорию и практику работы с командой на песке.

...В одном из очерков когда-то прочел, что у Лобановского-футболиста была «серьезная ссора с Масловым». Когда хотел уточнить, в чем же именно она состояла, он рассмеялся:

— Чушь! Никакой ссоры не было. Это все равно, что спросить меня сегодня: «Какая у вас была ссора с Буряком?» Буряк большой игрок, но сегодня он уже не может делать то, что нужно команде. Другое дело, я, как игрок, мог не понять действия Маслова. Так вы уж меня простите, не мог я, Лобановский-игрок, подняться до уровня Маслова-тренера. Совершенно иной уровень понимания, другой уровень мышления! Но, став тренером, к Виктору Александровичу Маслову я всегда относился однозначно: с глубочайшим уважением. Маслов умница — и говорил я об этом всюду!

Это действительно так и было. Лобановский-тренер оправдывал действия Виктора Александровича Маслова, отчислившего Лобановского-футболиста из команды.

— Маслов имел полное право на такой шаг, — говорил Лобановский. — Он ведь уже замыслил для киевского «Динамо» игру, для которой нужны были не такие футболисты, как Базилевич и Лобановский, а игроки совершенно другого типа. Вот нас иногда упрекают за то, что мы стремимся моделировать игру, вносим в нее порядок, который будто бы ее сушит, лишает элементов свободной импровизации. Но разве Виктор Александрович Маслов, одареннейший человек, пусть и не знавший научных основ, не пришел своим умом к идее моделирования в том же киевском «Динамо»? Это требования современного футбола, а не чьи-то умствования!

...Между прочим, говорил об этом же В. Лобановский и на торжественном вечере в переполненном Дворце культуры «Украина», когда динамовцам в канун нового, 1982 года в очередной раз вручали золотые медали чемпионов страны.

— Виктор Александрович Маслов был одним из первых в футболе, кто попытался создать свой образ игры, — говорил Лобановский. — Что это такое? Это совокупность различных основополагающих принципов, в том числе и тактических, способствующих достижению надежности игры на каждом из этапов эволюции футбола. Если создан образ игры, необходимо под него подобрать исполнителей, и те, кто не может выполнять основные требования, вынуждены покидать коллектив. В то время не только футболисты, но и многие специалисты и спортивные журналисты не видели — или не понимали! — что футбол развивается в сторону усиления атлетических качеств, оптимальной универсализации игроков. Маслова критиковали. И только победа трижды подряд — в 1966—1968 годах — на чемпионате страны, победа на международной арене над обладателем Кубка европейских чемпионов «Селтиком» помогли многим изменить свои взгляды на футбол. Так логика мышления воспитала игроков новой формации...

Однажды спросил Базилевича, что называется, в лоб:

— Олег, много ли вы с Лобановским взяли для своей методики тренировок у Виктора Александровича Маслова?

Вопрос его не смутил.

— Во все времена существовала какая-то накопительная информация и трансформация ее на следующее поколение, — спокойно сказал Базилевич. — «Дед», безусловно, сыграл большую роль в нашей жизни, повлиял на наши мысли. Но помимо Маслова мы располагали и другой информацией. И все-таки, уже благодаря именно этой информации, мы выделили Виктора Александровича как лидера в то время. Он опередил своих коллег на много лет вперед. Располагая сравнительно широкой информацией, у нас появилась возможность оценивать его вклад, и мы выяснили, что Маслов сделал больше всех остальных...

— Причем все это чисто эмпирически, каким-то особым чутьем, своей тренерской сметкой! — вставил я.

— Безусловно, — согласился Базилевич. — И все-таки, у него тоже была своя информация, Маслов, к примеру, ездил в Англию на чемпионат мира и мог что-то с чем-то сравнивать. Жаль, но его поколению дали подобную возможность слишком поздно. Получи они ее раньше, и сделали бы гораздо больше. Увы, мы долгое время были изолированы от большого футбола. Самое большее, на что нас хватало, — товарищеские встречи с европейскими клубами, которые, как правило, отдавали эти матчи нам на откуп.

...На X чемпионат мира, проходивший в ФРГ, наша сборная не попала. И все же некоторые его матчи мы смотрели по телевизору. Чемпионат-74 никого не оставил равнодушным. После него все вдруг заговорили о «тотальном» футболе. Но так уже бывало и раньше. Вспомните, как в свое время после победы сборной Бразилии бывшие руководители нашего футбола чуть ли не в приказном порядке обязывали советских тренеров переводить свои команды на «бразильскую систему», как после победы на «Уэмбли» сборной Англии наши тренеры уже получали новые циркуляры с рекомендациями брать на вооружение «английский» стиль и учить своих подопечных «атлетическому» футболу.

Вместе с группой наших ведущих тренеров Базилевич побывал на играх десятого чемпионата мира. После возвращения из Мюнхена у него был интересный разговор с коллегами по работе в киевском «Динамо».

— Мы на верном пути, — спокойно говорил Базилевич. — Организация финалистов, конечно, высочайшая, функциональный уровень игроков — впечатляет, но главное, что мы шагаем в ногу с сильнейшими, а если хотите, даже чуть-чуть стоим на более высоком уровне, чем они.

— А что, Петрович, если, скажем, завтра нам играть с «Баварией»? Как думаешь, выиграем? — спросил Базилевича один из динамовских коллег.

Базилевич задумался. Потом твердо сказал:

— В отношении завтра — не уверен, а вот послезавтра, убежден, можем схлестнуться на равных.

Да, тренеры киевского «Динамо» после X чемпионата мира не впали в тот лирически-приподнятый тон, который был характерен для отчетов большинства наших журналистов и специалистов, комментировавших итоги мирового футбольного форума. Базилевич и Лобановский шли собственным путем — впереди многих своих отечественных и зарубежных коллег. И оставались при этом... основной мишенью для критики у себя в стране.

И союз старших тренеров-единомышленников в киевском «Динамо» — их интереснейший эксперимент работы тандемом! — так и не был принят в спортивных кругах. Хотя все обязанности по руководству клубом Базилевич и Лобановский делили поровну, телекомментаторы, журналисты, составители программ и футбольных справочников упорно продолжали называть Лобановского старшим тренером, а Базилевича — начальником команды. Если же Базилевич тоже упоминался в печати как старший тренер, то с обязательной оговоркой — «по воспитательной работе».

Лишь после победы «Динамо» в Кубке обладателей кубков равноправный союз тренеров был принят официально (но, опять-таки, не в спортивных инстанциях). В Указе Президиума Верховного Совета Украинской ССР от 30 мая 1975 года, опубликованном в республиканской прессе, значилось:

«За заслуги в развитии отечественного футбола, завоевание Кубка обладателей кубков европейских стран наградить: Почетной грамотой Президиума Верховного

Совета Украинской ССР Базилевича Олега Петровича — старшего тренера, Лобановского Валерия Васильевича — старшего тренера...»

Как видите, все на равных (и — по алфавиту)...

Базилевич и Лобановский — личности в футболе неординарные. Как же им работалось вдвоем? Как «уживались» эти двое, бросившие вызов различного рода инструкциям и «штатным расписаниям», дерзнувшие взять на себя роль «первых пилотов»? Право, об этом стоит поговорить подробно, чтобы хотя бы таким образом «зафиксировать» уникальный эксперимент, имевший место в отечественном футболе.

Повод для подобного рода «исследования» мне представился в канун нового, 1976 года, когда читатели «Недели» называли заслуженных тренеров СССР, старших тренеров киевского «Динамо» и сборной команды страны Олега Базилевича и Валерия Лобановского лучшими тренерами года. Замечу, что за год до этого на традиционный пьедестал почета еженедельника попал лишь один Лобановский. И он тогда откровенно переживал, что пресса обошла своим вниманием его коллегу по работе.

Журналисты «Недели» обратились ко мне с просьбой побеседовать с Базилевичем и Лобановским, пригласив их «в гости» на 13-ю страницу еженедельника. Тренеры-единомышленники с интересом восприняли это предложение, но сразу попросили не раскрывать, кто на какой вопрос отвечал. «Ответ каждого из нас — ответ двоих», — сказали они. Их просьба была выполнена.

— Олег Петрович, Валерий Васильевич! — произнес я с пафосом, включив диктофон и начиная нашу беседу. — В результате читательского референдума вы оба оказались на пьедестале почета «Недели» — на тех его ступенях, куда поднимают лучших тренеров года.

— Ух, какая приятная новость!.. Да, видимо, на все нужно время. Вот и читателям «Недели», среди которых, вероятно, немало любителей футбола, да и некоторым представителям спортивной общественности потребовалось два года, чтобы разобраться в сути нашего творческого содружества и «поставить» нас обоих на этот самый пьедестал...

— На чем же основано ваше тренерское содружество?

— На взаимном уважении друг к другу, уважении тех принципов, которых придерживается каждый из нас. На понимании того, что есть возможность дополнять друг друга по целому ряду аспектов работы.

— И что же, все у вас так гладко? Никогда не спорите?

— Не было бы споров, мы работали бы в разных командах. Если нам порознь приходит одно и то же решение, это нас настораживает: слишком легко и просто. И мы начинаем искать. Более того, в спорах, как нам кажется, — смысл совместной работы. Мы едины, пока спорим!

— Говорят, на одной из первых тренировок в киевском «Динамо» Лобановский сказал: «И голос тут не на кого повысить: куда ни помотришь, одни звезды!» Наверное, обилие футбольных знаменитостей в одной команде создает трудности?

— Нет. Чем выше класс футболистов, тем быстрее они находят общий язык и тем приятнее и интереснее работать с ними тренерам — старая истина. Да, когда мы пришли в киевское «Динамо», команда была укомплектована очень авторитетными футболистами. Но за два года нашей совместной с ними работы их авторитет вырос еще больше... От души желаем всем тренерам обилия талантливых спортсменов в командах.

— И все же в начале вашей работы в клубе, когда вы применили новую методику, не все футболисты ее приняли.

— Так и должно быть! Мы не ожидали иного. Команде предлагалась принципиально новая программа. Ее и не могли сразу принять «на ура». Почему игроки должны были нам верить, с какой стати? Вера должна была прийти с результатами.

— Известно, что у вас в команде не принято кого-либо выделять. И оценки за игру выставляете всем игрокам одни и те же. Кажется, на этот счет один из вас сказал: «Это оценка нашей общей с ними работы». Однако «Золотой мяч» присужден персонально Блохину.

— «Золотой мяч» присуждаем не мы. Поэтому можем лишь присоединиться к тем, кто поздравляет Олега. Индивидуальные призы иногда затрудняют ситуацию в команде. Но в данном случае мы спокойны. Блохин, услышав столь радостное для него известие, воскликнул: «Спасибо команде!» Он из спортивной семьи, до мозга

костей спортсменов-коллективист. И потому награждение «Золотым мячом», или «золотыми бутсами», или «золотыми гетрами» не делает из него индивидуалиста.

— После чемпионата мира 1974 года понятие «тотальный футбол» не сходило со страниц спортивной печати. И то, что показывает киевское «Динамо», тоже часто называют «тотальным футболом»...

— А мы полагаем, что это слово — «тотальный» надо выбросить из советского спортивного лексикона. Во всяком случае, у нас в команде слово «тотальный» никому не нравится. Мы — за коллективный современный футбол.

К слову сказать, Базилевич после возвращения с X чемпионата мира по футболу в одной из своих статей писал:

«В наших командах также уже не первый год ведутся поиски новых, усовершенствованных форм футбольной игры. Не хочется быть нескромным, но я должен сказать, что и в киевском клубе осуществляются определенные эксперименты. Мы просто не видели раньше так близко голландцев, не имели возможности убедиться, что в принципе мыслим, так сказать, параллельно. Но я не считаю это нашей личной заслугой. Такова воля самого футбола, который непременно требует более глубокого подхода к нему, модернизации, движения вперед. Разумеется, нам следует еще много поработать для того, чтобы достичь лучших международных образцов, но мы желаем этого, и чемпионат мира помог нам отбросить ненужное, укрепиться в прогрессивных выводах».

— На одной из пресс-конференций вы сказали, что не советуете своим футболистам читать то, что пишет о них пресса. Так?

— Хороший вопрос, нам хотелось об этом поговорить. Ответим на него охотно и как можно подробнее. Так вот, когда мы еще были школьниками и читали в газете отчет о футбольном матче, то последний чаще всего занимал несколько строк, сообщавших результат и кто забил голы, интересной или нет была игра в целом. А ведь именно в ту пору сборная СССР выиграла матч с тогдашним чемпионом мира — сборной ФРГ. Сейчас в некоторых местных газетах отчет о матче команд второй лиги занимает чуть ли не треть страницы. Лучше это или хуже? Однозначного ответа на этот вопрос мы дать не можем. Но зато твердо знаем, что футболисты команд мастеров нуждаются не только в профессионально поставленном тренерстве, но и в таком же ответственном разборе их выступлений. И если уж футболу уделяется на страницах периодических изданий столько места, то разговор должен идти на профессиональном уровне, кстати, очень интересном для читателя. Недоказанные похвалы и порицания действий того или иного спортсмена или всей команды, незаслуженно обижают, огорчают, нервнируют футболистов, дезориентируют молодых игроков, не выработавших еще критического отношения к такого рода отчетам и обзорениям. Мы вовсе не хотим заявить, будто все отчеты и обзорения легковесны, несерьезны и непрофессиональны. Нет! Но игрокам, которым, кстати сказать, в первую очередь адресуются эти отчеты, нелегко найти в огромном числе репортажей те, что написаны с пониманием причин неуспеха и действительно обнаруживают истоки ошибок. Вот почему мы советуем игрокам вовсе не читать отчетов на следующий день после игры и сами не читаем.

В нашем клубе специально подбираются все толковые материалы — продолжали тренеры, — и затем в спокойной обстановке мы знакомимся с отчетами специалистов и тех журналистов, чьи оценки, на наш взгляд, представляют интерес, вне зависимости от того, согласны мы с ними или нет. Порой используем репортажи во время установок на матч: читаем ребятам «негативный» отчет и предлагаем доказать на деле, что они не такие, как о них написали... Думается, что если футболистов так строго критикуют за ошибки и неудачи, то и отбор журналистов, пишущих о футболе, должен быть строже! Пусть за свои суждения и оценки отвечают так же, как отвечают за свои ошибки спортсмены и тренеры... Однако, подчеркиваем, что говоря так, мы имеем в виду лишь некоторых журналистов, только тех, о которых в своей книге «Не сотвори себе кумира» сказал еще известный спортивный журналист Аркадий Галинский: тех, которые «...врываються в футбольные раздевалки с той же легкостью, что и в редакционные буфеты».

— Раз уж мы с вами заговорили о прессе, то есть еще один, на мой взгляд, любопытный вопрос. В журналистских кругах — и не безосновательно! — часто говорят, что вы всячески избегаете интервью и тому подобное. Но поскольку сегодня вам уже от этого не уйти, не могли бы вы объяснить, в чем тут дело?

— С удовольствием объясним, ибо это для нас вопрос вопросов. Жизнь спортивных тренеров такова, что хотят они того или нет, а говорить с журналистами все-таки

приходится, хотя интервью для наставников очень опасны. Почему? Хвастаться, прогнозировать — гадать на кофейной гуще. Умалчивать о чем-то, интересующем людей — обижать читателей. Отвечать на вопросы ничего не значащими банальными фразами — «отбывать номер» — тоже нетактично. А профессия спортивного тренера, в частности — в большом футболе, такова, что она связана с определенными «производственными» тайнами. Особенно, когда команда готовится к международным турнирам. Они-то — самые интересные в жизни футбольной команды, и о них как раз хотелось бы больше всего рассказывать. Но ведь эти «тайны» пока в лабораторном процессе и еще не известно, что получится. А когда что-то получается, об этом уже все и так знают. Вот в чем сложность тренерской профессии, если рассматривать отношения с прессой.

— Известно, что вы строите свою работу на научной основе, сотрудничаете с учеными, например, кандидатом наук Анатолием Зеленцовым. Значит ли это, что научный подход к делу вытеснил то, что принято называть тренерской интуицией?

— Да, мы полагаемся на науку. Даже делаем попытку создать в команде лабораторию. Речь идет, допустим, о современных формах тестирования, о цитохимическом анализе... Но тренерам сплошь и рядом приходится принимать оперативные решения. Как же тут быть без интуиции, сметки, опыта? Их наука не вытеснит никогда.

— А можно ли, на ваш взгляд, моделировать игру?

— Пока мы делаем первые шаги в этом направлении: пытаемся моделировать отдельные моменты игры. Но, полагаем, в дальнейшем каждая игра станет совершенно новой моделью — с учетом действий соперника, который перед этим будет тщательно изучен.

— Вас интересует будущее игроков вашей команды?

— Еще бы! Очень хочется, чтобы время нашего творческого сотрудничества с сегодняшними подопечными не пропало зря. Футбол развивается, ему нужны квалифицированные специалисты. Хотелось бы, чтобы талантливые спортсмены, с которыми мы работаем, внесли достойный вклад в развитие советского футбола. И нам приятно, что многие в киевском «Динамо» проявляют живой творческий интерес ко всему, чем мы сейчас занимаемся.

— Ожидаете трудности в своей работе в новом сезоне?

— Естественно, предвидим их. Сезон будет намного сложнее предыдущего: перед нашей командой стоят большие задачи. Сделаем все от нас зависящее и уверены, что футболисты тоже приложат максимум усилий, чтобы достойно представлять советский футбол на международной арене.

А сезон оказался даже более сложным, чем они предполагали. И трудности на их долю выпали такие, что, пожалуй, не могли бы им присниться даже в кошмарном сне. Просто потому, что таких драматических по своей сути событий, какие уготовила Базилевичу и Лобановскому их тренерская судьба в сезоне-76, до этого не происходило ни с одним их коллегой в стране (а может быть, и в мире?).

В АВГУСТЕ СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОГО

...Сразу же оговорюсь. Рассказывая о событиях, происходивших в киевском «Динамо» и в сборной страны, которыми руководили Базилевич и Лобановский, я решительно отклоняю от себя роль судьи. Не оправдываю и не обвиняю тренеров-единомышленников (задним умом мы все бываем крепки). Моя единственная цель — рассказать правду о некоторых событиях сезона-76.

В том году все было подчинено одной главной цели — победе футболистов сборной СССР на XXI Олимпийских играх. Ради этого даже отменили традиционный двухкруговой чемпионат Советского Союза. Вместо него (как 40 лет назад) было проведено два однокруговых первенства страны — весеннее и осеннее. Причем в весеннем чемпионате киевскому «Динамо» было разрешено участвовать дублирующим составом.

Вновь, как и в предыдущие два сезона, подготовка команды осуществлялась по заранее разработанной программе подготовки, которая и должна была принести положительные результаты. Футболистам было трудно (нагрузки по сравнению с предыдущим сезоном возросли еще больше), но они не роптали и все, предложенное тренерами, воспринимали, как говорится, на веру. Да и как можно было в чем-то сомневаться, если за спиной были громкие успехи команды в славных сезонах 1974—

1975 годов?! Разве мог кто-нибудь предположить, что после такого взлета наступит резкий спад и те же самые игроки — в футболках киевского «Динамо» и сборной СССР! — начнут терпеть одно фиаско за другим?!

Так или иначе, а готовясь к Олимпийским играм в Монреале, команда Базилевича и Лобановского в официальных матчах проиграла все, что только можно было проиграть. Сначала киевским «Динамо» был проигран четвертьфинал Кубка европейских чемпионов французскому «Сент-Этьенну». Затем, уступив в четвертьфинале сборной Чехословакии, выбыла из чемпионата Европы сборная СССР. Потом киевские динамовцы «пожертвовали» Кубком Советского Союза (киевляне проиграли «Днепру»). Как воспринимали эти поражения сами футболисты? Не сказал бы, что они особенно переживали. Дело в том, что ко всем этим играм команда не вела специальной подготовки. Со слов тренеров игроки знали, что, к примеру, «через матчи» с «Сент-Этьенном» и другие игры команда готовится к главным событиям года — к Олимпийским играм! Чего же ради станут игроки убиваться по поводу поражений от французских, сборной Чехословакии или днепропетровского «Днепра», если матчи с этими командами не возводились в степень «серьезных», а лишь служили «подспорьем»?!

На XXI Олимпиаде, как известно, сборная СССР завоевала бронзовые медали. Но дело не в наградах, а в слабой игре, которую продемонстрировала в Монреале наша команда. Игроки ее (по их собственному признанию) не чувствовали той легкости в движениях и уверенности в своих силах, которые им — согласно программе подготовки! — сулили тренеры. А ведь переезжая из одной страны в другую, столько времени было затрачено на подготовку, такие тяжелейшие тренировки выдержаны (они не прекращались и в ходе олимпийского турнира), что диву даешься, как это все люди могли выдержать. Скорее всего они и не выдержали.

— Нам явно не хватало скорости и легкости, ловкости и координированности, — рассказывал мне после возвращения из Монреаля Олег Блохин. — По себе чувствовал, что буквально измотан тренировками, которые продолжались и в Монреале. Думал о чем угодно, только не о футболе. Порой выходил на поле и не знал, что мне делать с мячом! Попадал ко мне мяч, а я старался поскорее от него избавиться. Главное, отсутствовала жажда борьбы.

...И специалисты и болельщики в один голос признали выступление сборной в сезоне 1976 года неудачным. В прессе появились острые критические статьи.

«Всю основную подготовку к ответственным соревнованиям сборная проводила в ходе, назовем вещи своими именами, гастрольных поездок. Она готовилась к борьбе, фактически избегая борьбы, — писал обозреватель еженедельника «Футбол — Хоккей» Валерий Винокуров. — Длительный отрыв от дома к тому же плохо повлиял на моральное состояние игроков, на их психику...»

«Команда, заделавшись туристской группой, мало-помалу стала сдавать, — писал Лев Филатов в своей книге «Ожидание футбола», вышедшей через год после Монреальской Олимпиады. — Ее молодые способные тренеры О. Базилевич и В. Лобановский во главу угла поставили определенный метод тренировочных занятий и поверили в него, как в волшебный эликсир, с помощью которого можно команду безошибочно готовить к тому дню, когда она должна дать решительный бой и победить. Верили они и в систему стимулирования, считая ее верной гарантией хорошей игры и успехов».

«Клуб, которому надлежало вести за собой вперед, оказался изъят из футбола, — писал Лев Яшин. — Его как бы вынули из футбольной почвы, пересадили в оранжерею, укрыли стеклянным колпаком, предоставив всем прочим лишь любоваться им издали... Восторжествовал неумолимый закон футбола, закон спорта, обязательный для всех — и для ведущих, и для ведомых: чтобы играть, надо играть. Играть с сильнейшими как можно больше, бороться с ними, и пусть ценой неудач, извлекать уроки, тянуться, накапливать опыт и мастерство».

В различные редакции газет и журналов шли потоки, как это уже не раз бывало, огорченных, раздраженных и гневных писем болельщиков. В прессе высказывались журналисты и специалисты, справедливо считавшие, что только искренняя нелицеприятная критика способна принести пользу футболу. Претензий к сборной и ее тренерам было высказано больше, чем достаточно.

А что же сами старшие тренеры? Как они реагировали на критические стрелы, выпущенные по ним? Я в те дни с интересом прочитывал все, что писали о футболе газеты и журналы, но так, кажется, нигде и не встретил хотя бы какой-то самокритики тренеров.

Напротив, они считали себя правыми. К примеру, в статье мастера спорта Алексея Леонтьева «Разговор начистоту», прочел о Лобановском, что «...тренер сборной уверял своих коллег, будто работа по подготовке команды к столь сложному сезону, к столь сложным соревнованиям, проводилась правильно, что все, намеченное планом подготовки, выполнялось неукоснительно. И в доказательство своей правоты он приво-
дил данные комплексной научной бригады, руководимой М. Годиком».

Что же на самом деле произошло? Почему — меньше чем за год! — команда, блиставшая дома и за рубежом, потеряла свою игру? Поговорим с вами, уважаемый читатель, откровенно, ибо откровенность, как утверждает Евгений Евтушенко, есть признак силы. Но не только ради того, чтобы ощутить нашу с вами силу, нужен этот разговор. Нам очень нужны знания и понимания прошлого (даже в жизни отечественного футбола, который, как известно, — явление социальное). Без этого нельзя двигаться вперед. Особенно в большом спорте, где ничто не учит сильных спортсменов и сильные команды так хорошо, как поражения. Ведь они дают возможность взглянуть на себя как бы заново, убедиться в том, что творческий потенциал не исчерпан. Если такой анализ сделан, если есть умение отделить зерна от плевел, значит, есть и надежда, что, приступив с удвоенной энергией к решению новых задач, ты обязательно добьешься и более высоких целей.

В ту пору о программе подготовки, разработанной тренерами киевского «Динамо» и сборной страны, говорилось и писалось много. Но, вероятно, прежде чем открывать огонь критики, журналистам и специалистам футбола следовало точно наметить цель, в которую направлять свои критические стрелы. Думаю, в данном случае выбор цели был критиками Базилевича и Лобановского сделан абсолютно неверно, ибо программирование учебно-тренировочного процесса, над которым скрупулезно работали в киевском «Динамо» и сборной страны тренеры-единомышленники, само по себе не могло служить мишенью для критики. Почему?

Дело в том, что именно скрупулезным выполнением научно обоснованной программы объяснялись, например, громкие успехи 1974—1975 годов, когда команда играла легко, быстро, технично и красиво. Игроки пребывали в отличной спортивной форме. Шли они к ней ценой огромных нагрузок. Но примечательно, на мой взгляд, другое. В первом из двух счастливых для динамовцев сезонов не все футболисты одинаково справлялись с нагрузками. Тренеры, видя это, советовались с врачами, вносили коррективы в программу подготовки.

Еще один характерный штрих. В первые год-два работы в киевском «Динамо» (где, как вы помните, собрались одни «звезды») Базилевич и Лобановский не раз терпеливо объясняли своим подопечным правильность избранной ими методики. Правда, не сказал бы, чтобы сами они стопроцентно были уверены в успехе. И в этом ничего страшного нет. Людям творческого труда свойственно сомневаться. Но, вероятно, и в своих сомнениях тренерам следовало оставаться искренними до конца.

Однажды весной семьдесят четвертого года на сборах в Гантиади динамовский форвард Владимир Онищенко подошел к Лобановскому.

— Мы здесь проделали огромный объем работы, — сказал футболист. — Ребята буквально валяются с ног. Конечно, все это должно вылиться в какой-то результат. Но для успеха нужно еще и спортивное счастье. Бывают ведь спортсмены-неудачники, может быть и команда-неудачница... Жаль, Васильич, если мы окажемся такой командой. Может ведь такое случиться?

— Да, Володя, может быть и такое, — ответил Лобановский.

Но полтора года спустя, когда команда приехала на свою базу с Кубком кубков и по этому случаю был устроен праздничный обед с шампанским (это ведь было задолго до появления в стране известного Указа), Лобановский, вспомнив об этом разговоре с Онищенко, поднялся из-за стола и торжественно произнес:

— Вот Володя Онищенко задал мне в семьдесят четвертом году вопрос... Сейчас я на него отвечаю...

Тренер напомнил команде, в чем именно состоял вопрос Онищенко, а в качестве своего ответа — поднял красавец Кубок. Но... не сказал игрокам тех правдивых слов, которыми он действительно ответил тогда, в Гантиади. Лобановский против... Лобановского?

Успехи клуба укрепляли тренеров в верности избранного ими пути, и они все меньше прислушивались к мнению самих футболистов и даже врачей. «В нашем деле надо всерьез ориентироваться на состояние спортсменов, — рассказывал мне один из

заслуженных мастеров спорта, игрок киевского «Динамо» и сборной страны тех лет. — Тренерам, видимо, с большей гибкостью следует относиться к своей программе. Но Аобановский в семьдесят шестом году, бывало, не считался даже с мнением врача, и если между ним и доктором возникал какой-то спор, то он обычно длился недолго и тренер одерживал победу».

К слову сказать, в своей книге «Бесконечный матч», анализируя события 1976 года, Лобановский, стараясь быть объективным, пишет:

«Наверное, следовало бы нам в самом начале подготовки поговорить серьезно всем вместе с позиций творческого содружества единомышленников. Это способствовало бы главному — достижению взаимопонимания. Возможно, мы отступили бы от каких-то положений своей программы (но не от главного, разумеется, не от программы), возможно, подобная мера перенастроила бы игроков, спустила бы их с небес на землю. Но разговор не состоялся.

Разрушался контакт. Росла взаимная раздражительность».

И все-таки, думаю, до полной объективности в упомянутой книге Лобановскому еще далеко. Вот и в приведенном выше фрагменте, полагая, что откровенный разговор с футболистами «перенастроил бы игроков», «спустил бы их с небес на землю», автор почему-то не задумался: а может быть, в том сезоне и самих тренеров-единомышленников в чем-то занесло на те же «небеса»?

...С первых же дней сборов в Болгарии, в условиях среднегорья, куда команда выехала в ранге сборной СССР, нагрузки для всех футболистов были такими, что могли, как сказал Евгений Рудаков, «только присниться в кошмарном сне, но лучше бы они и не снились». Сразу пошла работа «на пульсе 180—200 ударов в минуту!» Правда, большинство киевлян со всем этим справились: все-таки за плечами были и закалка и опыт двух предыдущих сезонов. А вот тем, кто был приглашен в сборную из других клубов, пришлось гораздо труднее. Опытные футболисты Ловчев и Саух, к примеру, в процессе тренировок в буквальном смысле слова, бывало, теряли сознание...

Одним словом, если в 1974 году тренеры в своей работе учитывали состояние футболистов и в чем-то могли отступить от своих требований, то уже в 1976 году они строго-настрого придерживались своей программы. Быть может, в этом и был один из главных просчетов? Уверовав в собственную непогрешимость, они перестали сомневаться в своей методике и слепо доверились ей.

Как тут не привести в пример мнение знаменитого наставника «Аякса» Ковача:

— В мире многие тренеры думают, — сказал он, — что если им установить метод тренировки, то они будут совершать с ним чудеса. Они не правы в том, что создают из метода догму, тогда как существуют тысячи методов, и самое главное заключается в том, чтобы выбрать из них те, которые больше всего подходят для того или иного игрока.

Вероятно, в этом тоже заключается особый талант тренера. Это как больной, который входит в аптеку. Если у него нет медицинского предписания, он не знает, какие медикаменты из сотен других ему надо выбрать. Но, похоже, что тренеры киевского «Динамо» и сборной страны в семьдесят шестом не были особенно избирательными. И знаменитый советский вратарь, заслуженный мастер спорта Евгений Рудаков с грустью вспоминает о том периоде:

— Индивидуального подхода к нам не было. Я в свои тридцать четыре года должен был столько же раз таскать штангу, сколько Олег Блохин в свои двадцать четыре. Неужели Яшин в моем возрасте тоже истязал себя штангой или дважды за тренировку выполнял тест Купера — из кожи вон лез, чтобы пробежать не меньше трех километров? Что же тут удивительного, что после таких сборов выглядели мы, как загнанные лошади...

Молодые наставники, на мой взгляд, оказались и не слишком мудрыми педагогами. В семьдесят шестом году с первых же дней работы команды тренеры порой вели себя так, что между ними и отдельными игроками уже в горах Болгарии наметились первые трещины, превратившиеся со временем в глубокие пропасти...

Один из замечательных и самых техничных за всю историю советского футбола игроков, заслуженный мастер спорта Владимир Мунтян приехал на этот сбор с рекомендацией врачей о щадящем режиме тренировок: его беспокоила незазализенная травма колена. Но в общем «строю» ему скидок не делали. С первых тренировок Мунтян выполнял те же огромные порции работы, что и все остальные игроки сборной. После таких занятий колено распухало. Володя решил поговорить с руководителями команды. В комнате, куда он вошел, было многолюдно: Лобановский, Базилевич,

Морозов, Петрашевский, врачи, представители спортивной науки... Мунтян обратился к Лобановскому:

— Васильич, я хочу с вами поговорить. Чувствую, что дело плохо... Я же просил вас хотя бы первые десять дней дать мне щадящий режим, как рекомендовал врач.

Лобановский напряженно слушал сбивчивую речь Мунтяна. Потом тихо сказал:

— Понимаешь, мы не можем к каждому подходить отдельно. Есть общая программа...

Остальных слов тренера Мунтян не слышал.

— Много вас здесь собралось на каждого из нас... Как же вы можете так поступать по отношению к футболисту?! — бросил Мунтян в сердцах и вышел из комнаты.

На следующий день Мунтяна отправили со сборов. Причем Базилевич довольно «своеобразно» напутствовал заслуженного мастера спорта:

— Главное, Володя, — сказал Олег Петрович, — чтобы ты себя сохранил...

Сам футболист понял это так: дескать, не остаться бы тебе в жизни калекой, о большом же спорте и помышлять нечего. Через два дня после того разговора, 23 января 1976 года тридцатилетний Мунтян лег на операцию к киевскому профессору Левенцу с единственной мыслью: «Во что бы то ни стало вернуться на поле и обязательно попасть на Олимпиаду!»

Через месяц, опираясь на палочку и чуть прихрамывая, Мунтян появился на киевском стадионе «Динамо». Тренеры видели его, но говорить с футболистом не стали... В марте он уже тренировался в полную силу, а 10 апреля под аплодисменты трибун отлично — как в свои лучшие годы! — сыграл за дублирующий состав «Динамо» в матче против московского «Локомотива». Мунтяна снова включили в сборную. Через пять дней после игры с железнодорожниками Москвы мне рассказывал заслуженный мастер спорта Стефан Решко:

— Сегодня Володя Мунтян тренировался с нами. Вот кто молодец! По нему не скажешь, что перенес операцию — на поле выглядит лучше и свежее нас всех! А ведь готовился самостоятельно...

К слову, именно так (легко и уверенно) на фоне несколько утративших свежесть своих партнеров выглядел Мунтян и в матче сборных СССР—ЧССР на поле в Киеве, когда его игру отметили не только обозреватели, но и сами тренеры. И все же они словно бы и не замечали присутствия футболиста в команде, которая вылетала на очередные зарубежные сборы без Мунтяна. Но сам он не терял надежды. Тренировался с дублерами, играл в матчах чемпионата страны. Иногда предпринимал попытки откровенно поговорить с Лобановским. Бывало, подойдет к нему и скажет:

— Вы мне прямо скажите, что у меня плохо, и я буду над этим работать?

Но тренер ни на один вопрос футболиста так и не дал вразумительного ответа («Ну как тебе объяснить, Володя? Если ты не понимаешь, значит, мы говорим на разных языках»). Да, похоже, что они явно не понимали друг друга. Спортсмен после операции ценой огромных усилий самостоятельно вернувшийся в строй и, по мнению других специалистов, выглядевший отлично подготовленным, и тренер, во главу угла ставивший научно обоснованную программу подготовки. Это не субъективное мнение автора, а как говорится, «медицинский факт». К слову сказать, когда бригада московских научных работников накануне отъезда сборной на Олимпиаду проводила углубленное медицинское исследование, то, как сказали Мунтяну, его показатели были одними из лучших в сборной! И все же в день отъезда футболистов на XXI Олимпийские игры Лобановский пригласил в свою комнату Мунтяна и глухо сказал ему:

— Володя, знаешь, ты не попадаешь в состав...

Футболист почувствовал комок в горле. Еле сдерживая слезы, он только и выдавил из себя:

— Ну, вы хотя бы скажите — ведь мне самому интересно: какие же просчеты в моей подготовке? По каким качествам я не подхожу?

Лобановский несколько раз качнулся на стуле, глядя в какие-то бумаги, бросил:

— У тебя прыжки слабые...

После неудачного выступления на Олимпиаде в Монреале многие обозреватели отмечали слабость в морально-волевой подготовке команды. В своих статьях они справедливо указывали на то, что только в сложной и трудной борьбе, а не в товарищеских играх с заштатными командами (даже на зарубежных стадионах) мужает характер футболистов, закаляются их бойцовские качества.

На мой взгляд, спад морально-волевой подготовки начался чуть раньше — еще

в счастливые для клуба годы. Класс «Динамо» повышался, функциональные возможности игроков улучшались, но все-таки здоровый организм команды исподволь... подтачивался изнутри некоторыми действиями самих тренеров.

...В 1974 году на стадионе в Одессе зрители наблюдали за матчем местного «Черноморца» с киевским «Динамо». Между прочим, на том самом милом моему сердцу «...стадионе у моря, стадионе на фоне моря», который в одном из своих рассказов воспел Юрий Олеша. Счет уже был 3:3, матч еще продолжался, а болельщики, освистывая футболистов, возмущенно вставали со своих мест и покидали трибуны стадиона.

Этот матч я смотрел вместе со своим давним другом — народным артистом СССР Михаилом Григорьевичем Водяным. Давний поклонник, как говорят многие наши комментаторы, «двух играющих сегодня команд», он не скрывал своего удивления, раздражения, обиды...

— Ты можешь мне толком объяснить, что происходит? — глядя на поле, толкал меня в бок Водяной. — Они что, тоже уже играют по сценарию?! Или считают нас за дураков...

— Не нервничайте, Михаил Григорьевич, — успокаивал я его. — Считайте, что вы не на футболе, а действительно на премьере, скажем, новой оперетты, поставленной по сценарию тренеров.

— Плохое сравнение, — хмуро сказал он. — Какая премьера? Какая оперетта? Это даже не цирк... Балаган, да и только.

Я обратил внимание, что служебная ложа, где мы в самом начале матча сидели, стиснутые со всех сторон людьми, тоже уже наполовину была пуста. А Водяной не унимался:

— Интересно, сами тренеры хотя бы понимают, что они делают? Ну, хорошо нам с тобой — прошли в эту ложу бесплатно. А каково зрителям, которые, как любят писать наши газеты, заплатили свои трудовые рубли?!

— Согласен. Им обидно вдвойне...

— ...Но дело даже не в рублях: футболисты оскорбили лучшие чувства болельщиков! — воскликнул Водяной. — Люди шли получить удовольствие от футбольной игры, а с ними сыграли такую неприличную шутку. Зрителей просто-напросто обманули. После этого они еще будут обвинять болельщиков в непостоянстве, непонимании игры... Если вы уж действительно хотите поднять уровень болельщиков, так поднимите прежде всего уровень собственной порядочности и честного отношения к своему делу.

А после игры я зашел к своему приятелю, тренировавшему в ту пору «Черноморец». В раздевалке царил оживление. Футболисты (чуть было по привычке не написал: «не остыв от игры», что было бы чистейшим штампом и неправдой) беззаботно между собой переговаривались. Кто о чем. Но только не о футболе, не о матче, который закончился десять-пятнадцать минут назад.

Я подошел к тренеру:

— Договорились?

Он отвел глаза и ухмыльнулся:

— Тебя не обманешь.

— Их ты тоже не обманул, — кивнул я в сторону трибун. — Только зачем все это нужно!

— Они предложили, а мы согласились... Все-таки верное очко...

На том матче присутствовал и тогдашний редактор еженедельника «Футбол — Хоккей» Лев Филатов, который со свойственной ему тонкостью и мастерством так описал эту игру:

«Нет, не клюнули одесские болельщики на роскошный счет того матча. Да и не такими уже мастерами водевиля оказались мастера футбола. Обеим командам пришлось не раз исполнить возле своих ворот эту «всеобщую оценок», когда приходила очередь противника забивать гол. Было это так ненатурально, так примитивно, что и в школьный драматический кружок никого из них, пожалуй, не взяли бы. Правда, это, к счастью, хуже будет, если они хорошенько отретепируют эту самую сценку — «гол в наши ворота». А одесситы на трибунах тут же дали наименование увиденному — «жмурки».

Читатель, видимо, догадался, что речь идет о договорных ничьих. Этот термин, кажется, впервые появился в «Правде». Об играх, когда «договаривающиеся стороны» еще до начала матчей делили «по очочку», писали и другие газеты и журналы. Ни на

одну такую публикацию опровержения не последовало. А договоры... продолжались. И год от года число их росло. В частных беседах тренеры киевлян, помнится, даже пытались объяснить необходимость подобного рода игр. Они утверждали, что команда на протяжении всего сезона не может держать высокую форму и подобного рода ничьи — какая-то попытка управлять формой...

Как сами футболисты относились к такого рода играм? Надо сказать, что иные из них верили в их просто-таки неизбежность.

— Я не много провел таких игр, — как-то сказал мне заслуженный мастер спорта Виктор Колотов, — но ведь были моменты, когда нам просто нужна была передышка...

А заслуженный мастер спорта Владимир Онищенко убеждал:

— Нельзя ведь два года подряд проводить все игры на одном дыхании. Правда, в Киеве договорных матчей не было...

— А в других городах?

— Были, были.

Но, к счастью, большинство футболистов (а ведь они, как правило, после ухода из большого футбола сами становятся тренерами) внутренне не принимали всякого рода компромиссов.

— Володя, интересно, с каким чувством вы выходили на поле, когда еще до игры знали, что она обязательно должна закончиться вничью? — спросил я однажды заслуженного мастера спорта Мунтяна.

— Выходил с жутким настроением и, если мог, забивал специально! Бывало, меня за это ругали, казнили, ненавидели, но я шел всегда против.

— А много ли подобных матчей вам пришлось провести?

— Только начиная с семьдесят четвертого года, а до этого, помнится, я лично в таких матчах не играл.

Заслуженный мастер спорта Евгений Рудаков:

— Играть в подобных матчах — это ужасно! Невозможно настроиться на игру. А как может быть иначе, когда знаешь, что если пропустишь два гола, то их обязательно отыграют, пропустишь пять — отквитают пять... Кому это все нужно?! Явная дискредитация футбола!

Заслуженный мастер спорта Давид Кипиани тоже был категоричен:

— Не могу подобрать таких слов, чтобы спокойно говорить о подобных футбольных сделках. К чему они советскому футболу?! Я их никогда не понимал, они мне не нравились...

Неужели тренеры действительно не понимали, что все эти «странные игры» оборачиваются не только против футбола, но и против футболистов, против команды?! Верно по этому поводу писал А. Филатов, что «...футболист, разок-другой получивший очки ни за что, неминуемо деквалифицируется, если не в жонглировании с мячом, то в душевной готовности к борьбе».

Что против этого возразишь? В подобных матчах команды не приобретают ничего, а теряют очень многое! Давно известно, что футболист улучшает свою игру, совершенствуется и растет только в борьбе. Это — закон спорта. И те тренеры, которые идут на «договорные ничьи», вместе с очками наверняка отдадут еще очень многое от класса своей команды. За все это приходится расплачиваться в других матчах, когда команда и хочет собраться для того, чтобы «дать бой», а собраться не может. Это весьма тонкие процессы человеческой психологии. И управлять ими при наличии различного рода договоров невозможно, ибо сыгранные футболистами «договорные матчи» дают впоследствии совершенно неожиданные реакции.

Всегда хотелось верить, что уж кто-кто, а киевские тренеры одними из первых в стране осознают наконец всю пагубность такого горе-изобретения футбола, какими были всякого рода компромиссы. За ними всегда мучительно стыдно было наблюдать с трибун стадионов, в кассы которых стекались сотни тысяч трудовых рублей. Забегая вперед скажу, что однажды даже душа порадовалась: 11 декабря 1981 года в газете «Советский спорт» прочел слова Аобановского о том, что он вообще-то не против ничьих в футболе, а только лишь против «договорных ничьих».

Но, видимо, дело не в словах, а в поступках. Почти через год в той же газете «Советский спорт» (2 октября 1982 года) автор футбольного обозрения В. Винокуров ничьи киевлян с харьковским «Металлистом» и днепровским «Днепром» метко назвал «отрывками прошлого». Взяв на вооружение практику проведения столь «странных игр», тренеры наверняка не учитывали один серьезный аспект своего футбольного

дела: не думали о зрителе! Есть точный барометр, показывающий рост или снижение интереса к футболу, — заполнение трибун стадионов. Однажды статистики подсчитали, как в среднем посещается каждый матч чемпионата страны. Интересно, что цифры, начиная с 1965 года, шли по нисходящей. Если, к примеру, в шестьдесят пятом году один матч в среднем посещали 34 тысячи человек, то — в 1974 году уже только 25 тысяч, а в 1982 — «всего» 19 тысяч... Думается, что «договорные ничьи» в определенной степени тоже повлияли на этот регресс. И не случайно газета «Советский спорт» в том же номере, где было опубликовано обозрение Винокурова, поместила письмо М. Зайцева из Чернигова. Вот его полный текст:

«Не могу скрыть своего возмущения, посмотрев по телевидению матч между харьковским «Металлистом» и киевским «Динамо». Это была профанация футбола: команды не играли, а отбывали номер. Поэтому почти весь матч и проходил под непрерывный свист харьковских любителей футбола. Полное впечатление, что игроки заранее знали, как закончится встреча. Очень жаль, что в дни, когда еще продолжается обсуждение итогов чемпионата мира, команда, которую тренирует новый старший тренер сборной СССР В. Лобановский, преподнесла нам образец антифутбола».

Лобановский против... Лобановского? В это не хотелось верить. И всегда в глубине души таилась надежда, что когда-нибудь мы услышим от него... раскаяние за эти «странные матчи», сыгранные командой, которую он приводил (и не единожды) к европейским вершинам. Ведь в подобного рода «играх» не раз приходилось идти против самих себя выдающимся мастерам нашего футбола. Миллионы телезрителей — болельщиков наверняка помнят эпизоды, когда заслуженные мастера спорта Блохин или Буряк, участвуя в подобного рода матчах, на последних минутах игры, выполняя пенальти — при ничейном счете! — тщательно старались... не забить гол в ворота хозяев поля. А после возвращения домой на недоуменные вопросы друзей, не очень-то сведущих в футбольной «кухне» — только коротко бросали: «Так надо было...»

Но не сокрушались их тренеры. Ни в частных разговорах, ни прилюдно (в печати или по телевидению), о своей причастности к подобного рода играм они вообще старались... молчать.

Когда в стране началась революционная по своей сути и масштабам перестройка во многих сферах жизни, не мог остаться в стороне и большой спорт. Обсуждая различные его проблемы, специалисты и журналисты настойчиво заговорили об одной из «болевых точек» футбола — договорных матчах. Авторы большого количества публикаций в нашей прессе, понимая особую остроту этой проблемы, затрагивали не столько спортивные, сколько моральные, этические и нравственные принципы. Правда, не все придерживались такой позиции. Не без некоторой грусти прочитал я в декабре 1986 года в газете «Советский спорт» суждения на этот счет Олега Базилевича:

«Поставлен вопрос о бескомпромиссности поединков и вновь сделан намек или кивок в сторону игр, которые с чьей-то легкой руки стали называться «договорными». Категорически заявляю, что такие попытки поднимать на страницах прессы этот вопрос выглядят неправомерными. Такие публикации сводят на нет всю нашу большую работу по пропаганде здорового образа жизни средствами физкультуры и спорта, пропаганде основополагающих принципов нашего спортивного движения. Футбольные сделки противоречили бы всем нашим моральным принципам, и потому делать ничем не подтвержденные намеки — это вести антипропаганду футбола».

Это была тоже своего рода «отрыжка прошлого»: сказать полуправду, а истину спрятать за звонкими словами! И в последующих выступлениях в печати «категоричность» Базилевича его же коллегами по профессии была сведена к нулю. Сделал это и кандидат геолого-минералогических наук, лауреат Государственной премии СССР Н. Петров из Алма-Аты. Приведу текст его письма, опубликованного в газете «Советский спорт» 10 января 1987 года:

«Очень не понравилось выступление в рубрике «Футбол в зеркале мнений» прекрасного в прошлом футболиста и уважаемого ныне тренера О. Базилевича. Оно не отвечает духу сегодняшнего дня, одним из принципов которого является гласность (честность сама собой разумеется). Вместо того, чтобы предложить меры по ликвидации одного из реально существующих негативных явлений в нашем футболе, он категорически заявляет, что проблемы «странных» и «договорных» матчей вообще не существует. Утверждать такое — значит не уважать наших болельщиков. Сегодня и играют в футбол, и достаточно разбираются в нем миллионы. Чтобы отличить бескомпромиссную футбольную игру от заведомой «липы» (другими словами, брака в рабо-

те), вовсе не обязательно быть «известным специалистом». К сожалению, и прошедший сезон явил не один, а несколько неприятных примеров таких, с позволения сказать, футбольных матчей».

...Читал все это, а у меня не шел из памяти доверительный, как принято говорить, разговор с одним из известных советских тренеров по футболу. Помнится, в день какого-то футбольного матча в Киеве его команды, говорили с ним по телефону о различных проблемах футбола. Но как только я невольно коснулся «договоров» в футболе, сразу услышал от него традиционное в таких случаях: «Ну, это не телефонный разговор!»

— Даже, если нас сейчас подслушивает ЦРУ,— пытался пошутить я...

Но... Он был серьезен: «Нет, нет! На эту тему я могу поговорить с тобой тет-а-тет». В тот же день вечером, после матча, при встрече на стадионе, он сам, словно бы продолжая прерванный по телефону разговор, сказал мне:

— Что же касается договорных матчей, то это — реальность, которая существует. Об этом знают все тренеры. Такие матчи не нами придуманы. Договариваются во всем мире! Даже на чемпионатах мира были договорные игры...

Тренер говорил об этом довольно грустным голосом, и в глазах его мне почудилась печаль. Словно говорил о какой-то безысходности, которую внутренне не приемлет, но в своей повседневной жизни вынужден с нею считаться как с любым непоразимым явлением. Похоже, что мой собеседник кое в чем был прав.

В январе 1987 года к нам в страну приезжал известный западногерманский тренер Дитмар Крамер. В качестве тренера-советника ФИФА 62-летний Крамер выступал на традиционном семинаре тренеров команд высшей и первой лиг. С ним много беседовали и вне семинара. Кстати, во время этих бесед возник вопрос и о договорных играх в футболе.

— Увы, они существуют,— сказал Крамер. — У нас в ФРГ мы, правда, избавились от них еще несколько лет назад применением огромных штрафов по отношению к заподозренным игрокам, тренерам и футбольным функционерам.

Так что, как видим, не Базилевич с Лобановским (в чем их не раз обвиняли в прессе!) придумали все эти «странные» матчи. Не они прямые их родоначальники и изобретатели в нашем футболе. Тогда кто? А может быть, правомерно ставить вопрос не к т о, а ч т о? Быть может, виновата система нашего — до 1989 года «любительского» — футбола, в котором и штрафы-то нельзя было ввести (попробуй, оштрафуй «любителей»?!). И может быть, Базилевич и Лобановский (впрочем, как и любой другой их коллега) просто не хотели (а может быть, и не могли) быть белыми воронами среди своих собратьев по профессии?

...Лобановский всегда страшно возмущался, когда в прессе появлялась очередная публикация о «договорных» матчах (особенно, если в ней указывались игры с участием киевского «Динамо»). «Вот, пожалуйста, опять полил нас грязью...» — цедил он сквозь зубы в адрес того или иного журналиста. Зря, думаю, возмущался. Ведь у спортивной журналистики (впрочем, как и у спортивного движения) кроме различий есть и общие задачи. К примеру: бороться за моральную чистоту в спорте, нетерпимо относиться к недостаткам. А ведь «договоры» в футболе — одна из этических проблем большого спорта!

Почему больше всех остальных команд за «договоры» доставалось киевлянам? Это, пожалуй, можно легко объяснить: сильным не прощают слабостей! Но все-таки нельзя было понять и позицию иных журналистов, которые всеобщее зло нашего футбола — эти «странные» матчи — приписывали, в основном, Лобановскому чуть ли не как его собственное изобретение! А ведь справедливости ради скажем, что подобные «игры футболом» (правда, быть может, гораздо в меньших размерах) случались, повторяю, и раньше — когда Лобановский с Базилевичем еще сами играли в футбол. Очевидно, именно поэтому от обсуждения подобных тем с журналистами Лобановский вообще старался всегда уйти. А если уже говорил, то весьма осторожно и, в основном, намеками...

В ноябре 1985 года вместе с журналистом Николаем Долгополовым, в благополучное для Лобановского время, когда киевское «Динамо» завоевало Кубок СССР и стало чемпионом страны, мы готовили довольно большое интервью для «Комсомольской правды». В числе множества вопросов тренеру задали и такой:

— Иногда ходишь на футбол и ситуация некоторых матчей такова, что исход их

прямо-таки видится еще до игры... У вас такого ощущения нет? Бывают иногда какие-то заданные результаты?

Лобановский пожал плечами.

— Дело в том, — медленно начал он, — что бывают ситуации, когда команда достигла уже какого-то результата и последующие игры проводятся с пониженной мотивацией, то есть в данной ситуации этот матч для игрока как товарищеский. Мы ведь наблюдаем за товарищескими матчами?! Одним словом, команды проигрывать не хотят, но и не играют на пределе своих возможностей, не выкладываются. Нет мотивации.

— Бывают договорные игры? — прямо спросили мы.

— Мне трудно сказать, бывают или нет, — уклончиво сказал Лобановский.

Немного подумал и добавил:

— Возможно, бывают, если они устраивают двух соперников... Игры, которые ничего не решают, практически проводятся не так, как хотелось бы зрителям. И игроки не получают удовлетворения от этих игр.

...Как проходят игры, которые «ничего не решают», нынче хорошо известно всем. Думаю, надолго запомнили болельщики, к примеру, финиш чемпионата страны 1982 года. Вот как его описал в своей известной статье «Игра в футбол» Юрий Рост в «Литературной газете»:

«Были открытия, были радости. Но были и загадки. Ну какой, скажите, оракул мог предсказать результаты двух последних, особенно веселых туров чемпионата, когда выигрывали именно те, кому это было нужно? Абсурдной покажется любому уважающему себя предсказателю мысль, что «Черноморец» (которому в таблице ничто не угрожало) сознательно не сопротивлялся «Арарату». Что «Арарат», забив в ворота одесситов 6 голов и обеспечив себе пятое место, не особенно напрягался в матче с динамовцами Киева, которым нужна была только победа (киевляне и выиграли 3:2). Тем временем минчане, чуть ли не впервые выйдя на искусственное поле, где постоянно тренируются их соперники, разгромили московских одноклубников со счетом 7:0, вызывающим, мягко говоря, смущение у оракулов.

Финальный матч «Спартак» — минское «Динамо», тоже 7 голов. Команда Лобановского ждала его исхода, закончив в Ереване матч на час раньше. В случае, если питомцы Бескова выигрывают, киевляне становятся чемпионами. Но «Спартак» не выиграл на своем поле, и в результате Эдуард Малофеев увел свою команду тоже с необходимой победой 4:3, опередив Лобановского на одно очко».

Задолго до того, как Юрий Рост написал эту статью, общался я как-то с одним специалистом из «кабинета Аобановского» на эту же тему — о морально-этических нормах в нашем футболе. Одну из таких телефонных бесед зафиксировал мой диктофонный секретарь (затем она была расшифрована и попала в мое досье). И вот, прочитав «Литературку», вспомнил и тот давний диалог. Здесь, думаю, уместно привести небольшой его фрагмент.

— Вы знаете, когда ваш шеф только начинал свою тренерскую деятельность в «Днепре», — сказал я, — писатель Аркадий Арканов написал о нем хвалебную статью в журнале «Юность», считал его одним из честнейших тренеров...

— ...Честнейших тренеров не бывает, — услышал я голос своего собеседника.

— Совсем не было? Или уже нет? — уточнил я.

— Нет конечно! Весь спорт стал таким. Я знаком, например, с художественной гимнастикой, — сказал мой приятель. — Там просто мафия. Мы по сравнению с ними еще ходим в коротких штанишках! Там, например, если тебе запланировали одиннадцатое место, то выше десятого ты не поднимаешься. Уже перестали быть честными учителя или директора школ. Да и как могут быть честными учителя, если в силу своей идеологии они не могут говорить правду?

— И все-таки, — перевел я тему разговора снова на футбол, — в вашем родном виде спорта еще остались честные тренеры.

— Какие? — громко прозвучало в трубке.

— Честные, — повторил я. — Которые не покупают игры, не играют договорные матчи...

— Где он живет такой тренер? На Марсе?

— Нет, в Москве.

И я назвал фамилию одного из наших известных тренеров.

— Кто?!

Я снова повторил ту же фамилию и добавил:

— Он матчи не продает и не покупает: у его клуба просто нет для этого денег...

— Дэви Аркадьевич, вы не обидитесь, если я вам скажу... Или вы абсолютно наивный человек, либо абсолютно стерильный. Вот когда ребенок рождается, пока он не сделал первый вдох, он абсолютно стерильный... Вы что, только что родились?! Хотите я вас сейчас элементарно пришибу? Одним примером. В моем мире это известно всем. Помните в прошлом году команда вашего московского тренера выиграла в Донецке у «Шахтера» — 2:0! Вы сидите?

— Да, да. И держусь за стул... Я не упаду!

— Так вот, вы человек, который еще во что-то верит... «Шахтеру» в прошлом году в ту пору уже нечего было терять, а команда вашего честного тренера из Москвы еще пыталась нас достать. Они приехали и говорят тренерам «Шахтера»: «Надо отдать два очка!» Те заупрямились. Как же, честные ребята! А им говорят: «Хотите поехать в Марокко?»... Через пару недель горняки поехали в турне по Марокко...

— Это молва или проверенный факт? — спросил я.

— Это было известно нашим ребятам уже на следующий день после матча в Донецке... Они же у нас большие хранители производственных и государственных тайн. А чем же им еще делиться, как не такой информацией?! Я сам все это пропустил тогда мимо ушей. Но через три недели открыл газету «Советский спорт» и глазам не поверил: донецкий «Шахтер» совершает поездку по Марокко... Так что, вы уж меня простите за прямоту, но вы выбрали себе в качестве эталона не очень-то подходящую фигуру — одну из самых нарицательных в нашем футболе.

...Без знания и понимания прошлого нельзя двигаться вперед. Кажется, капля по капле, а с годами наши специалисты футбола (да и сами футболисты) стали об этом говорить все настойчивее и более открыто. Сказывалась и перестройка в стране во многих сферах жизни и прежде всего — на страницах центральных газет и журналов. Во всяком случае, уже в 1986—1987 годах коллеги Базилевича и Лобановского по футбольному делу на страницах нашей печати довольно однозначно высказались по этой теме. Приведу, к примеру, опубликованные в прессе мнения трех заслуженных мастеров спорта, известных советских тренеров.

Эдуард Малофеев:

«Мне, например, не понравилась позиция отдельных наших футбольных руководителей, которые, пытаясь перенести вину с больной головы на здоровую, упрекают прессу в преувеличенном якобы интересе к тем матчам, которые вся спортивная общественность дружно окрестила «договорными». Выходит, мы должны придерживаться страусиной политики и вынуждать журналистов говорить эзоповым языком? Разве не ясно, что матчи с фиксированным результатом воздвигают стену между клубами и болельщиками, разве не ясно, что такие матчи наносят ущерб прежде всего самим футболистам!»

Валентин Иванов:

«...Разговоры ведь о матчах, которые называют и миролюбивыми, и странными, и просто договорными, ведутся не первый год. Имеют ли под собой почву обвинения? Видимо, да. Как говорится, нет дыма без огня».

Константин Бесков:

«Сейчас немало говорят о так называемых «договорных» играх. Что скрывать, случается и такое. А как мы с этим боремся? При федерации футбола создана даже экспертная комиссия. Где же плоды ее работы? Нужна жесткость, даже жестокость в борьбе с футбольными дельцами... Не уверен, что хвалебные высказывания принесут больше пользы, чем серьезный разговор о нерешенных задачах. Их, увы, у нас еще немало».

Справедливость подобного рода критики в своей статье, опубликованной 7 февраля 1987 года в «Правде» признал председатель федерации футбола СССР Б. Топорнин:

«Федерацию футбола СССР справедливо критиковали за слабую борьбу с безобразным явлением — так называемыми «договорными играми». Экспертная комиссия ограничилась просмотрами видеозаписей матчей, президиум федерации — обсуждениями. Ни разу не было использовано наше право аннулировать результаты игры...»

Так или иначе, а с годами киевское «Динамо» проводило все меньше и меньше подобных игр. Но каждая из них не оставалась без «особого» внимания их почитателей, которых у нас в стране (и за рубежом) становилось все больше и больше. Сильной команде не прощали «слабостей»! Во всяком случае, когда 20 февраля 1987 года газета

«Советский спорт» опубликовала интервью с начальником управления футбола Госкомспорта СССР В.И. Колосковым (оно было сделано по письмам читателей), то по итогам сезона-86 киевляне были упомянуты лишь дважды. Вот фрагмент из этого интервью:

«— Оценивая итоги сезона, большинство специалистов и любителей футбола резко критически высказывались по поводу договорных матчей.

— Считаю и сам, что отдельные игры в прошлом году прошли без должной спортивной борьбы и уважительного отношения футболистов к зрителям. На президиуме Федерации футбола СССР к числу таких игр были отнесены матчи «Шахтер» — «Динамо» (Киев) и «Арабат» — «Динамо» (Киев)».

...Футбол — мужская игра. Нужно уметь делать проходы, прострелы, подкаты, рисковать. Но делать все это полагается честно. Немало всемирно известных тренеров, рассказывая о себе, признавались, что их учителя прежде всего старались обучать их честности и гуманности футбола, привить им отвращение к махинациям и мошенничеству, ибо не может существовать спортивной педагогики без этики. И каждый тренер должен быть в этом уверен.

Однако вернемся в год семьдесят шестой. В том печально-памятном сезоне наставники киевского «Динамо» и сборной страны поступались порой законами спортивной педагогики. Не сказал бы, что они в те годы понимали механизмы формирования личности в коллективе. Впрочем, было бы странно, если бы они, не имевшие за плечами достаточного опыта работы с людьми, понимали эти — сложнейшие в жизни! — вопросы педагогики абсолютно правильно и действовали безошибочно. Да и методы, которыми в своей «воспитательной работе» пользовались тренеры-единомышленники, были, как правило, характерными не только для футбольной команды, но и для любого нашего коллектива вообще — школы, вуза, фабрики, завода или ЖЭКа... В футбольной команде мастеров отношения между тренерами и футболистами — это ведь почти, как правило, слепок с общественных отношений: тренеры — начальство и футболисты — подчиненные. Вторые выполняют волю первых. Подчиненные, известно, должны знать «свое место». И некоторые заметные личности из числа игроков киевского «Динамо» в таком коллективе стали постепенно чувствовать дискомфорт. Между тренерами и футболистами мало-помалу назревала конфликтная ситуация.

...В феврале семьдесят шестого года после одного из товарищеских матчей в Швейцарии, когда игра (в очередной раз) не пошла, тренеры сгоряча, в раздевалке, стали «выговаривать» Блохину. Правда, он был виноват в том, что перед самым финальным свистком немного поспорил с арбитром, который, как показалось Олегу, судил явно в пользу хозяев поля. Результат — 1:1. Но дело не в счете. Не было игры. Довольно самолюбивый, уже знающий себе истинную цену Блохин (только-только ставший обладателем «Золотого мяча»), стаскивая с себя мокрую футболку, сцепив зубы, молча слушал нападки тренеров. Особенно усердствовал Базилевич. По его словам выходило, что Блохин чуть ли не один из главных виновников слабо проведенной игры всей команды. При этом тренер не был особенно избирателен в выражениях. И тут Блохин взорвался, тоже дав волю своим эмоциям.

— Петрович, если я начну выражаться, кое у кого уши повянут, — зло сказал он в сердцах, резко стукнул бутсом о пол, выбивая из него комья дерна.

— Ах, ты та-ак?! — отпрянув назад, выкрикнул Базилевич. — Ты что, на меня бутсом замахваешься? Ну, погоди, возвратимся домой...

И пошли обычные «угрозы», к которым часто прибегали наставники в подобных ситуациях. Но на этот раз за словами последовали дела. После возвращения в Киев, в Конче-Заспе было проведено собрание команды, на котором обсуждалось «поведение» Блохина. Суть выступлений тренеров состояла в том, что им, дескать, в команде «звезды» не нужны! Наставников поддержали несколько игроков. К примеру, капитан команды Виктор Колотов предложил: «Лишить Блохина звания заслуженного мастера спорта!» А ветеран клуба Евгений Рудаков, то ли в шутку, то ли всерьез (этого, кажется, никто не понял) сказал, что Олега следует вообще отчислить из киевского «Динамо» и «отправить служить в часть»...

Но в коллективе как в коллективе. Были выступления и явно в защиту Блохина.

— Я перешел в вашу команду из «Шахтера», — сказал Звягинцев, — и очень обрадовался, что буду играть и тренироваться вместе с Олегом Блохиным. Мне с ним приятно вместе работать и выступать. Два месяца назад его называли лучшим игроком в Европе и присудили «Золотой мяч», а мы тут, кажется, сами бьем по своим воротам...

В тот момент, как вспоминал потом сам Блохин, упоминание о «Золотом мяче» было для тренеров, словно красная тряпка для быка. Выступавшего футболиста превратил Базилевич и обратился к «подсудимому» Блохину:

— Олег, ты хотя бы понимаешь, что лучшим игроком Европы стал только благодаря нам?

Блохин с удивлением взглянул на тренера. А Базилевич, повысив голос, продолжал:

— Да, да! Благодаря тому, что мы с Лобановским организовали матчи с «Баварией» на Суперкубок, ты и стал обладателем «Золотого мяча»...

«Слова тренера больно резали слух, — вспоминал об этом эпизоде Блохин. — Я уже почти не различал, что говорили Матвиенко и Трошкин, но понял, что они выступали в мою защиту»...

Так оно и было. Трошкин в конце своего выступления прямо спросил: «Объясните, что мы здесь обсуждаем? Мне это не совсем ясно».

Теперь уже поднялся Лобановский:

— Как? — громко произнес он. — Володя, ты понимаешь, какие задачи перед командой поставлены? Ты отдаешь себе отчет в том, что нам в этом году надлежит решать?!

В самом конце собрания слово предоставили Блохину. Он не мог спокойно говорить, настолько слова Базилевича выбили его из равновесия. Ком стоял в горле, кровь стучала в висках. Взглянув на тренеров, Олег еле слышно выдавил из себя:

— Большое вам спасибо, что вы сделали игру на Суперкубок и помогли мне стать лучшим игроком в Европе...

— Вот видите! — вскричал Базилевич. — Опять он ничего не понял и ставит себя выше всех!

Как тут еще раз не вспомнить Юрия Роста, который в «Литературной газете» в своей умной статье словно бы именно для подобной ситуации написал:

«Звезда надо растить требовательно, но нежно, и ничего, если они доставляют хлопот больше, чем любой другой футболист. Они ведь и пользы и радости приносят больше».

Впрочем, предвижу, что этот аргумент талантливого журналиста сами тренеры могут и не принять («Кто такой Рост? Дилетант в футболе!»). Что ж, на этот случай (специально для Базилевича и Лобановского!) приведу мнение профессионала — их западногерманского коллеги Дитмара Крамера:

«Конфликты? — говорил он. — Они бывают — жизнь есть жизнь. Но регулировать их надо с глазу на глаз, не афишируя их и не пытаясь восстановить команду против выдающегося футболиста, и тем самым поднять свой авторитет».

...Сразу после собрания Блохин позвонил на работу своему отцу. Кому-то близкому хотелось излить душу. Потом приехал к нему и все изложил как было.

— В этом надо серьезно разобраться, — сказал Блохин-старший. — Если виноват, стоит тебя наказать.

— Но в чем виноват, батя?

— А это сейчас узнаем.

И отец Олега позвонил Базилевичу. Тот разрешил Владимиру Ивановичу Блохину приехать на базу (правда, в часы, когда «...команда будет спать»). Но их долгий разговор так и не внес ясности и на свои вопросы, в чем же все-таки симптомы «звездной болезни» сына и какие конкретные факты свидетельствуют об этом, отец Олега вразумительных ответов не получил.

Эта история так подействовала на обладателя «Золотого мяча», что для себя он твердо решил... закончить играть в футбол. Слава богу (и какая удача для отечественного футбола), что руководителям спорткомитета Украины, внимательно побеседовавшим с самим Олегом Блохиным, удалось его убедить, что «по молодости» он может сделать опрометчивый шаг.

— Вспоминая о том давнем конфликте, — рассказывал Блохин, — с годами я понял, что в напряженный период подготовки к Олимпиаде в Монреале, подобными «воспитательными мерами» тренеры, на мой взгляд, не сплывали нашу команду, а только лишь разобщали ее. Поражения киевского «Динамо» от «Сент-Этьенна» в Кубке европейских чемпионов и от «Днепра» — в Кубке СССР, проигрыш сборной страны футболистам Чехословакии в первенстве Европы — все это тоже не прибавило «бойцовских качеств» нашим игрокам. Одним словом, выполнить «задачу года» —

завоевать «золото» на Олимпийских играх в Монреале! — мы, думаю, не были готовы ни физически, ни морально.

Согласен с Олегом и разделяю его точку зрения. В одной статье, рассказывающей о совещании по итогам выступления сборной СССР на Олимпиаде-76, говорилось:

«Несколько характерных примеров неуважительного отношения друг к другу привели выступавшие, назвав при этом и О. Блохина, и В. Трошкина, и В. Веремеева. Естественно, что при таких взаимоотношениях в команде трудно было рассчитывать на успех. Ведь любой промах воспринимался партнерами как неисправимый, вызывал приступ нервозности, разрывал внутрикомандные связи».

Горький упрек, но справедливый. В том олимпийском турнире наша сборная не выглядела монолитным коллективом. А что может быть важнее для командного успеха?! Не случайно после победы в финале XII чемпионата мира 55-летний тренер сборной Италии Энцо Беарзот, когда его спросили, как он сам оценивает случившееся, ответил:

— История мировых чемпионатов свидетельствует, что в финале одна из команд, как правило, доминирует из-за того, что другую подстерегает психологический провал. Морально наша команда была сильна, психологический баланс прочен. Сила нашей команды в ее духовном единстве... Конечно, если бы наши игроки конфликтовали вне поля, то они бы эти взаимоотношения перенесли и в игру. Но они были едины всюду, вот почему у нас получилась монолитная команда в этом чемпионате. И здесь вся суть.

...В семьдесят шестом году Базилевич и Лобановский заверяли всех (и в первую очередь игроков киевского «Динамо» и сборной страны), что к Олимпиаде команда подойдет в «пике формы». Вероятно, наставники в чем-то просчитались. Вот на этот счет мнение Олега Блохина:

«По своему самочувствию, да и по виду моих партнеров, я полагаю, что в дни олимпийских баталий вместо обещанного тренерами и их научными консультантами «пика формы» у нас наступил «пик спада». Все игры — даже с откровенно слабыми соперниками! — мы проводили буквально «через не могу». Ни легкости, ни свежести, ни жажды борьбы у команды не было».

Вот когда, думаю, тренерам-единомышленникам следовало всерьез, а главное — честно и самокритично во всем разобраться. Но еще в Монреале во всех грехах тренеры стали обвинять... игроков. Один из них недоработал, второй — потерял кондиции, у третьего — недостаточно сильная «мотивация»... Одним словом, каждый футболист чему-то не соответствовал. Ведь именно по причинам этих «несоответствий» и остались дома, не поехали в Монреаль в составе олимпийской сборной такие замечательные мастера своего дела, как Рудаков и Мунтян. А когда команда возвратилась с Олимпийских игр, тренеры сразу же предложили расстаться с динамовским клубом еще двум заслуженным мастерам спорта — Трошкину и Матвиенко. Люди, внесшие свою лепту в славные победы киевского «Динамо», еще полные сил футболисты, которые могут играть, вдруг — в середине сезона! — должны расстаться с клубом? Игрокам (впрочем, не только тем, кого отчисляли, а всему коллективу) такое трудно было понять. Между командой и тренерами возник стихийный конфликт.

Вспоминая этот беспрецедентный в нашем футболе случай, Юрий Рост в «Литературной газете» писал: «...вернувшись домой, тренеры решили провести ревизию команды, а команда в ответ отказалась от тренеров».

Что же произошло?

В один из августовских дней 1976 года динамовцы всей командой пришли к руководству спорткомитета Украины и выдвинули довольно категоричное требование: «Мы или они!» Команда настаивала на отставке динамовских старших тренеров. В своих высказываниях игроки подчеркивали, что Базилевич и Лобановский в общем-то хорошие специалисты, но из-за отсутствия чисто человеческих контактов между ними и командой сложилась такая ситуация, что вместе больше работать невозможно. В этом своем требовании команда была едина до тех пор, пока... держалась одним коллективом. Но потом, вероятно, кто-то посоветовал руководителям спорткомитета «не разговаривать со всей командой вместе, а приглашать игроков по одному». А тут еще на помощь руководителям спортивным поспешил довольно большой начальник (с генеральскими погонами!) из динамовского ведомства (а большинство ведь игроков — рядовые). Он-то и приказал «писать каждому — в отдельности! — р а п о р т». И тут, вероятно, не все из них остались при своем первоначальном мнении. Требование команды не приняли.

Все это происходило накануне календарного матча чемпионата страны с днепро-

петровским «Днепром». Несколько дней подряд на динамовской загородной базе в Конче-Заспе проводились многочасовые собрания команды с участием большого количества высокого начальства. Но даже в его присутствии футболисты откровенно высказывали тренерам — прямо в глаза! — многие нелицеприятные вещи. А наставники в своих выступлениях продолжали обвинять во всех неудачах только игроков. Больше всех досталось Володе Мунтяну. Он тогда среди всех киевских динамовцев был единственным в команде коммунистом, и Базилевич обвинил его даже в том, что, не попав в состав олимпийской сборной, вроде бы: «обиженный Мунтян остался дома и... подготовил весь этот сыр-бор».

В день матча с «Днепром» ни на базе, ни на стадионе Базилевича и Лобановского с командой не было (еще накануне футболисты прямо заявили руководителям спорткомитета: «Если они в день игры будут с командой, мы на поле не выйдем!»). Командой формально руководил тренер дублеров А. Пузач. Но, учитывая сложившуюся обстановку, он даже не пытался это делать. К матчу готовились сами, сами же футболисты определили состав на игру (ветеран команды Евгений Рудаков бросил клич: «В бой идут одни старики!» — и без особого долгого обсуждения — был назван стартовый состав и запасные). Матч «Днепру» динамовцы проиграли со счетом 1:3. Вероятнее всего, именно это поражение внесло окончательные коррективы в решение вопроса: не может команда, даже состоящая из одних заслуженных мастеров спорта, оставаться без опытного старшего тренера...

Рассказывали, что во время этого конфликта, когда по телефону доложили о сложившейся в киевском «Динамо» ситуации одному из руководителей довольно высокого ранга, отдыхавшего в это время в Крыму, он грозно сказал: «А кто персонально ответит за развал лучшей команды Европы?!» И якобы рекомендовал «постараться сохранить одного из двух старших тренеров», назвав при этом фамилию Лобановского...

Несколько лет спустя, в одной из книг, рассказывающих об истории киевского «Динамо», о тех бурных августовских днях семьдесят шестого года были написаны такие строки: «...Тем не менее в коллективе киевского «Динамо» возникла конфликтная ситуация, обнаружившая серьезные недостатки в воспитательной работе, вследствие чего был освобожден от своих обязанностей О. Базилевич».

Так печально закончился эксперимент старших тренеров-единомышленников работы вдвоем. И мне от души было жаль их обоих. Жаль было и великолепную команду, которая, на мой взгляд, так и не смогла полностью реализовать свои возможности. Ведь таким составом, какой сложился в киевском «Динамо» в 1975 году, команда могла еще года три-четыре (как минимум) задавать тон на футбольных полях Европы. Что ни игрок — личность! И у каждого, как говорил Леня Буряк, — «своя изюминка». Но, опережая многих своих коллег в ведении футбольного дела, Базилевич и Лобановский, думаю, проигрывали некоторым из них (особенно нашим тренерам-ветеранам) в сфере чисто человеческих отношений. Впрочем, что они могли знать о такой «науке»? Этого ни в школе, ни в вузах они «не проходили», такого им «не задавали»... Жесткий урок преподала сама жизнь. Похоже, что оба из «августа семьдесят шестого» сделали верные выводы. Как сами признавались однажды в этом, оба довольно часто вспоминают и (по сегодняшний день) порой мучительно анализируют те «августовские» события в киевском «Динамо».

...Лобановский остался на своем посту. И, по свидетельству самих игроков, несколько изменился. Изменил он и сам характер тренировок. Особое внимание было уделено восстановительным мероприятиям, и команда постепенно выходила из кризиса. В осеннем чемпионате-76 динамовцы завоевали серебряные награды, а на следующий год — стали чемпионами страны! Примечательно, что Мунтян, Трошкин, Матвиенко, которых старшие тренеры «отпели» еще в 1976 году, в числе других динамовцев Киева тоже были удостоены медалей чемпионов СССР.

С годами в киевском «Динамо» создавался свой особый психологический микроклимат. И, думается, события 1976-го, о которых в коллективе до сих пор помнят многие, помогли воспитанию людей не на лжи или полуправде, а преподали жизненно правдивые уроки истины, высвечивая подлинные ценности в сфере человеческих отношений. Уроки эти помогли и самому Лобановскому (быть может, даже больше, чем всем остальным). Он с честью преодолел проблему нравственной памяти, которая помогла (и помогает) ему мужественно анализировать собственные ошибки прошлого, которые он на первых порах даже не признавал. Это не просто слова. Это — факты.

— Как вы сами с дистанции прожитых лет рассматриваете семьдесят шестой год? — спросил я однажды Лобановского уже в 1987 году.

— Любое событие дает очень много, — задумчиво сказал он. — Положительного или отрицательного. Величие семьдесят пятого сменилось неудовлетворенностью семьдесят шестого. Почему? Считаю, что нами были допущены просчеты...

— ...И вы, как тренеры, допустили ошибки? — не выдержал я.

— А как же, не ошибается, как известно, только тот, кто не работает.

— Какие же именно ошибки?

— Главным образом, педагогические...

Да, события «августа семьдесят шестого» — это был довольно жесткий жизненный урок для футболистов и тренеров. «Мы почернели тогда от переживаний, — пишет в своей книге «Бесконечный матч» Валерий Лобановский, — но теперь я понимаю: в жизни обязательно должно произойти нечто похожее на эту послемонреальскую историю. Она закалила всех ее участников. Меня, во всяком случае, точно».

Пожалуй, верно. Через одиннадцать лет после «послемонреальской истории» передо мной был уже совсем не тот Лобановский, которого я наблюдал в период его становления. Теперь почти во всем угадывался крепкий профессионал до мозга костей. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год он совершенствовал свои методы работы и, что, пожалуй, главное — твердо стоял на своих принципах...

(Продолжение следует)

ОРАКУЛОМ, ЛВВОМ, ОРЛОМ

Стихи поэтов Сирии

Давние узы дружбы связывают нашу страну с народами стран Арабского Востока, в числе которых и древняя, окутанная дымкой легенд и вечно юная Сирия. В свою очередь, в арабских странах издавна наблюдается глубокий интерес к жизни великого северного соседа. В школах, построенных в конце прошлого века на сирийской земле Российским Палестинским обществом, изучался русский язык, наша отечественная литература, которая оказала глубокое влияние на многих арабских писателей. Этот процесс сближения и взаимообогащения национальных культур получил в наше время дальнейшее развитие. Выходят книги известных советских писателей на арабском языке, и книги молодых — так, совсем недавно опубликована антология молодой советской поэзии.

Все более знакомой становится для нас современная сирийская поэзия, отличающаяся философичностью, яркой образностью и стремлением постичь суть человека, его места на земле, в ряду реалий и вечных истин. Предлагаем вниманию читателей стихи Адониса (Али Ахмед Саида) и Бандар Абдель Хамида, вошедших в литературу в 60—70-е годы, и их более молодых коллег Асыф Абдаллаха и Юсефа Аладина. Все они достаточно известны не только у себя на родине.

АДОНИС (Али Ахмед САИД)

ТОТ, КТО УШЕЛ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО

Я был рожден в пророческом плаще.
Мое лицо — страсть женщины, мечтающей
при пламени свечи: «Пусть падают мечи!..
Пусть возвратится же с полей войны солдат!..
Мое лицо — подобие звезды,
объемлющей все цельное на свете —
живое ныне, или век назад...

Я восхожу во имя злака,
когда наш хлеб становится, как ад,
когда усопшие листы из древних книг
вновь превращаются в обитель страха.
Я восхожу во имя праха,
чтобы стереть навеки прах.

И чтобы время поглотить, я прибегаю
к перводыханью
и пою опять
мой первый псалм, знакомый вам едва,—
о том, что я могу ронять слова.

Цвет революций — радуга тугая —
под пеплом мира будит ото сна
закованное льдом озерным Время
и льет его в иные времена,
всходящие из теста поколений,
крепчающих, как детские колени,
день ото дня,
из года в год,
из века в век
передает
все доброе, чем славен человек,
кто сеет в землю девственности семя,
кто свет и пламя в жизнь с собой несет,
кого остановить бессильно время!

Я век и брэнность примирить хочу.
Теряю дни — за новыми гонюсь,
пеку, как хлеб, окрепший их союз,
смываю ржавчину истории со слов,
в их ткани расправляю жизни пыл
и даже символ...
Ибо век рабов
сочится в моих жилах, век грехов,
влекомый смертью — с ним решил расстаться я.
Вокруг меня — отжившая цивилизация.

Вот, я лежу, как река,
не зная, как удержать берега,
не зная ничего, кроме родника,
устья и русла,
где солнце грядет
черной волшебной травой,
где солнце встает
кобылицей красной,
где становится солнце
оракулом боли и радости —
оракулом, львом, орлом,
возлежащим короной
над бровью Времени.

Бандар Абдель ХАМИД

ГОЙЯ РИСУЕТ У МОРЯ (Отрывок)

...Деревья клонятся к земле
ночной порою,
оконце ищут
в глинобитном склепе —
там, где рождается луна-ребенок,

и смотрит в небо
 кипарисовая роща,
 стремясь поймать и
 удержать
 горящий серп.
 Крестьяне, уперев ладони
 в скулы,
 ждут революции в «последних новостях».
 Остыл кетмень,
 обещанный земле.
 Торговцы корчатся
 в дверях
 ночного клуба.
 Тюрьма в пустыне
 переводит дух.
 Лицо коня
 и женская головка
 проходят чередой в безумном взоре
 под шум прибоя...
 Водоросли, камни...
 Рыбак, согбенный
 над дрожащей свечкой,
 глаза застыли и устали плечи,
 полоски пепла —
 сморщенные веки,
 полоски соли —
 на иссохшихся губах.
 Канаты, сети и гнилые доски
 на набережной спят
 среди желтых книг.
 Дробится в скалах эхо
 прожитой эпохи,
 дрожит, соскальзывая,
 детская шапчонка.
 А он рисует.
 Трепетно и тонко
 выводит моря рассыпающийся лик,
 Зарю, встающую над морем
 алой раной.
 Рыдают птицы,
 где-то стонут волки,
 и ветер рвет страницы книг горящих...
 Остановись! Еще не время:
 рано!..
 А он рисует —
 неграм, маврам, баскам...
 Убийство — взгляду
 и раздолье краскам
 сквозят в глазах безумного цыгана!

Асыф АБДАЛЛАХ

ПЕСНЯ О КОЛОСЬЯХ

Тебе в цветы рядиться
 и плодиться,
 твое величество, пшеница!

Колоситься
тебе во веки вечные!
И вновь
одной тебе дарю — и святость, и любовь!
Плодись,
колосьями заполни поле, светом
весны грядущей наводни поля!
Плоди любовь, красавица земля!
Пляши под звездами
в такт этим песням зрелым,
тугим, как тело и, как зерна, спелым!
В твоих глазах я обнаружил вдруг
несчетное число и звезд, и весен,
газели стан увидел и испуг
тот трепетный, что над землей царит —
и мне стихи грядущие дарит!

Юсеф АЛАДДИН

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Когда жестокий зной
оставит нас в покое
и зелень слов весной
овеет радость слез,
под сенью облаков
укроемся листвою,
со стайкой голубей
слетим к рассвету грез...
До нас доходит зов
земли красноречивый,
увенчанный восторгом
кликов, свадеб и битв,
и хмель дорог и троп
к реке под нежной ивой
согреет душу вновь
и в грезы нас умчит...

Цветы лугов и гор,
невесты росных склонов,
и солнечные дни
из детства моего,
я унесу вас вдаль
с моей любимой в лоно
луны и звезд — их свет
вберет меня всего,
в нем растворится кровь,
стремящаяся к счастью,
бегущая на ток
груди твоей, фиал,
и холодом снегов
обдаст и жаркой страстью
летающих дней моих
блистательный финал.

Перевод с арабского
Игоря ЕРМАКОВА

Петр БАЧИНСКИЙ,
доктор исторических наук,
Дмитрий ТАБАЧНИК

ГИБЕЛЬ ПРЕМЬЕРА: ВЕРСИИ И ФАКТЫ

Перед тем, как читатель погрузится в атмосферу 30-х годов, встретится с цифрами, фактами, спорами и борьбой людей того непростого времени, нам бы хотелось отметить, что в ряде публикаций последнего периода, посвященных Сталину и сталинщине, помещенных как в самых солидных изданиях, так и в самых нереспектабельных районах и многотиражках, проявился упрощенный, заниженно-примитивизированный, бездоказательный подход к раскрытию исторической истины. Некоторые авторы (без знания опубликованных, а тем более архивных, документов), освещая этот трагический период в истории страны, канонизируют всех репрессированных руководителей по одному принципу: погиб — значит, герой, и вся вина за невиданный, массовый террор против собственного народа, за гибель миллионов людей лежит, мол, только на Сталине и его ближайшем окружении, насчитывающем пару десятков человек из высшей иерархии власти.

Безусловно, зачинателями, архитекторами и проводниками массовых репрессий были именно они — Сталин и его приспешники; безусловно, страшные злодеяния этих людей не могут быть прощены никогда. Однако, на наш взгляд, создание режима личной власти Сталина, развязывание безумной вакханалии преступлений, превращение ленинской партии в сталинский «орден меченосцев», а советской страны — в гигантский карательно-трудовой лагерь было бы не под силу узкой группировке авантюристов и пе-

рерожденцев. Все эти деяния являлись плодом усилий значительно более широкого круга людей, стоявших на низших, средних, высоких и высших ступенях административно-командной лестницы. Среди них было ведь много и руководителей республиканского и областного, а то и сельского масштаба. Признание и исследование именно этого факта позволяет, на наш взгляд, сделать новый, необходимый обществу шаг в разоблачении и демонтаже сталинской административно-бюрократической системы, лишь в малой степени измененной за годы, отделяющие ее нынешнее состояние от времени ее функционирования при «великом вожде и учителе».

Значительная часть вины за бездумное, безмерное и, если хотите, преступное возвеличивание Сталина падает на руководителей Украины, начавших еще в 20-е годы интенсивно возводить его в ранг «земного бога», — хотя многие из них сами потом стали жертвами возвращенного в значительной мере ими же монстра. Не видеть этого — значит проявлять нелепое и неумное упорство и национальное чванство. А к истории надо подходить честно, что требует мужества, умения не закрывать глаза на истинные причины тех или иных событий. «Иначе говоря, это требует умения смотреть правде в глаза: горька она или сладка, льстит она национальному самолюбию или повергает его в стыд», — как подчеркнул М. С. Горбачев («Новое время», 1988, № 47, с. 8).

Именно поэтому, рассказывая об А. П. Любченко, человеке ярком, талантливом, незаурядном, но и противоречивом, мы не можем не сказать также о том, как, в числе других, он активно

© БАЧИНСКИЙ П. П.,
ТАБАЧНИК Д. В., 1990.

участвовал в сотворении мифа о «великом вожде всех времен и народов», а также о том, как сам безжалостно громял украинскую интеллигенцию на печально известном «процессе СВУ» и как вместе с другими зло выступал на Пленумах ЦК, громя затравленного Н. А. Скрипника. Но, освещая личность Афанасия Петровича, нельзя не показать и его честность, порядочность и высокую партийную принципиальность в трагические 1936 — 1937 годы, когда он отчаянно бросился защищать друзей, когда ездил, и не один раз, к Сталину, чтобы вырвать из лап палачей честных и порядочных людей. Это был тот Любченко, который, подставляя собственную голову, оказался единственным из состава Политбюро ЦК Коммунистической партии (большевиков) Украины, пытавшимся если не помешать, то хотя бы затормозить, сдержать массовую охоту за людьми в пределах республики. И он достоин доброй памяти. Это был тот Любченко, который, обрекая себя на гибель, бросил вызов всемогущему НКВД в «деле Хвыли», не сдался и до последних минут жизни не признал себя ни врагом, ни шпионом, ни изменником Родины. Это был тот Любченко, который, даже защищаясь от чудовищных обвинений, нашел в себе мужество не оговорить никого из друзей, знакомых, подчиненных.

И он может, нет — должен остаться в памяти народа.

ТРИУМФ ДИКТАТОРА, ИЛИ «СЪЕЗД РАССТРЕЛЯННЫХ»

26 января 1934 года начал работу XVII съезд ВКП(б), который Сталин пышно назвал «съездом победителей». История же нарекла его позже «съездом расстрелянных». Среди делегатов, прибывших на съезд из Харькова, был и 37-летний первый заместитель председателя Совнаркома Украины и секретарь ЦК КП(б)У Афанасий Любченко. Уже почти год он, выбиваясь из сил, совмещал эти два поста, и потому с тревогой думал — сколько же времени займет съезд и большой ли затор в бумагах и делах придется разбирать после возвращения в Харьков на столах в обоих своих кабинетах, в ЦК и в Совнарком, — что, впрочем, случилось после каждой его командировки.

Главными вопросами съезда — согласно стенограмме — были обсуждение результатов выполнения первого пятилетне-

го плана (на деле он оказался проваленным) и рассмотрение плана второй пятилетки. Жонглируя цифрами, Сталин обманул партию и народ, говоря, что пятилетка выполнена за 4 года и три месяца. Однако его окружение, вместо критического анализа, задало такой тон, что в этом громе фанфар Сталин выглядел земным богом, не знающим на своем пути никаких преград, богом, не ведающим ошибок, только благодаря гению которого и были одержаны «выдающиеся победы».

Да, съезд и в самом деле ознаменовал собой победу Сталина и его окружения — ибо стал съездом триумфа диктатора, а значит — и начавшейся многолетней трагедии. «Триумф» заключался в том, что Сталин к этому времени растоптал ленинский дух партии, изгнал ее активных деятелей с ответственных постов. Но — парадоксально — все, даже бывшие оппозиционеры, славят его, превозносят до небес. Трагедия же в том, что пятилетний план был с треском провален, миллионы людей погибли от голода, были брошены в тюрьмы и лагеря НКВД, а сельское хозяйство разорено так, что оно и сейчас, спустя почти 60 лет, не может накормить страну.

Первым провозвестником дальнейшего углубления трагедии стали результаты голосования на съезде при выборах ЦК ВКП(б).

Мы должны несколько подробнее остановиться на работе этого съезда, так как и сейчас в целом ряде публикаций только в светлых тонах освещается деятельность некоторых бывших активных оппозиционеров и не показывается, что именно они помогли Сталину удержаться на вершине командно-административного Эльбруса.

Имя Сталина прозвучало на съезде в положительно-хвалебном упоминании почти 1600 раз; его называли, а большей частью безудержно славили, все без исключения выступающие. Рекорд в прославлении Сталина поставил Каганович: он похвалил «великого вождя» 64 раза; т. е. упоминал его имя практически через каждые 10—15 слов; Микоян — 41; Орджоникидзе — 33... Затем идут Рудзутак, Куйбышев, Ворошилов, Киров и другие. Не отставала в этом отношении и украинская делегация. Выступало от КП(б)У 12 человек, и они 159 раз похвалили Сталина: Косиор — 34, Постышев — 24, Саркисов — 21, и менее всего неулыбчиво-суровый Чубарь — 3 раза. Самую высокую похвалу Сталину от КП(б)У дал Постышев. А. П. Любченко

не выступал — он работал в секретариате съезда. Но реплики в адрес кое-кого из бывших оппозиционеров подбрасывал, стараясь сбить их с мысли, осмеять, унижить...

На наш взгляд, наиболее ценным для Сталина было восхваление его личности, его дел лидерами бывшей оппозиции. Выступали они безыдейно и беспринципно, клеймили свои поступки, целиком признавая даже несуществовавшие ошибки, которые им приписывал Сталин. Они «ползали» перед ним на коленях, как нищие, юлили, давали клятву никогда не выступать против линии партии (читай — против Сталина), цитировали произведения Маркса, Энгельса, Ленина по отдельным вопросам социалистического строительства и доказывали, что Сталин — именно Сталин, только Сталин! — повел страну по этому великому пути, а они были «неразумными ягнятами». Они провозглашали в его честь такие здравицы и поднимали его на такую высоту, что до этого было далеко всем остальным делегатам. Пример лилоблюдства, низкопоклонства и посвящения Сталина в боги показал, к сожалению, Н. И. Бухарин, который выступил первым от имени бывших оппозиционеров. Признав все «ошибки», которые ему приписывались, он дал такую оценку Сталину, которая сегодня звучит дико, странно и непонятно, вызывая вопрос — а как мог договориться до всего этого Бухарин? Кто мог заставить человека говорить подобное? Вот его заключительные слова: «Мы — единственная страна, которая воплощает прогрессивные силы истории, и наша партия, и лично товарищ Сталин, есть могущественный глашатай не только экономического, но и технического и научного прогресса на нашей планете... Да здравствует наша партия — это величайшее боевое товарищество закаленных бойцов, твердых, как сталь, мужественных революционеров, которые завоевывают все победы под руководством славного фельдмаршала пролетарских сил, лучшего из лучших — товарища Сталина». И это говорил человек, бывший когда-то любимцем партии, теоретиком и крупным публицистом, смело воевавший против царизма!..

Трудно предположить, что бывшие вожди оппозиции не видели, куда ведет страну Сталин. Что же в таком случае толкало их вести себя на съезде именно так? Или им нужно было одно — попытаться любой ценой удержаться в начальствующем кресле, вернуть себе теплые

местечки? Или же в них жила надежда на реванш в будущем? Неужели они не понимали, что изувер и интриган Сталин — это трагедия всей страны? Но как бы там ни было, они сознательно обманывали партию и народ. Зиновьев похвалил Сталина 25 раз, назвав его доклад «редким и редчайшим в истории мирового коммунизма документом, который можно и должно перечитывать по многу раз». При этом Зиновьев заявил, что «в борьбе, которая велась товарищем Сталиным на исключительно высоком теоретическом уровне... не было ни малейшего привкуса сколько-нибудь личных моментов». Рыков похвалил Сталина 17 раз, подчеркнув при этом, что ленинский тезис о возможности построения социализма в одной стране после смерти Ленина отстаивал и отстаивал именно Сталин — и отстаивал не только от «нападок Троцкого, но и Зиновьева, Каменева и целого ряда других членов нашей партии». Томский назвал имя Сталина 12 раз, а Каменев воздал хвалу Сталину 26 раз, окончив свое выступление следующими словами: «Я считаю того Каменева, который с 1925 по 1933 боролся с партией и с ее руководством, политическим трудом, я хочу идти вперед, не таща за собою по библейскому (простите) выражению эту страшную шкуру». В таком же плане юродствовали и другие бывшие оппозиционеры: Е. А. Преображенский, Г. А. Пятаков, К. Б. Радек... М. И. Калинин не без оснований при закрытии съезда скажет: «Все бывшие видные руководители оппозиции признали себя политическими банкротами, а свои платформы неоплаченными векселями».

Но вот, наконец, и выборы центральных органов партии. Делегаты XVII съезда С. И. Гопнер и Р. Я. Терехов рассказывали, что Сталин вел себя спокойно, о каких-либо случайностях или проколах вряд ли думал, да и видимых причин для беспокойства не было: ведь все без исключения выступавшие, в том числе и бывшие лидеры оппозиции, славил его до небес и сделали гением, вождем мирового пролетариата. Аппарат полностью контролировал съезд, да и счетная комиссия избрана из надежных людей: курировать ее действия поручено Кагановичу. К тому же выборы построены так, что и выбирать не из кого: на одно место выдвигается только один кандидат, а количество мест в ЦК строго определено. При такой системе выборов вряд ли возможен случай, чтобы против какого-нибудь кандидата проголо-

совало более 50 процентов голосующих.

При Ленине была одно время очень простая и доступная процедура объявления результатов голосования и выборов. Например, на X съезде РКП(б), где шла острейшая борьба различных точек зрения, фракций, платформ, Н. А. Скрыпник, как председатель счетной комиссии, сразу объявил, что при выборах членов ЦК из 479 поданных голосов Ленин получил «за» 479, Радек — 475, Томский — 472, Калинин — 470, Рудзутак — 467, Рыков — 458, Сталин — 458, Комаров — 457, Молотов — 453, Троцкий — 452, Михайлов — 449, Бухарин — 447, Ярославский — 444, Дзержинский — 438, Орджоникидзе — 438, Петровский — 436, Раковский — 430, Зиновьев — 423, Фрунзе — 407, Каменев — 406, Ворошилов — 383, Кутузов — 380, Шляпников — 383, Тунтул — 351, Артем — 283. Совершенно по-другому поступали впоследствии при Сталине — председатель счетной комиссии объявлял: «большинством голосов избраны следующие товарищи» и зачитывал список избранных без объявления, сколько голосов «против». Эти данные перестали печатать и в стенографических отчетах, скрывая правду не только от партии и народа, но даже и от членов ЦК. Мы привели эти данные для того, чтобы показать, кто каким авторитетом пользовался в партии при Ленине, кто шел впереди Сталина, кто наступал ему на пятки и кого он боялся всю жизнь.

Сталин, чтобы показать, что он не злопамятный, что в партии наступает мир, дал указание Кагановичу обеспечить избрание в центральные органы и некоторых бывших оппозиционеров. В голосовании принимали участие 1225 делегатов, из них 195 — от КП(б)У. Кто как голосовал, мы никогда не узнаем, да и не будем гадать, но результаты голосования оказались прямо-таки потрясающими для Сталина. В члены ЦК был избран 71 человек, кандидатами в члены — 68 человек, от КП(б)У — соответственно 9 и 8. А. П. Любченко был избран кандидатом в члены ЦК. Из лидеров бывшей оппозиции Г. Л. Пятакова избрали в члены ЦК, а Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, М. П. Томского — кандидатами в члены ЦК ВКП(б): все они прошли, к удивлению «вождя», почти без потерь голосов. Никуда не пустил Сталин своих самых опасных и влиятельных конкурентов и оппонентов — Г. Е. Зиновьева, А. Б. Каменева, Е. А. Преображенского. А против

Сталина проголосовало... свыше трехсот делегатов, то есть почти четверть голосовавших; против С. М. Кирова — 3 человека.

Когда Каганович сообщил об этом Сталину, тот потрясенно пробормотал: «Сделайте так, чтобы и против меня было только три голоса». И любимый «железный нарком» «сделал». Председатель счетной комиссии В. П. Затонский объявил: «В состав руководящих органов партии избраны товарищи, предложенные совещанием всех делегаций», и зачитал список избранных без указаний, сколько «за» и сколько «против». По результатам голосования (при почти трехстах «против») Сталин проходил в члены ЦК: ведь по инструкции, чтобы не быть избранным, должно было быть более 50 процентов «против». Тем не менее Сталин побоялся правды, стал на путь обмана партии, заставив счетную комиссию через Кагановича и Затонского скрыть точные результаты выборов... Это было еще одно неслыханное преступление Сталина. Оказывается, на пути к диктаторству и самодержавному режиму все методы, приемы и средства годны.

По мнению делегатов съезда С. И. Гопнер и Р. Я. Терехова, Сталин удержался в седле в значительной степени благодаря выступлениям лидеров бывшей оппозиции, которые произвели сильнейшее впечатление на сотни делегатов съезда, хотя вводили многих в заблуждение; значительная часть участников съезда обрадовалась, что видные, незаурядные партийные и государственные деятели, представители ленинской гвардии, близкие друзья Ильича, возвращаются в партию для плодотворной работы, что в партии наступит мир. Расчет Сталина допустить некоторых бывших лидеров оппозиции на время в ЦК оказался точным.

После съезда были избраны Политбюро, Оргбюро и Секретариат. Членами Политбюро были избраны: А. А. Андреев, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, М. И. Калинин, С. М. Киров, С. В. Косиор, В. В. Куйбышев, В. М. Молотов, Г. К. Орджоникидзе, И. В. Сталин. Сразу заметим, что за исключением Кирова, Куйбышева и Орджоникидзе, о которых разговор еще впереди, всем остальным из этого списка может, нет — должен быть! — предъявлен большой счет за преступления против народа, за 1937 год и за все трагическое в нашей истории в последующие годы.

28 апреля 1934 года ЦИК УССР утвердил А. П. Любченко председателем правительства республики, его избрали также членом Политбюро ЦК КП(б)У. Вскоре столица Украины была переведена из Харькова в Киев. 24 июня 1934 года, в день приезда правительства в Киев, был дан торжественный салют — 101 артиллерийский залп. На республиканском стадионе «Динамо» состоялось торжественное заседание Киевского горсовета. Уезжая из Киева в Харьков в 1927 году в должности председателя горсовета, Любченко вернулся теперь сюда в качестве председателя правительства Советской Украины.

«Наследство» ему досталось незавидное: республика еще не успела залечить тяжелые раны, нанесенные голодом. И тем не менее у нового предсовнаркома сразу появились завистники, недоброжелатели, обойденные в должностях. Любченко, по их мнению, не мог быть главой правительства — ибо он-де выходец из партии боротьбистов, а значит, в соответствии с примитивной логикой сталинизма, — бывший враг.

В числе «обиженных» были в первую очередь члены Политбюро ЦК КП(б)У — нарком внутренних дел УССР В. А. Балицкий и второй секретарь ЦК КП(б)У П. П. Постышев. Вскоре к ним примкнет и секретарь ЦК КП(б)У по идеологии Н. Н. Попов — член партии с 1919 года, в прошлом активный меньшевик. Последний сыграет наиболее неблагоприятную и подлую роль в судьбе А. П. Любченко. Были и другие «обиженные». В 1937 году они будут со всей яростью нападать на Любченко. Некоторые завистники открыто вели разговоры об этом в семьях, среди друзей. Все методы оказались хороши — вплоть до открытой компрометации. Так, Любченко умышленно не избирали в президиум той или иной конференции, хотя там красовались Балицкий, Постышев, Попов. Балицкий на одном из вечеров, например, зло бросил в зал: «Но Любченко ведь боротьбист».

В таких условиях работать было нелегко. А. П. Любченко неоднократно рассказывал об этом С. В. Косиору и спрашивал: почему его открыто компрометируют, почему такое отношение к бывшим боротьбистам? Реакции не последовало...

Но надо было исправлять положение в республике. И Совнарком Украины под

руководством А. П. Любченко разработал десятки постановлений, направленных на быстрое восстановление сельского хозяйства, особенно животноводства, пострадавшего после 1933 года больше всего. Под руководством партийных организаций народ поднимался на борьбу с запустением, выполнял и перевыполнял производственные задания. На фабрики и заводы, в колхозы и совхозы стала поступать новая техника, развернулось массовое социалистическое соревнование — стахановское движение в промышленности, на транспорте и сельском хозяйстве. А. П. Любченко, как всегда, — в гуще трудящихся. Он выступает на съездах стахановцев различных отраслей народного хозяйства, глубоко анализирует его развитие, докладывает на пленумах ЦК КП(б)У о планах проведения посевных и уборочных кампаний, посещает фабрики и заводы, колхозы и совхозы, изучает их нужды, ищет новые пути решения назревших проблем.

Важную роль в этом он отводил комсомолу. Выступая на пленуме ЦК АКСМУ (май 1934 г.), он поставил перед ним следующие задачи: а) освоение новой техники, организация учебы колхозников в массовом масштабе за овладение агротехническими, зоотехническими и ветеринарными знаниями; б) подъем животноводства и создание для него кормовой базы; в) борьба за культуру быта в широком смысле слова; г) улучшение работы школы всех ступеней и систем (политическое, физическое, эстетическое воспитание детей); д) овладение всеми молодыми кадрами, прежде всего комсомолом, марксизмом-ленинизмом и воспитание в этом духе всей молодежи; е) военнопатриотическое воспитание, широкий подход за овладение всеми, кому от 17 до 30 лет, военной техникой: массовая подготовка танкистов, летчиков, артиллеристов и т. д. «Наша задача, — говорил он, — чтобы каждое село, каждый колхоз, каждая фабрика и завод были готовы к будущей войне».

К концу 1935 года в республике были достигнуты заметные успехи в развитии экономики и культуры, особенно прибавили в темпах промышленность и сельское хозяйство. Улучшилось материальное положение трудящихся.

20 декабря 1935 года ЦИК СССР награждал орденами Ленина за успехи в области сельского хозяйства и промышленности и за перевыполнение государственных планов по сельскому хозяйству

С. В. Косиора, А. П. Любченко, первого секретаря Харьковского обкома партии М. Н. Демченко; первого секретаря обкома партии В. И. Чернявского и председателя облисполкома А. А. Трилисского (Винница); первого секретаря обкома партии П. П. Постышева (тогда второй секретарь ЦК КП(б)У был одновременно и первым секретарем Киевского обкома партии) и председателя облисполкома М. С. Василенко (Киев); первого секретаря обкома партии С. А. Саркисова и председателя облисполкома Н. Г. Иванова (Сталино — ныне Донецк); первого секретаря обкома партии М. М. Хатаевича и председателя облисполкома И. А. Гаврилова (Днепропетровск); председателя Совнаркома Молдавской АССР (входившей тогда в УССР) Г. И. Старого. (Все они в 1937—1939 годах будут расстреляны по сфабрикованным обвинениям).

Напряженным был для А. П. Любченко и 1936 год. Он выступил в Георгиевском зале Кремля при закрытии декады Украинского искусства в Москве, когда Киевский оперный театр наградили орденом Ленина. Театр был первым орденосным художественным коллективом Советского Союза. В ноябре этого же года Любченко выступил (первым!) с прекрасной речью на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов при обсуждении проекта Конституции СССР, в которой нарисовал картину величественных побед социализма в республике и заявил, что украинский народ единодушно одобряет проект Конституции. И действительно достижения были!

Много внимания уделял А. П. Любченко разработке конкретных решений, направленных на дальнейшее развитие всех отраслей народного хозяйства республики, организации контроля за их выполнением. Наряду с этим он, как председатель Конституционной комиссии, много работал над текстом Конституции республики и 31 декабря 1936 года сделал доклад на заседании ЦИК Украины. Проект одобрили.

«ДАЙ БОГ НАМ ВСЕМ ПЕРЕЖИТЬ 1937 ГОД»

И вот — новый, 1937 год. Новогодний праздник А. П. Любченко встречал в семейном кругу. Каким будет этот год, что принесет он стране и близким?.. Осуждений для тревог, несмотря на все удаchi 1936-го, было более чем достаточно.

Ведь премьер Украины хорошо понимал, что в партии и стране происходит нечто страшное. Одно из свидетельств — рассказ его сестры Варвары. Она вспоминала, что в тот вечер Афанасий Петрович сказал: «Дай бог нам всем пережить 1937 год...»

Чем же вызывалась тревога? Ведь 1933-й был уже далеко позади!

А тем, что еще с конца 1934 года в стране и партии возникла и стала нарастать остро-тревожная ситуация: сталинский режим в открытую перешел к методу государственного терроризма. Результаты голосования на XVII съезде ВКП(б), загадочное убийство после него С. М. Кирова послужили предлогом для развертывания репрессий и террора. Так как следствие связывало убийство Кирова с зиновьевцами, уже в декабре 1934 года на скамью подсудимых попала большая группа видных деятелей партии и правительства. И хотя никаких прямых улик и доказательств о причастности к убийству Кирова не было, Зиновьева осудили к 10, Каменева — к 5 годам тюремного заключения, осуждены были и все остальные, проходившие по этому процессу.

Средства массовой информации начали нагнетать обстановку истерии и врагомании в стране, призывая трудящихся искать и разоблачать врагов. Один за другим стали проходить десятки закрытых и открытых процессов, на которых расправлялись с «врагами народа», «иностранными шпионами и диверсантами». Вершиной беззакония явились специально созданные несудебные органы — так называемые «тройки», «особые совещания», а также практика составления списков... кандидатов для осуждения, для расстрела. Фальсификация политических процессов превратилась в обычное явление. На Украине такие процессы начали практиковать еще в середине 20-х годов. Их инициаторами и организаторами являлись нарком внутренних дел УССР В. А. Балицкий, работник этого же наркомата И. М. Леплевский, впоследствии нарком внутренних дел Белоруссии (был и еще один Г. М. Леплевский — брат первого — подручный кровавого Вышинского). А санкционировали всю эту вакханалию произвола и беззакония лично А. М. Каганович, С. В. Косиор, П. П. Постышев.

Любому элементарно грамотному человеку было ясно, что новоявленные «бонапартисты» и «термидорианцы» расчищают путь к установлению ничем не ограни-

ченной диктатуры небольшой группы перерожденцев — во главе с «мудрым, добрым, думающим о благе всего народа и любимым всеми отцом». Прославление Сталина, его обожествление, курение ему фимиама, холуйство и подхалимство перед ним, шпионomanия, провокационные, ложные, бессмысленные доносы достигли апогея.

«Великому кормчему» все это было по душе. В подобных условиях ему легче стало расправляться с неугодными и недовольными — а таких было в партии уже много. Росло недовольство произволом и среди трудящихся. Положение в партии и стране усложнялось и тем, что в республиках, краях и областях появились свои «мини-вожди», «культы» и «культики», которые во всем пытались следовать примеру «старшего вождя», творя и поощряя беззаконие и террор. Именами «местных вождей» стали называть области, города, районы, села, сотни заводов, фабрик, научно-исследовательских и учебных институтов, колхозов, совхозов, дворцов культуры, пионеров и т. п. В Днепропетровской области, например, появились Чубаревский и Косиоровский районы, в Киевской — Кагановический, в Винницкой — район им. Затонского и т. д. 5 ноября 1936 года в газете «Комуніст» были помещены две большие фотографии с подтекстовкой: «Бюсты С. В. Косиора и П. П. Постышева, работы заслуженного деятеля искусств профессора И. Г. Манизера. Изготовлены из фарфора на государственном фарфоро-фаянсовом заводе им. Ломоносова в Ленинграде». Заметим, что свои бюсты «вожди» постарались изготовить как можно скорее, хотя памятник Т. Г. Шевченко в столице был изготовлен значительно позже. Примеру Косиора и Постышева последовали некоторые первые секретари обкомов.

В конце 1936 — начале 1937 года в республиканском руководстве вновь сильно обострились отношения в связи с претензиями на пост председателя Совнаркома между Афанасием Петровичем, с одной стороны, и В. А. Балицким, П. П. Постышевым (Постышев претендовал и на пост первого секретаря ЦК КП(б)У) и Н. Н. Поповым — с другой. Последний состряпал «дело» на Любченко, поехал с ним к Сталину, просил освободить Любченко от работы и арестовать его. Балицкий же собирал и фабриковал компрометирующие материалы на Любченко еще с 1933 года. Ездил «по вопросу о Любчен-

ко» к Сталину и С. В. Косиор, прося разрешения на его арест, — что впоследствии, в августе 1937 года, он открыто и поставил себе в заслугу. Но Сталин из каких-то соображений не дал тогда согласия на арест премьера Украины.

Вот тогда и возникла мысль, о которой цинично поведал Косиор, выступая на августовском (1937 г.) Пленуме ЦК КП(б)У: «Товарищи! Когда были вскрыты контрреволюционные организации правых и троцкистов и в Москве, и в целом ряде других организаций, в том числе у нас на Украине, когда была вскрыта организация Якира, которую возглавляли Якир, Попов, Шелехес и другие, тогда для нас было совершенно ясно из целого ряда показаний, что все эти контрреволюционные организации действовали в блоке, единым фронтом и работали на одного хозяина — на германский, немецкий фашизм, на японцев и т. д... Одним словом, все они работали на фашистские государства и готовили поражение нашей стране на случай войны. И вот тогда нам всем казалось странным... что в этой цепи контрреволюционных организаций не видно одной очень существенной организации, одного существенного звена — украинского националистического звена... Казалось совершенно странным и невероятным, чтобы здесь не было этого самого звена — украинской националистической организации. Она должна быть. И вот только теперь работой органов НКВД под руководством тов. Леплевского на Украине мы это звено вскрыли, вытащили».

Кто первый подал идею соединить бывших боротьбистов с так называемым «заговором военных» и создать крупномасштабное дело? Ежов, Балицкий, Сталин, Косиор или еще кто-то другой? Установить это сейчас почти невозможно. Но бесспорно одно — что Косиор лично принимал в этом самое активное участие.

Еще осенью 1936 года органы НКВД состряпали дело на начальника Управления искусств при Совнарком УССР, члена ЦК КП(б)У и Коминтерна А. А. Хвылю (в прошлом боротьбиста), обвинив его в национализме и контрреволюционности. Допрашивали его в Москве два «сталинских сокола» — Ежов и Каганович. А. П. Любченко проявил тогда исключительную порядочность и смелость. Вот как об этом говорил Косиор: «Любченко тогда спас Хвылю своим заступничеством и самого себя подставил. Ездил к Сталину и такой был разговор: «Если

вы мне верите, то это неправда». Сталин поверил или сделал вид, что поверил Любченко, и Хвилью отпустили. Это была небывалая пощечина органам НКВД. Любченко, думая, знал, что этим «дело» не закончится.

Стоит ли удивляться, что 1937 год и в самом деле подтвердил худшие опасения, — стал пиком произвола и беззакония? В Москве и в других городах, а на Украине даже во всех райцентрах, более того, во многих селах, проходят десятки крупных и малых «политических процессов». Приговоры подсудимым, в большинстве случаев, — высшая мера наказания...

Обстановка в стране оказалась накаленной до предела. Всюду — всеобщая политическая подозрительность, массовые доносы; средства массовой информации и агитации, захлебываясь от ненависти, требуют крови и крови. Ее требуют также и трудящиеся на митингах, организованных работниками партаппарата и НКВД. Судят ведь «врагов народа», «шпионов», «контрреволюцию»! Не зная истинного положения, трудящиеся массы верят правоохранительным органам: ведь они защищают «любимого Сталина»!

16 января 1937 года пленум Киевского обкома партии, проходивший с участием Кагановича, освободил Постышева от обязанностей первого секретаря, обвинив его в «вождизме», в развале работы Киевской областной партийной организации, в пособничестве «врагам народа». То, что Постышев рвался в «вожди» украинского народа — не подлежит сомнению, но кто скомпрометировал Постышева в глазах Сталина — это еще требует доисследования. Ясно одно: его освободили с согласия Косиора и, думая, последнего это не могло не радовать. А 18 марта 1937 года в печати появилось сообщение, что П. П. Постышев освобожден и от обязанностей второго секретаря ЦК КП(б)У в связи с переходом на другую работу.

Итак, победу в многолетней борьбе за абсолютное лидерство на Украине одержал Косиор. Но... лидировать он будет недолго.

После февральско-мартовского (1937 г.) Пленума ЦК ВКП(б) за всеми бывшими боротьбистами, которые занимали руководящие посты (наркомы, заместители наркомов, заместители председателя Совнаркома), по указанию Балицкого и не без согласия Косиора, был

установлен надзор. Установили его и за А. П. Любченко. Как писал в протоколе допроса в прокуратуре Киевского военного округа от 6 июля 1956 года чудом выживший порученец А. П. Любченко, чекист с 1923 года Д. В. Коновалов, сводки наружного наблюдения за Любченко и его семьей направлялись в НКВД, который «разрабатывал» его как «бывшего боротьбиста». В сводках упоминались все лица, посещавшие квартиру и дачу, общавшиеся с Любченко даже по телефону.

Знал ли Любченко об этом? Думается, да. Это был опытный политик, прекрасный конспиратор еще с дореволюционных времен, к тому же председатель Совнаркома. Он знал, что делается в республике. При этом надо иметь в виду, что заместителем наркома внутренних дел УССР по милиции работал его старый товарищ, тоже бывший боротьбист Н. С. Бачинский, который вместе с Любченко сидел в камере смертников и был приговорен Центральной радой к расстрелу еще в восемнадцатом. Бачинский наверняка знал обо всем этом и не мог не сообщить ему.

Но, не чувствуя за собой никакой вины, премьер трудился честно и добросовестно до последних дней своей жизни. 25 января 1937 года он сделал доклад на Внеочередном XIV съезде Советов республики о проекте Конституции УССР. В докладе отражались история Украины, борьба украинского народа за социальное и национальное освобождение, показывались изменения, которые произошли в республике за годы Советской власти. 30 января съезд единодушно утвердил Конституцию УССР.

Зима и весна 37-го прошли в заботах по подготовке к посевной и уборочной кампаниям. За подписью А. П. Любченко были изданы десятки постановлений Совнаркома об уходе за посевами зерновых и технических культур. Для проверки, как они выполняются, он посетил почти все области, беседовал с колхозниками и рабочими совхозов, выступал перед учителями, принимал делегацию борющейся Испании и т. д. — ему был чужд кабинетный стиль работы.

С 27 мая по 3 июня 1937 года он принимал активное участие в работе XIII съезда КП(б)У. Съезд проходил в исключительно напряженной, предгрозовой обстановке. В это время в Москве Ежов и Ульрих уже готовили процесс над участниками так называемого «военного заговора»: М. Н. Тухачевским, И. П. Убере-

вичем, А. И. Коркой, Р. П. Эйдеманом, Б. М. Фельдманом, В. М. Примаковым, В. К. Путной. В первые дни съезда К. Е. Ворошилов по заданию Ежова выманил в Москву командующего войсками Киевского военного округа, члена ЦК ВКП(б), члена Политбюро ЦК КПБУ, командарма 1-го ранга И. Э. Якира. По дороге, в Брянск, его арестовали и тоже обвинили в принадлежности к этому «заговору». Средства массовой информации и «миллионы трудящихся» на митингах стали требовать одного — высшей меры наказания всем этим военным...

На съезде КП(б)У только и слышны были слова похвалы в адрес Сталина и здравицы в его честь. В приветствии Сталину, подготовленном аппаратом ЦК КП(б)У и санкционированном Косиором, которое мастерски и эффектно прочитал А. П. Любченко, имя Сталина прозвучало 9 раз и заканчивалось словами, что коммунисты Украины приложат все усилия, чтобы «выявить, вскрыть, до конца добить правотроцкистскую и националистическую гадину, агентов гестапо и польских панов». Любой, читавший статьи и речи Любченко, скажет, что это не его почерк и слова. Но, идя на сделку с совестью, Афанасий Петрович произносил с трибуны именно их...

В отчетном докладе ЦК съезду, с которым выступил С. В. Косиор, имя Сталина упоминалось более 50 раз (в газетном изложении, стенографический отчет не публиковался). Глубокого анализа экономического и социального развития республики в докладе нет, какие-либо серьезные рекомендации на перспективу — отсутствуют. Главное, мол, — разгромить врагов народа, этому — все внимание...

Примеру Косиора следовали и другие ораторы. В своем выступлении «Вывести Украину на первое место в СССР» А. П. Любченко упомянул имя Сталина около 20 раз. Думается, что в тех условиях и невозможно было поступать иначе. Не назови председатель Совнаркома имя «дорогого вождя» минимум десятков раз, его немедленно обвинили бы в нелояльности, контрреволюционности, сразу же поставили бы клеймо «враг народа». Но в его выступлении есть не только дифирамбы в адрес Сталина, — есть и очень резкие, несущие большую смысловую нагрузку, критические ноты. Анализируя недостатки в работе некоторых парторганизаций, он сразу же начал со слов: «Холуйство и подхалимство — фимиам, который так щедро чадят руководителям

холуй, — это одна из форм новой тактики врагов-двурушников... Холуйство и подхалимство способствуют головомозию, особенно переоценке некоторыми руководителями своих личных качеств». Если глубоко вдуматься в смысл этих слов, их содержание, а также учесть время, когда они произносились, — не ясно ли станет, что здесь Любченко был глубоко прав и что мы имеем здесь дело с эзоповым языком, с попыткой высказаться против проповеди культа личности Сталина, с бичеванием его наиболее рьяных подхалимов? И хотя эти слова прямо не адресовались Сталину, тем не менее надо было иметь незаурядное мужество, чтобы их произнести с трибуны партийного съезда. Во всяком случае подобное не звучало ни в одном из выступлений делегатов! В том же выступлении Любченко — более чем за четыре года до трагедии первых дней Великой Отечественной — предупреждал: «нападение фашисты готовят внезапное»... И пояснил: «Гитлер во время Нюрнбергского съезда 1935 года на банкете сказал: «Если я когда-нибудь захочу напасть на противника, то я это сделаю по-иному, чем Муссолини. Я не буду в течение месяца вести переговоры и подготовку, а как я это делал всегда в своей жизни, мгновенно наброшусь на врага, как молния среди темной ночи». А чтобы фашистская молния не вспыхнула внезапно, нам надо быть во всеоружии, быть готовым к войне, надо помнить, что в случае войны на Украине не будет фронта и тыла, вся республика должна быть готова к обороне. Надо помнить, что теперь не будет никаких ультиматумов, переговоров и т. п.»

Угроза фашистского нападения приближалась с каждым днем. Но, к сожалению, Сталин и его окружение в эти годы видели главного врага не в фашизме, а внутри страны, в командном составе Красной Армии, в партийно-советском активе — и преступно уничтожали их...

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО

Летом и в последующие месяцы 1937 года во всей стране развернулись массовые репрессии. Как же вели себя в этих экстремальных условиях члены Политбюро ЦК ВКП(б), руководящие работники союзного и республиканского масштаба? Как встречали они свой последний час? Были ли люди, которые не мирились с произволом в стране?

Да, были. Одни предпочитали высшую форму протеста, героическую смерть — кончали самоубийством, как это сделали члены ЦК Н. А. Скрыпник, Г. К. Орджоникидзе, М. П. Томский, Я. Б. Гамарник (член ЦК партии, начальник Политуправления РККА), А. Г. Червяков (председатель ЦИК Белоруссии). Другие героически переносили пытки, шли на смерть с верой, что история их оправдает. Третьи не могли переварить «отбивные», приготовленные по-ежовски, хотя в дореволюционное время не раз пробовали и переваривали «отбивные» «столыпинские», — и оговаривали себя и сотни своих товарищей в совершении тягчайших преступлений. Была и четвертая группа людей: их ни в чем не обвиняли, но они пытались выслужиться, взобраться на более высокую ступень иерархической лестницы власти, соревновались в раскрытии мифических «врагов народа». К ним принадлежал и член Политбюро ЦК ВКП(б) С. В. Косиор. Наконец, последняя и самая большая группа руководителей — это честные работники, не видевшие выхода из создавшегося положения. Они самоотверженно трудились, не строчили клеветнические письма, но — молчали... Это относится к большинству руководителей, особенно среднего и низшего звеньев. За ними и шел советский народ. Не в Сталина он верил слепо, как это кое-кто пытался изображать до сих пор, а в идеалы социализма, в Коммунистическую партию, созданную В. И. Лениным.

Приведем несколько документов, которые еще не известны широкому кругу читателей. Вот письмо И. Э. Якира, написанное на имя Ежова 7 июня 1937 года, за четыре дня до вынесения ему смертного приговора и казни. Выдержав все испытания, он дает объективную картину дел на Украине, надеясь, что это поймут Сталин и Ежов и перестанут уничтожать руководящие кадры республики. От И. Э. Якира добивались признания, что Балицкий — участник военного заговора. Не скрывая своих дружеских отношений с Балицким, Якир, чтобы прояснить обстановку на Украине, смело пишет:

«Я должен сообщить о специфическом, чтобы не сказать сознательно фальсификационном, подходе к некоторым делам со стороны Балицкого и его людей. Наряду с большой работой по борьбе с контрреволюцией, проведенной на Украине, были и такие дела. Я имею в виду дело Любченко-Хвыли. Я не берусь говорить с полной определенностью об этих людях,

хотя думаю, что будучи людьми «другого сорта» (имеется в виду, что это выходцы из боротьбистов — авт.), — они всерьез связали свою судьбу с Советской властью. Но не об этом я хотел сказать, это надо всегда проверять, а о том, что материалы на них готовились, примерно, по такому принципу: мало пяти последних сводок и показаний — пошлем еще пять, а их окажется мало — еще добавим. Говорилось это тогда, когда неизвестно было: будут ли еще и откуда такие сводки. В этом вопросе, как мне всегда казалось, решающее значение имели отношения в пределах республики и ЦК: как это Любченко вылезет вперед Балицкого по положению как Председатель Совнаркома Украины. Я знаю, что в этом вопросе с Балицким был и Постышев, мало того, проявлял большую активность и настойчивость. Оба они, и Балицкий, и Постышев, ругали меня за поддержку «петлюровцев», хотя я это знал по переданной мне директиве руководства партии».

Сколько благородства, мужества и честности в этом документе! Во-первых, Якир и под страшными пытками объективно излагает обстановку в ЦК КП(б)У в 1937 году. Он никого не оговаривает в принадлежности к так называемому военному заговору. Во-вторых, показывает, как стряпались «дела о контрреволюции» вообще и «дело Любченко-Хвыли» в частности, свидетельствует, что он знал (через военную разведку), что это дело готовилось заранее. В-третьих, он искренне хочет защитить руководящие кадры Украины от разгрома.

А как вели себя люди, с которыми И. Э. Якир дружил и не оговаривал их? Н. Н. Попов, арестованный 17 июня 1937 года, буквально через несколько дней — 22 июня — дает показания о том, что именно Якир еще в 1935 году завербовал его и большую группу людей в «военно-фашистскую организацию» с целью убийства Сталина и свержения Советской власти. В числе лиц этой группы названы: В. А. Балицкий, А. П. Любченко, второй секретарь ЦК КП(б)У М. М. Хатаевич и многие другие. Попов указал при этом, что с поляками связаны Косиор, Постышев и Любченко...

В. А. Балицкий был арестован по ордеру № 15 без даты за подписью лично Ежова 7 июля 1937 года в служебном вагоне. (Якира, в числе других, к тому времени уже расстреляли). На допросах Балицкий «признал свою вину», сказав,

что в конце 1935 года был завербован И. Э. Якиром. А на допросе 26 июля заявил, что сам завербовал для заговора своих заместителей Н. С. Бачинского, В. Т. Иванова, начальников многих управлений наркомата и областных управлений НКВД Украины. Но фамилию А. П. Любченко не называл.

Однако события разворачивались стремительно. В июне 1937 года наркомом внутренних дел УССР назначают И. М. Леплевского — верного слугу Ежова, работавшего до этого наркомом внутренних дел БССР и уже успевшего залить кровью всю Белоруссию. Он рьяно принялся за разработку «боротьбистского дела». 13 августа вторично арестовали А. А. Хвылю, а через несколько дней — и многих других бывших боротьбистов. Не выдержав тяжелейших пыток (в основном это были люди пожилого возраста), арестованные начинают оговаривать себя. Но нужен вождь этой мифической контрреволюционной организации. И вот А. А. Хвыля, некоторые другие заявляют: А. П. Любченко является их руководителем.

Сакраментальный вопрос: а знал ли Сталин о тех беззакониях, которые творил Ежов? Безусловно, знал. Более того — дал указание творить их, пытать людей именно он. Он лично проводил очные ставки и допросы в присутствии членов Политбюро! В связи с «украинским делом» Сталин вызвал А. П. Любченко и С. В. Косиора на 22 августа на очную ставку с арестованными — бывшими боротьбистами, где А. А. Хвыля отказался от своих прежних показаний и заявил, что он оговорил себя, А. П. Любченко и всех других, утверждая, что никогда не было и нет никакой подпольной организации среди бывших боротьбистов. Вот как он, со слов С. В. Косиора, отвечал на вопросы Сталина: «Я налгал на себя и на Любченко». Когда его спросил товарищ Сталин: А Таран националист? Нет, говорит, честный человек. А Войцеховский националист? Нет, говорит, честный. А Триласский? Говорит, нет, он честный».

И вот какое заключение цинично делает Косиор в августе: «Видите, не только себя, всю свою компанию решил выгородить. Ясное дело, что человек лжет, и больше ничего». На этом же Пленуме Косиор поставит себе в заслугу, что он сам допрашивал старика Ю. А. Войцеховского — заместителя председателя Верховного суда УССР — «два раза, один

раз: здесь, у тов. Леплевского, и другой раз там — в Москве. Это волк, настоящий серый волк».

Надо отдать должное А. П. Любченко, его редкостному мужеству и уверенности в том, что все упомянутые люди оговорили и себя, и его. Он на очной ставке у Сталина опять встал на защиту А. А. Хвыли и других, доказывал, что они честные люди, что никакой контрреволюционной организации нет. Но члены Политбюро не поверили ни А. П. Любченко, ни А. А. Хвыле. 23 августа было принято решение передать вопрос об антисоветской контрреволюционной организации бывших боротьбистов и о принадлежности к ней А. П. Любченко на рассмотрение ЦК КП(б)У.

Почему Сталин решил это дело передать на рассмотрение ЦК КП(б)У? Ранее такого прецедента не было. Ведь «дела» членов Политбюро ЦК КП(б)У Якира, Попова, Хатаевича, Шелехеса не передавались на рассмотрение в республику. Так почему же Сталин и Ежов не арестовали премьера Украины? Может быть, сыграл свою роль отказ А. А. Хвыли от своих прежних показаний? Отвечать однозначно на эти вопросы пока трудно. Пока это загадка. Но мы считаем, что уже тогда Сталин и Ежов предрешили судьбу А. П. Любченко, будучи уверенными, что Косиор, Леплевский и другие с «честью» выполнят это задание, что Любченко не спастись, и что, кроме того, его кровью «вождь» повяжет многих провинциальных своих приспешников. Пленум ЦК КП(б)У был назначен на 29 августа...

ТРАГИЧЕСКИЙ ПЛЕНУМ

Этот Пленум открыл С. В. Косиор. Он и предложил повестку дня: 1. Сообщение о раскрытой националистической антисоветской организации. 2. Текущие дела.

Слово для предложения Косиор предоставил С. А. Кудрявцеву — секретарю Киевского обкома партии и давнему сослуживцу Берии. Кудрявцев сообщил, что за последнее время в составе ЦК КП(б)У разоблачен и арестован ряд врагов партии и народа, и внес предложение исключить из состава ЦК следующих лиц: М. М. Хатаевича (второй секретарь ЦК) — из состава членов ЦК, Политбюро и Оргбюро; С. А. Саркисова (первого секретаря Донецкого обкома партии) —

из состава членов ЦК и кандидатов в члены Политбюро ЦК; С. И. Андреева (первого секретаря ЦК ЛКСМУ), П. Ф. Маркитана (первого секретаря Черниговского обкома партии), В. И. Порайко (заместителя председателя СНК УССР) — из состава членов ЦК и членов Оргбюро ЦК; В. Н. Струца и И. А. Просвирина — из составов членов ЦК и кандидатов в члены Оргбюро ЦК. Из членов ЦК: Борща, Василенко, Иванова, Иванова (второго), Исаева, Кузьменко, Кулика, Тодреса, Товстопята, Хвылю. Из кандидатов в члены ЦК: Богатырева, Тарана, Шафоренко, Милха, Степанского, Голуба (Молдавия) и других (стенографистка, сильно торопясь, записала только слово — перечень). Проголосовали единогласно, следовательно, «за» голосовал и А. П. Любченко.

Это был, пожалуй, самый трагический Пленум в истории Компартии Украины. Такого разгрома руководящих кадров республики никогда еще не было.

Затем С. А. Кудрявцев предоставил слово С. В. Косиору. Прочитируем лишь первый абзац его речи:

«Товарищи, я должен доложить всем о раскрытой органами НКВД украинской националистической организации, руководство которой состояло, главным образом, из бывших боротьбистов, а также о связях с этой организацией члена Политбюро ЦК КП(б)У и председателя Совнаркома Украины тов. Любченко, во всяком случае по тем материалам, которые у нас на этот счет имеются». Какая категоричность, как будто бы все это уже проверено и доказано в судебном заседании!

Длинное выступление С. В. Косиора в основном было построено на оговоре А. П. Любченко со стороны А. А. Хвыли и других арестованных, на материалах, состряпанных Леплевским. Но были и дополнения, сделанные лично С. В. Косиором. Афанасий Петрович обвинялся во многих грехах, которые не упоминаются в оговорах (напомним, что А. А. Хвыля отказался от всего на очной ставке у Сталина). Трудно судить, что побудило С. В. Косиора так выступить: страх перед Сталиным, желание выслужиться, свойственные ему левацкие замашки или же слепое доверие органам НКВД? Ведь этим выступлением он расписывался в своей собственной слепоте, выносил и себе приговор. Ведь в показаниях многих арестованных, которые он объявлял безусловной истиной, были многочисленные оговоры и... на него!

Характеризуя А. П. Любченко, Косиор пытался быть якобы объективным, — но тут же противоречил себе. Так, когда одним из аргументов в свою пользу А. П. Любченко выдвинул свою честную работу за все время пребывания в КП(б)У, заявив, что его оклеветали, Косиор парировал: «Первый аргумент, что тов. Любченко работал честно. Я не могу ничего сказать такого, что порочило бы его работу. Скорее, наоборот. Говоря по совести, должен сказать, что мое глубочайшее убеждение было, что он честно работал и линию вел большевистскую. Тов. Любченко приводил целый ряд своих речей, выступлений и т. д. Действительно, он всегда выступал остро, красочно выступал, нам всем казалось, в том числе и мне, что выступает от всего сердца — это я должен сказать». А. П. Любченко бросает реплику: «Честным до конца остался!» А что Косиор? Он до конца разоблачает шаткость, мягко говоря, своих «аргументов»: «Мы тут не можем на этом останавливаться, не имеем права, тем более перед лицом таких фактов и даже некоторых улик, которые в отношении тов. Любченко имеются».

Приписывая главе правительства слабую и нерешительную борьбу с национал-уклонистами Шумским, Хвылевым, Скрыпником, С. В. Косиор обвиняет его в дружбе с Якиром и пытается доказать, что подпольная организация бывших боротьбистов на самом деле существовала и что действовала единым фронтом с «военно-фашистской организацией» И. Э. Якира. С. В. Косиор наговорил много нелепостей в адрес и командарма 2-го ранга И. Н. Дубового (командующего войсками Харьковского военного округа), и Н. Н. Попова, который якобы вел настолько широкую контрреволюционную работу, что собирать материал на него начали еще в 1933 году, хотя его и покрывал Балицкий, и М. М. Хатаевича, якобы олицетворявшего руководство и троцкистами, и правыми на Украине в одном лице. Подробно он остановился и на «роли Балицкого», который «хотел быть председателем Совнаркома после контрреволюционного переворота», пуская только пыль в глаза Косиору, что он «ведет борьбу с контрреволюцией, — а на самом деле покрывал эту самую контрреволюцию, мало расстреливал, не выдавал ни троцкистов, ни правых, ни националистов». (Все они, хотя и находились под арестом, но — кроме Якира — еще были живы. А их товарищ по партии, по работе

публично добивал их, обливал грязью и клеветой!).

Свою речь Косиор закончил словами: «Это все вместе заставляет здесь поставить вопрос — может ли Любченко оставаться в составе ЦК и на том посту, который он занимает, это по меньшей мере?»

Тут был объявлен перерыв до 11 часов 30 августа, и всех участников Пленума разделили на три группы — для ознакомления с материалами очных ставок в Москве у Сталина. 30 августа первым выступил А. П. Любченко. Его речь была грамотно построена, глубоко аргументирована с юридической точки зрения и очень убедительна. Он легко опровергал все обвинения, которые ему приписывались. Но ему буквально не давали говорить, засыпали вопросами. Особенно изощрялись в этом Леплевский, Кудрявцев, Е. А. Щаденко (член Военного совета Киевского военного округа, личный эмиссар Сталина по чистке армии и разгрому «гнезда Якира»).

Рассказывая о своей деятельности в КП(б)У, Любченко заметил, что в 1920—21 гг. довольно свободно выбирали, к какой партии примыкать. Он, тогда еще 23-летний юнец, «выбрал партию Ленина и активно боролся за ее решения... Я же эту Советскую Украину вместе с большевистской партией выстрадал, за нее, товарищи, боролся. Я был и остаюсь верным сыном ленинской партии, я никогда ей не изменял».

Его перебивает Кудрявцев: — Расскажите о показаниях Хвыли.

А. П. Любченко: — Он же в отношении меня сказал прямо, что он налгал.

Кудрявцев: — Он вообще заявил, что налгал и на себя, и на вас и что никакой организации не было и контрреволюционной работы не было, а потом на вопрос тов. Сталина он сказал: да, группировка была и что с вами он был близок.

Любченко: — Разве я говорю, что я не был с ним близок?

Кудрявцев: — Хвыля сказал, что он и на себя налгал, и на Любченко, и вообще все налгал, и на Трилесского налгал.

Любченко: — Это я все читал и все слышал. В отношении Трилесского и себя он должен будет дать следствию объяснения, но что в отношении меня он налгал — это для меня абсолютно ясно и не подлежит никакому сомнению.

Вопрос: — А как оценил ваши статьи и речи товарищ Сталин?

Любченко: — Сталин сказал, что мои статьи и речи были полезны для партии».

А вот вторая полемическая сценка:

«Любченко: «Нд, товарищи, мне, к сожалению, приходится говорить на этом Пленуме ЦК КП(б)У о том, что я не находился в антипартийной группе и в дружеской связи с Якиром, Поповым, Шелехесом, Балицким. Вот вы как хотите, хотите — верьте, хотите — нет».

Голос: «Так і ці брешуть на вас?»

Любченко: «Хто?»

Голос: «Якір».

Любченко: «Якір же на мене нічого не каже, і Балицький — не каже, і Попов — не каже. Так що ж ви кажете?» (А. П. Любченко не знал тогда об оговоре со стороны Попова)...

Бледный А. П. Любченко закончил свою речь с гордо поднятой головой, надеясь на объективность присутствующих, следующими словами: «Работа моя проходила на ваших глазах, вы ее видели, вы же ее каждый день наблюдали и уж во всяком случае тов. Косиор ее видел. И... в обстановке очень острой, когда мне предъявлено тягчайшее обвинение, он все-таки сказал, что работал Любченко неплохо. Я одного прошу у товарищей членов ЦК — судите меня не только по показаниям этих оболгавшихся наглецов, но судите меня и по моей многолетней работе, ибо я никогда не хныкал, а работал активно, никогда не уходил от трудного, сражался активно, не считаясь с тем, понравится ли это Балицкому, Якиру или Попову, или кому-нибудь другому. Я, знаете, защищал свои позиции крепко. Я вас уверяю, товарищи, что я никогда не отступал, и, что бы партия ни решила, никогда не отступаю, никогда не продам и не изменю ни партии, ни Сталину, ни нашему великому социалистическому строительству».

Первым после Любченко выступил В. П. Затонский, тот, который возглавлял счетную комиссию на XVII съезде ВКП(б) и фальсифицировал результаты выборов. От него вряд ли можно было ожидать чего-либо хорошего. К тому же он претендовал на пост Любченко. Затонский знал, что арестованный нарком совхозов УССР Н. Д. Межуев заявил, что «эту националистическую организацию возглавляют А. П. Любченко и В. П. Затонский». Оговаривали Затонского и другие арестованные. Вместо того, чтобы попытаться вскрыть несостоятельность всех этих обвинений, выбитых пытками, по отношению ко всем, Затонский начал трусливо выгораживать себя и обвинять в принадлежности к этой организации не

только А. П. Любченко, но и его жену М. Н. Крупеник — преподавателя Киевского университета, члена партии, председателя союза Работпроса. Афанасий Петрович легко опроверг лживые доводы В. П. Затонского и с сарказмом высмеял его. Вот небольшая сценка:

«Затонский: — Тов. Любченко оратор неплохой, его речи могут производить впечатление, но эта вряд ли произведет впечатление. Защита его была адвокатская, построенная на адвокатских приемах... Трудно допустить, чтобы все сговорились и валили на одного.

Любченко: — Как трудно верить? Тогда нет возможности защищаться: кто что сказал, то и правда. Работу вы снимаете. Факты снимаете.

Затонский: — Единственное объяснение, которое я могу дать, очевидно, что Межуев это говорил, чтобы поверили в авторитетность, и валил заодно — на Любченко и на Затонского.

Любченко: — Так же и на меня валили, чтобы поверили.

Затонский: — У меня могла бы возникнуть мысль, что валили для того, чтобы поверили, но не возникает, про себя-то я знаю, что прилепили (Смех).

Любченко: — Это замечательно. Готтентотская мораль. Про себя он не допускает! (Готтентоты — племя в Южной Африке, сами себя они называли еще «люди людей», т. е. «настоящие люди» — авт.).

Затонский: — Про себя-то я знаю (смех), отчего же сомнения будут возникать?»

Когда Затонский заявил, что на Крупеник было какое-то компрометирующее письмо еще в 1921 году и что она, очевидно, должна принимать участие в этом деле, А. П. Любченко спросил его прямо: «Зачем же вы давали ей самые хорошие рекомендации в 1936—1937 годах?»

Ответа не последовало. Народный комиссар просвещения и академик смешался...

Но затем опять попытался «утопить» товарища. Закончил свою речь В. П. Затонский так: «Маловероятно, прямо-таки невероятно, чтобы это был оговор. Что ваша фамилия могла для них быть полезна — это несомненно. И была полезна. Но, к сожалению, это было не только использование вашего имени, вашей фамилии, а — я не только боюсь, а прямо-таки не сомневаюсь в том, что вы в этом деле принимали участие. Из этого дела Пленум должен сделать выводы от-

носительно вашего пребывания в ЦК КП(б)У».

Н. Ф. Гикало, член Политбюро, первый секретарь Харьковского обкома партии, кричит: «Контрреволюционные сволочи, политические проститутки!» и требует: «вывести из всех органов А. П. Любченко, исключить его из партии и передать дело органам НКВД!» Такое же предложение вносят третий секретарь Киевского обкома партии П. А. Геращенко, а также М. И. Бондаренко (проработавший до этого всего несколько дней первым секретарем Винницкого обкома КП(б)У). Но были и такие члены и кандидаты в члены Политбюро, которые предпочли молчать, — Г. И. Петровский, К. В. Сухомлин, А. Г. Шлихтер и другие. Напомним, что из 16 членов и кандидатов в члены Политбюро, избранных на XIII съезде КП(б)У, своей смертью умерли только двое: Г. И. Петровский и А. Г. Шлихтер, да и то — изгнанные впоследствии из активной политической жизни.

В 15 часов был объявлен перерыв до 18.00. В 18.30 заседание открыл С. А. Кудрявцев.

Первым взял слово С. В. Косиор: «Я думаю, что работу Пленума придется изменить потому, что, видно, Любченко не желает отвечать, прошло уже полчаса, а он не является. Разрешите мне огласить некоторые документы. Я думаю, что мы должны будем принять соответствующее решение на этот счет. Сначала оглашу документ, который я получил: «Народному комиссару внутренних дел СССР Николаю Ивановичу Ежову от заключенного Хвыли...». Вот, товарищи, заявление Хвыли, которое он написал. Сейчас он дает развернутые и подробные показания. Надо сказать, что если Хвыля когда-нибудь говорил правду, то в этом заявлении».

Косиор говорил вдохновенно, прямо-таки с удовольствием...

Мы не можем категорически утверждать, о чем именно идет речь в письме Хвыли (в стенограмме его нет). Известно одно: Хвыля, видимо, не выдержав новых пыток, подтвердил свои прежние показания Ежову. (В судебном заседании он вновь категорически от них откажется).

После оглашения письма Хвыли С. В. Косиор еще минут 15 выступал, и под конец дал такую характеристику А. П. Любченко: «Тут правильно сказали товарищи, что он был заступником,

их отцом родным, этих бывших боротбыстов. Чуть кого обидят, моментально трезвон, и не только сюда, а и в Москву, к товарищу Сталину поедет жаловаться на всякого рода несправедливости. Я не хочу отрицать, что очень много крайностей было у того же самого Постышева. Очень много крайностей...»

С. В. Косиор предложил проект решения. В принятом единогласно решении говорилось, что «вскрытая органами НКВД Украины контрреволюционная украинская националистическая организация, которую возглавляли бывшие боротбысты, являлась агентурой польских панов и немецких фашистов, ставила своей целью при помощи интервенции фашистской Польши и Германии ликвидировать Советскую власть. Руководители буржуазно-националистической организации обязались отдать Польше и Германии значительную часть территории Украины. Занимая ряд ответственных советских и партийных постов, Хвыля, Войцеховский, Трилисский, Таран, Порайко, Маркитан и другие долгое время обманывали партию и прикрывали свою контрреволюционную, шпионскую и вредительскую работу против Коммунистической партии, Советского государства, против украинского народа. Эта буржуазно-националистическая организация находилась в самой тесной связи и контакте с разоблаченной ранее антисоветской организацией, возглавляемой Якиром, Балицким, Поповым».

Таким образом, была осуществлена идея — соединить бывших «боротбыстов» с мифической контрреволюционной организацией Якира, Балицкого и Попова.

Далее шел перечень мифического вредительства в промышленности, сельском хозяйстве, в развале колхозов и совхозов, умышленном уничтожении скота, хлеба, в организации ряда издевательств над людьми и т. д. и т. п.

«На основании материалов следствия и очных ставок Любченко с арестованными, — читаем далее, — а также на основании заявления Хвыли на имя Ежова, Пленум ЦК КП(б)У считает установленным, что Любченко не только был лично тесно связан с руководящей группой националистической украинской контрреволюционной организации, но и входил в состав руководства этой антисоветской организации. Она должна быть беспощадно разгромлена и выкинута как из рядов партии, так и из среды украинского наро-

да. Исходя из этого, Пленум ЦК КП(б)У постановляет:

1. Исключить Любченко А. П. из Политбюро и из состава членов ЦК КП(б)У.

2. Снять Любченко А. П. с поста Председателя Совнаркома УССР (так и записано «снять» — хотя этот вопрос мог решать только ЦИК УССР. — авт.).

3. Поставить перед ЦК ВКП(б) вопрос о выводе Любченко А. П. из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б) и об исключении его из рядов партии.

4. Передать дело Любченко А. П. в НКВД».

Пленум не имел ни юридического, ни фактического, ни морального права принимать такую резолюцию. Судебного разбирательства дела не было, а ведь только суд вправе определять виновность или невиновность того или иного лица. Резолюция свидетельствует о том, как далеко зашла фантазия ее составителей.

После принятия резолюции и 15-минутного перерыва С. В. Косиор заявил: «Я, товарищи, должен сначала сообщить, что пока мы с вами принимали решение, Любченко застрелился, подтвердив тем самым, что мы правильно это дело разобрали».

Косиор тут же предложил рекомендовать на пост Председателя Совнаркома УССР М. И. Бондаренко и избрать его членом Политбюро ЦК КП(б)У. Попутно заметим, что Бондаренко на этой должности проработал всего пару месяцев — позднее его тоже расстреляли. Так как в материалах, в показаниях арестованных упоминалась фамилия В. П. Затонского, С. В. Косиор внес предложение поручить Политбюро выяснить этот вопрос. Предложения С. В. Косиора были приняты единогласно. Заметим, что В. П. Затонский будет арестован 3 ноября того же года. Что послужило основанием для его ареста, пока неизвестно: оговорили со стороны бывших боротбыстов, очередное ли лживое письмо, или же... Сталин попросту решил его убрать как человека, знавшего об истинных результатах голосования на XVII съезде ВКП(б).

БЫЛО ЛИ САМОУБИЙСТВО?

Итак, Косиор сообщил на Пленуме ЦК КП(б)У, что Любченко покончил жизнь самоубийством.

Но на самом ли деле это так?

...В процессе реабилитации А. П. Люб-

ченко в 50-х годах выяснился ряд обстоятельств, которые дают немалые основания сомневаться в том, что Афанасий Петрович и его жена покончили жизнь самоубийством, а не были убиты.

И в пользу этого говорит ряд веских соображений.

Первое. История свидетельствует, что нельзя слепо верить официальным сообщениям того времени. Фальсифицировалось многое — не только судебные процессы, отдельные выступления и высказывания, но и вся отчетность и сообщения прессы. (Именно пресса в те годы больше всего упражнялась в фальсификациях).

Второе. А. П. Любченко и все участники Пленума до перерыва ничего не знали о письме А. А. Хвыли на имя Ежова. Думается, что до перерыва у А. П. Любченко и его жены оснований для самоубийства еще не было (в противном случае они могли уйти из жизни еще в воскресенье ночью, 29 августа, то есть сразу после выступления С. В. Косиора). Проект резолюции А. П. Любченко не был известен. Тон его выступления на Пленуме, а также характеристика, данная премьеру людьми, которые его хорошо знали, свидетельствуют, что это был твердый, волевой человек, готовый перенести любые испытания, и вряд ли он преждевременно и сам бы решил уходить из жизни, и любимую жену стал бы убеждать покончить с собой. Кроме того, и его выступление, и полемика однозначно свидетельствуют: Афанасий Любченко решил сражаться до конца, и мысли о собственной добровольной смерти были бы здесь прямо-таки противоестественны.

Третье. Возникает вопрос: почему С. В. Косиор явился на вечернее заседание Пленума с готовой резолюцией и почему она была принята в отсутствие Любченко? Ведь только после ее принятия и 15-минутного перерыва Косиор заявил, что А. П. Любченко застрелился.

Четвертое. Дом А. П. Любченко постоянно охранялся бригадой работников НКВД, была охрана и в доме на первом этаже (правда, за месяц до Пленума вся она была обновлена), и дом был оснащен целой системой телефонов. Неужели же охрана не могла сразу же после самоубийства, имея оно место, сообщить наркомом внутренних дел Леплевскому, что А. П. Любченко и его жена ушли из жизни по собственному решению (Леплевский, к тому же, был участником Пленума)? И почему С. В. Косиор сообщил

только о самоубийстве А. П. Любченко, не сказав ни слова о жене? Ведь ее тоже обвиняли на Пленуме ЦК!

Пятое. По такому факту, как самоубийство члена Политбюро, Председателя правительства республики и его жены, обязательно, ясное дело, должен составляться протокол осмотра места происшествия с его фотографией, описанием осмотра трупов и указанием, где входные пулевые отверстия, каким оружием (система, калибр, номера и т. д.) произведены выстрелы. Это ведь элементарно. Но ничего подобного не было сделано!..

Шестое. Зато при обыске дачи А. П. Любченко и квартиры по ул. Ленина, 60, составлен протокол, где указано, что изъяты: партбилет А. П. Любченко № 0000095 образца 1936 г.; партбилет Крупеник М. Н. № 1654881; орден Ленина № 1337; удостоверение члена ЦИК УССР № 9 за 1931 г.; значок члена ЦИК СССР № 552; удостоверение члена ЦИК УССР и удостоверение Совнаркома Украины на имя Ю. М. Коцюбинского (Коцюбинский был другом семьи Любченко, одним из его заместителей, председателем Госплана УССР — его расстреляли еще 8 марта 1937 года, обвинив в национализме).

Седьмое. Зачем понадобилось впоследствии репрессировать всю охрану А. П. Любченко? (Упомянутый выше чекист Д. В. Коновалов, который давал в 1956 г. в военной прокуратуре письменные показания об обстоятельствах гибели Председателя Совнаркома Украины, в то время был старшим оперуполномоченным, но непосредственно А. П. Любченко не охранял и потому-то, по-видимому, и не подвергся расстрелу).

Восьмое. В 60-х годах при подготовке книги об А. П. Любченко один из авторов этих строк несколько раз встречался с его сестрой Варварой Петровной, врачом по профессии. Ее муж, А. Н. Панченко, был профессором одной из кафедр хирургии Киевского мединститута. Вот что она рассказала одному из нас, а затем в парткомиссии ЦК Компартии Украины и в Институте истории партии (к сожалению, ее рассказ не был официально зафиксирован). По словам Варвары Петровны, ее и мужа арестовали ночью 30 августа. Ее пытали круглосуточно, требуя признания в том, что она знала о существовании контрреволюционной организации, а также о том, что Панас (так по-украински звучит имя А. П. Любченко — Афанасий) был ее руководителем

и что она с мужем входила в эту организацию. Через неделю-две ее, избитую до полусмерти, бросили в камеру, где оказалась мать жены Любченко — Прасковья Крупеник. Та ей подробно поведала о трагедии 30 августа. Афанасий Петрович, рассказывала его теща, приехал на обед, зашел в столовую на первом этаже (семья всегда здесь обедала), попросил тещу приготовить еду и пошел на второй этаж к жене. Видимо, он хотел рассказать ей о том, как идет разбирательство дела на Пленуме, какие оговоры ему удалось опровергнуть. Спешить было не надо, поскольку перерыв объявили на три часа. Приготовив обед, теща пошла их звать к столу. Но ее на второй этаж не пустили (охрана стояла на первом и втором этажах), заявив, что туда нельзя: «они пострелялись». Бедная мать ужаснулась, начала дико кричать, что этого не может быть, я не глухая и т. п. Но ей закрыли рот, скрутили руки, арестовали и немедленно увезли из дома. Трупов она не видела.

Девятое. Через год Варвара Петровна встретила в одной из сибирских тюрем врача-преподавателя из Киевского медицинского института, который ранее обслуживал центральный аппарат НКВД Украины. Он рассказал, что видел труп Афанасия с... двумя входными пулевыми отверстиями в голову. Возникает вопрос: стрелялся ли когда кто-либо дважды? (Кстати, уже в сентябре 1937 года по Киеву, вопреки сообщениям газет, пошли слухи о том, что Любченко и его жену Марию Николаевну Крупеник тайно расстреляли в доме по улице Ленина по приказу И. М. Леплевского).

Десятое. Есть еще один косвенный документ, который тоже подвергает очень большому сомнению истинность официальной версии о самоубийстве А. П. Любченко. Дело в том, что германское гестапо вело картотеку на всех руководящих работников СССР. Была заведена карточка и на Любченко. В ней есть две записи со ссылкой на печать, что А. П. Любченко покончил жизнь самоубийством. Но гестапо поручает проверить этот факт. И вот 11 октября 1937 года под пунктом № 6 в карточке предсовнаркома Украины появляется запись: «Согласно сообщению Министерства (Министерства германского — авт.) иностранных дел (политический отдел У/5713 от 4 октября 1937 г.) Любченко со своей женой 30 августа 1937 года расстреляны ГПУ на своей квартире».

Есть далее немало других достаточно серьезных соображений и фактов, которые ставят под большое сомнение версию о самоубийстве супругов Любченко. Но мы приведем только три из них.

Первое — свидетельство о том, как безграмотно ежовские следователи фабриковали дела на свои жертвы. Оба брата — Афанасий и Андрей (директор Киевского ветеринарно-зоотехнического института) были сильными, волевыми людьми. 30 августа ночью арестовали Андрея и всю его семью. Но ордер на арест датирован только 1 сентября 1937 года прокурором Киевского военного округа, дивизионным военюристом Калошиным. На допросе Андрей якобы схватил стул, убил следователя, выбросился из окна и погиб (заметим попутно, что в следственном деле нет протоколов допроса Андрея, как нет никаких доказательств и его принадлежности к антисоветской организации). А в приобщенном к делу рапорте зам. коменданта здания НКВД УССР лейтенанта госбезопасности Нагорного указано, что «17 сентября с. г., находясь на допросе, арестованный Любченко Андрей Петрович во время отсутствия следователя набросился на охраняющего его курсанта школы УГБ с целью выхватить оружие и во время борьбы был курсантом убит» (фамилии следователя и курсанта, само собой, здесь... не упоминаются!). В этот же день принимается постановление о прекращении дела, где указано, что «будучи на допросе 17 сентября Любченко Андрей умер». Какая грязная стряпня! Выживший чекист Д. В. Коновалов рассказал, что разбившееся тело выбросившегося из окна во время допроса Андрея Любченко, в числе других, убирал Евенко Михаил Александрович, проживавший после войны в Киеве и работавший подсобным рабочим в ателье мод 1-го разряда Военторга.

Второе соображение: Афанасия Петровича и его жену никто никогда не допрашивал — нет таких протоколов. Есть лишь три тома различных агентурных сводок, доносов, оговоров и т. п., никем не подписанных, не заверенных... То есть и самого «дела», как такового, тем более с неопровержимыми доказательствами о принадлежности Афанасия Петровича к некоей мифической националистической организации, нет. Поэтому не случайно следователи НКВД месяцами пытались всех родственников Любченко и его жены, чекиста Д. В. Коновалова и его друзей, добываясь от них признания, что

такая организация была и возглавлял ее Афанасий Петрович. Надо же было хоть после смерти предсовнаркома республики создать такое дело! Но его так и не создали. Значит, палачам, как воздух, были необходимы какие-то веские оправдания своих противозаконных, даже по меркам тех лет, действий, необходимы и после смерти Любченко. Зачем? Ведь он уже не мог защищаться...

И, наконец, соображение третье: вывод о сомнительности официального сообщения о самоубийстве Афанасия Петровича сделал еще в 50-х годах Н. А. Сытник, тогда работник парткомиссии ЦК Компартии Украины (ныне он на пенсии), готовивший дело о реабилитации А. П. Аюбченко для рассмотрения на Президиуме ЦК Компартии Украины. Он добросовестно и скрупулезно собрал огромный материал из многих архивов. Но — видимо, из-за ограниченности времени для доклада, — не мотивировал свой вывод. Проверившая после XX съезда КПСС эту мрачную историю военная прокуратура Киевского военного округа довольно быстро пришла к выводу, что все материалы «дела» на Афанасия Петровича и его жену фальсифицированы.

Предположительно же события развивались, на наш взгляд, следующим образом. А. П. Аюбченко уехал на обед, не признав своей вины, отвергнув все обвинения в свой адрес. С. В. Косиору надо было срочно связаться со Сталиным и Ежовым, посоветоваться, как поступать дальше и кого рекомендовать на освобождающуюся должность. Поэтому и был сделан перерыв на три часа. А совет Сталина и Ежова мог быть только один — арестовать. Вот после этого-то Аеплевский, видимо, и дал команду охране побыстрее арестовать А. П. Аюбченко.

Афанасий Петрович человек был решительный, смелый и физически сильный, как и его брат Андрей, а потому вполне мог оказать сопротивление. Оружие при нем, безусловно, было. Тогда-то охрана и могла в схватке застрелить его, а чтобы свидетелей не осталось — то и видевшую все это его жену. Мать жены действительно могла не услышать выстрелов: это ведь зависит от толщины стен дома, междуэтажного перекрытия и от того, какое оружие было применено. Кроме того, ее могли увести и раньше, чем началась схватка, — если предварительно было какое-то выяснение отношений между Любченко и энкаведистами...

Наши предположения, разумеется, то-

же лишь версия, попытка реконструкции хода событий, не претендующая на абсолютную истину. Последнее слово здесь может быть сказано только после дополнительного изучения архивных материалов, возможного опроса свидетелей, эксгумации тела... если удастся установить место его захоронения.

ЭХО ВЫСТРЕЛОВ

Гроном отозвалось для многих партийных и советских работников Украины эхо выстрелов, прозвучавших в доме Любченко. Были арестованы все бывшие боротьбисты, работавшие в Совнаркоме Украины, наркоматах республики, члены их семей. Само собой, арестовали и всех родственников Афанасия и Марии.

Гигантского судебного процесса не проводили: возможно, он был сорван выстрелами в доме Любченко. Арестовывали, судили и расстреливали группами и в одиночку. Мать и отец супруги премьера были осуждены на высылку в Кировскую область, там вскоре и умерли. Сестру Марии — Анну, студентку Киевского госуниверситета, расстреляли. Вторая сестра — Татьяна покончила жизнь самоубийством. Муж Варвары Петровны профессор А. Н. Панченко умер в тюрьме в 1942 году, где именно — неизвестно. Репрессировали и 16-летнего сына Афанасия Петровича — Виктора. (В пересыльной тюрьме в Сибири Варвара Петровна встретит его в числе этапных и попросит киевских знакомых, которые шагали рядом с ним, чтобы помогли юноше выжить. И он выживет и дождетсa реабилитации родителей и всех родственников и знакомых).

Все эти факты говорят о том, что операция по расправе с премьером и его близкими готовилась НКВД заблаговременно и в самом широком масштабе.

Аресты были проведены не только в Совнаркоме и наркоматах, но и в Академии наук УССР, в вузах, среди писателей, в комсомоле и т. д. Притом даже в Москве. В частности, 30 августа там арестовали наркома финансов СССР Г. Ф. Гринько — тоже как бывшего «боротьбиста». Из 111 человек, избранных в центральные органы на XIII съезде КП(б)У, репрессированными оказалось 104 человека, то есть... 93 процента!

...В январе 1938 года Сталин переводит С. В. Косиора в Москву — якобы на повышение. Его назначают заместителем

председателя Совнаркома СССР и председателем Комиссии советского контроля.

На должность первого секретаря ЦК КП(б)У Сталин решает направить в Киев Н. С. Хрущева. Репрессии в это время заметно спадают, все же еще продолжаясь. Но новый их всплеск уже на подходе, и он действительно начался в мае 1938 года после ареста С. В. Косиора.

Вот как об этом записала в своей резолюции VI Киевская городская партконференция (это июнь 1938 года, и Н. С. Хрущев находился в президиуме):

«В результате провокационной работы почти наполовину городской парторганизации были поданы политически компрометирующие заявления, большинство из них были неправильные, провокационные. Без оснований распустили 70 парткомитетов... Большое количество коммунистов, за явно ложными материалами, было исключено из партии... И только после вмешательства ЦК ВКП(б) и лично товарища Сталина, который прислал... испытанного сталинца, закаленного в борьбе с разными врагами народа — большевика Никиту Сергеевича Хрущева, под руководством которого Киевская парторганизация по-настоящему начала внедрять в жизнь решения январского Пленума ЦК ВКП(б), исправлять допущенные большие политические ошибки». Аналогичное положение было и в других областях.

Результаты сталинско-косиоровских чисток-погромов и репрессий в КП(б)У были страшными. Из 17 членов и кандидатов в члены ЦК, ВКП(б), избранных от КП(б)У на XVII съезде ВКП(б), выжил только один — Г. И. Петровский. Будут репрессированы и погибнут большинство делегатов этого «съезда расстрелянных» от КП(б)У. Всего же Компартия Украины уменьшилась с января 1934 года по июнь 1938 года с 453526 членов и кандидатов в члены ВКП(б) до 285818, т. е. на 167718 человек. Огромные потери понесли и военные коммунисты, работавшие в республике, так, из 17 военных — членов ЦК КП(б)У, избранных на XII и XIII съездах КП(б)У, 15 человек было физически уничтожено; жертвами репрессий пали только в 1937—1938 годах свыше 30 военных — делегатов XIII съезда Компартии Украины. Всего же в войсках Киевского и Харьковского военных округов было репрессировано более 150 высших командиров и политработников в звании от комбрига, бригадного комиссара (и им равных) и выше, а всего

жертвами сталинского террора стали более 15 тысяч военных командиров, политработников, техников только на Украине.

В целом сталинщина и косиоровщина, как ее региональное проявление, выкосили на Украине миллионы людей. Лишь оттого, что очередная волна репрессий накрыла и самого Косиора, его деятельность на Украине нельзя изображать только в светлых тонах. Именно при нем, с его ведома и согласия, под его руководством в республике было проведено десятки крупных и менее крупных политических процессов, в результате которых погибли тысячи талантливых людей. Большая доля вины за их гибель ложится и на В. А. Балицкого, И. М. Леплевского и других.

В такой обстановке собрался XIV съезд КП(б)У (июнь 1938 г.). Он проходил в театре им. И. Я. Франко. На весь зал на балконе первого этажа лозунг: «Большевики Советской Украины пришли к своему XIV съезду крепко сплоченными вокруг великого вождя партии, любимого и дорогого И. В. Сталина». На балконе-бельэтаже лозунг: «Выкорчевать врагов народа, троцкистско-бухаринских и буржуазно-националистических шпионов и вредителей-наймитов иностранных разведок».

...После избрания на этой конференции президиума, а также и почетного президиума во главе со Сталиным, последнему было послано приветствие, где его имя называлось 20 раз в наивысших степенях и оценках. Вот некоторые из них: «Вооруженные... Вашими, товарищ Сталин, мудрыми и ясными указаниями, большевики Украины провели большую работу по разоблачению и разгрому осинных гнезд троцкистско-бухаринских и буржуазно-националистических предателей, диверсантов, агентов фашистских разведок. Указания ЦК ВКП(б) и Ваши, товарищ Сталин, помогли большевикам Украины ликвидировать результаты вредительства в партийно-политической работе и в хозяйственном строительстве, ликвидировать грубые ошибки, допущенные парторганизациями Украины. Неустанная забота ленинско-сталинского ЦК ВКП(б) и Ваша личная забота, товарищ Сталин, об укреплении КП(б)У проявилась и в том, что послали на Украину для руководства ЦК КП(б)У стойкого большевика, испытанного и непоколебимого в борьбе с врагами партии и народа, верного ученика товарища Сталина това-

рища Н. С. Хрущева». Заканчивалось приветствие словами: «Да здравствует наш мудрый вождь, отец и учитель, родной и любимый Сталин!».

...После XX и особенно XXVII съездов КПСС все мифические военные заговоры и другие антисоветские контрреволюционные организации лопнули, как мыльные пузыри. Реабилитированы тысячи людей, в том числе и бывшие боротьбисты.

Жизнь Афанасия Петровича Любченко — стойкого, убежденного большевика, храброго человека — была краткой и яркой, как вспышка зарницы. Оборвалась она слишком рано — ему было только 40. Но он оставил прекрасную память о себе. Даже в экстремальных условиях 1937 года он никого не оговаривал, не писал писем и не ездил к Сталину с просьбой, чтобы кого-либо арестовали. Наоборот, рискуя головой, он не раз отправлялся в Москву, стойко и убежденно защищая товарищей по работе, честных членов партии, даже тогда, когда они, не выдержав пыток, оговаривали себя и его. Это, кстати, и послужило одним из пово-

дов для расправы над ним.

В последние часы его жизни ему со злобой, руганью бросали в лицо: «Как вы смели ехать в Москву, на Политбюро, где присутствовал наш любимый вождь Иосиф Виссарионович, и защищать врагов народа?»

...Несколько месяцев назад авторы этой статьи побывали в Кагарлыке — на родине Афанасия Петровича, разыскивали старожилов, хорошо знавших его. Они и сегодня очень тепло отзываются о нем.

Пришли мы и на берег речки Россавы, где под горой Могилой (так ее называют кагарлычане) была усадьба Любченко. Усадьбу «врагов народа» снесли в послевоенные годы, разрыли половину прекрасной горы и проложили дорогу. Все, что связано с Любченко, исчезло.

И очень обидно, что местные власти до сих пор не поставили ему памятник. А ведь он заслуживает того, чтобы памятник ему был не только в Кагарлыке, но и в Киеве, где А. П. Любченко провел большую часть своей жизни и где встретил свой смертный час...

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ВИКТОРА НЕКРАСОВА

Ныне фигура Виктора Некрасова снова в эпицентре повышенного общественного интереса. Союзная периодика активно печатает как материалы, касающиеся его личности и биографии, так и не известные ранее советскому читателю собственные его произведения. При посредничестве давнего друга писателя Р. М. Немировского «Радуга», в состав редколлегии которой когда-то входил и Виктор Платонович, также получила недавно из Парижа большой пакет — повести, рассказы, эссе, написанные Некрасовым в изгнании. Читая их, я впервые не то чтоб не поверила человеку, создавшему первую правдивую книгу о войне и известному почти врожденным презрением ко лжи, а, скорее, горестно усомнилась от какого-то щемящего несоответствия. Бодрые, без намека на ностальгический сентимент слова, независимость тона, порой подчеркнутая, вызывали такую глубокую, такую не мгновенную грусть, что, вопреки прямым авторским констатациям, истина слышалась не в них, а вот в этом, думается, не субъективном читательском ощущении: что-то внутри этой прозы (именно внутри, а не на поверхности) не связывается. Что же?

Всякая попытка как-то опровергнуть или хотя бы «подправленно» истолковать что-либо написанное писателем не только бестактна, но и бессмысленна. Поэтому когда Некрасов утверждает, что, выйдя из эмиграции, «партия и правительство сделали мне подарок» и что традиционное «все о'кей» в письмах из Парижа к друзьям — «не особенное преувеличение», не будем обидчиво поджимать губы. Ибо за этими признаниями — общая (и главная!) для поздней прозы Некрасова мысль о свободе как первой жизненной необходимости.

Иное дело — и в этом-то глубинный раскол авторского самоощущения, который горестно резонирует и в читателе, — что свобода там и свобода здесь изначально, трагически не равнозначны. По крайней мере, для такого человека, как Виктор Некрасов. Кто спорит — воля вольная и сама по себе самоценна, воздух ее живителен на всех широтах, и все же свобода ценой утраты родины ущербна, она неподлинна, как все неестественное: Вот здесь-то и невосполнимый обрыв каких-то органических внутренних связей.

Ведь Виктор Некрасов, по свидетельствам многих близко знавших его людей, тягостно ощущал всякую неподлинность. По самой своей человеческой сути он был антитоталитарен, и, думается, поэтому его личность вызывает сегодня такой живой интерес. Некрасов нужен нашему времени и как честный одафенный писатель и как человек, сохранивший в условиях жесткой идеологической усредненности устойчивую мировоззренческую независимость и внутреннее чувство свободы. Сохранивший самого себя. Поток тоталитарности обтекал его, ранил и изматывая, и наконец вытолкнул за пределы страны, но так и не растворил в себе, не обезличил. Вот он, стоит уже над временем и... совсем рядом, — косой, как птичье крыло, срез волос, дерзкая неуступчивость во взгляде, вызов ли, ирония в уголках рта... Какое, в сущности, незащищенное, доброе лицо!

Сквозь завалы разделившего нас социального мракобесия хочется напряженно посмотреть в это лицо, свободно подумав. Хотя бы над тем, как повел бы себя сегодня этот прямодушный, отважный человек, который вступил в партию в окопах Сталинграда и, по собственному признанию,

«к концу пребывания в ней — возненавидел» ее. То есть тот авторитарный тупой диктат, который вершился в стране именем КПСС. Недавно журнал «Україна» опубликовал цифровые данные о количестве добровольно вышедших из партии киевлян. В этой связи невольно одолевает искушение умоулыбательного допущения: окажись сейчас в Киеве Виктор Некрасов — сдал ли бы он сегодня свой партбилет? Трудно ответить определенно. Ведь даже тогда, в застойные годы, билет был не сдан, а отобран, и есть горькая отрада в том, что первичная парторганизация «Радуги», где состоял на учете писатель-фронтовик Виктор Некрасов, не сочла возможным исключить его, хоть это «низовое» непослушание не повлияло практически на предрешенность исхода.

Так как же было б сегодня? Сомкнувшаяся завеса времени перечеркивает догадки, оставляя место для размышлений. Но если перестройка — это очищение правдой, путь от мертвящей тоталитарности к живому очеловечиванию общества и личности, от пошлой унификации — к многообразию социального бытия, то слово человека, отразившего в своей судьбе главные противоречия эпохи, должно быть услышано во всей его неоднозначной полноте. Этой подборкой «Радуга» начинает публикацию воспоминаний о В. Некрасове и его произведений, не издававшихся ранее в нашей стране. В грустную минуту, когда застой у нас достиг своего вульгарного апогея, Виктор Платонович сделал однажды такое вот безнадежное признание: «И понял вдруг я, что не хочется мне возвращаться в ЭТОТ Киев». Но тут, пожалуй, вышла ошибка. Ведь он вернулся — наш земляк, наш согражданин, ну и что уж там — человек перестройки. Вернулся потому, что, вопреки всему — травле, изгнанию, даже собственной душевной надорванности, — всегда был с нами, со своим народом.

Лада ФЕДОРОВСКАЯ

Семен ЖУРАХОВИЧ

НЕСГИБАЕМЫЙ

Когда я вспоминаю Виктора Некрасова, то в памяти прежде всего встает последняя встреча с ним, до боли грустное прощание. О печальных этих минутах осталась у меня в старой тетради короткая запись. Я сделал ее не потому, что боялся забыть, как он выглядел, что говорил. Такое не забывается. Где-то в глубине души таилась надежда, что эта и другие записи когда-нибудь увидят свет.

Пусть читатель не сочтет сие наивностью. Наша дьявольски сложная и зачастую абсурдная жизнь научила многому. И в частности тому, что приговоры властителей не вечны, что бывают крутые повороты и переоценки, что веское слово (тоже не окончательное!) говорит завтрашний день.

Привожу здесь свои давние заметки: «Встретился с Виктором возле Шевчен-

ковского сада. Больно смотреть на его осунувшееся лицо, углубившиеся морщины, поседевшие виски. Во взгляде та же твердость («на том стою!»), неизменная ирония, но и то, что появилось в последние годы: боль и немой вопрос: «За что?» Говорит тихо, нервно. С трудом сдерживаемая ярость прорывается крепкими словечками. «Вон там, — показал вправо, — в том темно-сером здании мне благосклонно растолковали, что я должен благодарить за то, что меня изгоняют на чужбину. Вот такой разговорчик после сорокадвухчасового обыска. Да, да!.. Не делай большие глаза. Сорок два часа. Семь мешков «крамолы» собрали. Уж как они старались! Как ликовали, увидев купу журналов «Париматч», который продается в каждом московском киоске. Да еще польские книги и журналы. Для них все

заграничное — уже контра. К моим рукописям прикасались будто к бомбам. Да что там рукописи! Всю одежку, все белье перешупали. Подштанники в том числе. А вчера вызвали туда. Повели не к какому-нибудь клерку, а к генералу. Вальяжно рассевшись в кресле, он, хитроглазый, разъяснил мне, что я должен благодарить за то, что меня вышвыривают из родного Киева. Мол, спасибочки, дорогие мои. Ибо достаточно ему нажать маленькую кнопку, и крепкие молодчики, сидящие в приемной, возьмут меня под ручки и препроводят куда следует. Не уточнил, правда. То ли на каторгу, за колючую проволоку. То ли в психушку, что пострашнее. Представляешь, сидит в кресле владыка моей судьбы, смотрит очами гремучей змеи и ждет моей благодарности. Мое молчание его бесит. А меня бесит то, что не могу сказать ему парочку слов...»

После тягостной паузы вдруг о другом: «Я-то о Киеве буду думать изо дня в день. А будет ли он обо мне помнить?»

Какие-то бессильные слова вырвались у меня. Оборвал: «Брось! Не надо...»

Обнял и кинул свое привычное: «Не дрейфь!..»

Я, замерев, стоял и смотрел ему вслед. Поворачивая за угол, он, оглянувшись, прощально помахал мне рукой».

* * *

Да, ему угрожало то, что пострашнее каторги. И только потому, что был свободным человеком, что не мог примириться с преследованием не только инакомыслия, но и мысля вообще. С отвращением отшвыривал готовенькую кашку, преподносимую «сверху»: жуйте!

Еще в годы переменчивой и виляющей оттепели Некрасов привлек к себе внимание всевидящих очей и всеслышащих ушей. И это «внимание» все усиливалось.

— Стукачи? — с презрением говорил он. — Плевать я на них хотел. Пусть доносят о каждом моем слове хоть самому Никите. Но омерзительна вся эта грязная игра с человеком. Я же их не подслушиваю! А если бы люди узнали, что они тайком, цинично хихикая, говорят о народе? А говорят они такое: «Вот дурни! Любую глупость болтнем, любую ерунду учиним, а они аплодируют и кричат «Ура!..» Взять бы да у них установить микрофончики, да обнародовать по радио, по телеку. Смотрите и слушайте,

люди: вот они, вождята, без маски. Вот бы такой рассказ написать! Нет, лучше фильм...»

— Порой говорят, — делился Некрасов, — что самое главное сохранить внутреннюю свободу, не согнуться. Но что значит для писателя сия внутренняя свобода при разгуле произвола? При том, что творится черное беззаконие, что похоронены тысячи книг, а новые убивают в зародыше? Жить с кляпом во рту?

К чести Некрасова надо сказать, что за все тридцать послевоенных лет, прожитых им у нас, так никому и не удалось впихнуть ему казенный кляп. Чем сильнее старались его согнуть, тем яростнее он сопротивлялся. Его травили от имени народа те, кто на самом деле был чужд народу. А близок ему, народу, как всегда, во все времена, честный художник, всем сердцем сострадающий людям. Его объявляли отщепенцем, но именно он с полным правом мог бы повторить ставшее теперь знаменитым выражение Андрея Платонова: без меня народ неполон.

Непреклонно отстаивал свое право быть свободным человеком в условиях несвободы. Причем несвободы лицемерной, провозглашающей себя образцом демократии, авангардом человечества.

Он действительно был свободным. И в личном поведении, и в оценке всего происходящего, а главное — в творчестве.

Могла ли система, гнетущая личность, терпеть человека, открыто выражающего не только свое несогласие с ней, но и презрение к ее служителям, — тупым, самодовольным, упивающимся властью?

На горьком примере Виктора Некрасова наглядно видна извечная трагическая коллизия: художник и деспотия, талант и тираническая власть, безжалостно его губящая.

Как же тяжело было ему, оскорбленному, исхлестанному, травимому, но твердо знающему, что его правдивое слово нужно людям, как же тяжело было ему стать изгнанником, лишиться родины навсегда.

* * *

Уже много сказано и написано о неприязни Хрущева к интеллигенции, о его бескультурье, о его бесцеремонной и беспардонной манере судить обо всем, в том числе и о том, о чем понятия не имел. Литература, архитектура, изобразительное искусство — надо всем вершил свой суд.

После Дудинцева и Пастернака попал под горячую руку Хрущева и Виктор Некрасов. Впервые озлобление Хрущева вызвало выступление Некрасова в «Литературной газете» с призывом соорудить памятник жертвам геноцида в Бабьем Яру. (Напомню, что в то же время подвергался травле и Евг. Евтушенко за стихотворение «Бабий Яр»).

Следует отдать должное Хрущеву за разоблачение культа личности Сталина, за освобождение и реабилитацию жертв произвола. Но и сам, извращенный и поднятый до высот сталинщиной, Хрущев немало воспринял от «отца народов». Среди прочих отвратительных черт (самолюбование, упоение лестью подхалимов и прочее) он унаследовал и антисемитизм. Любое упоминание о Бабьем Яру действовало на него, как красное полотнище на быка. Именно по его указанию эту скорбную могилу ста тысяч убитых засыпали, чтобы соорудить там стадион или другое увеселительное заведение.

Самодурство Хрущева с особой силой проявилось в начале 1963 года, когда он учинил очередной разгром писателей и художников. Самый жестокий приговор был вынесен Некрасову: таких надо исключать из партии. А это означало одно: не печатать, всячески порочить, науськивать услужливую прессу. Поводом на тот раз послужили заметки Некрасова о поездке в Америку. Вопреки очередной «холодной войне» в политике, Некрасов с глубокой симпатией писал о людях Америки, о необходимости доброжелательного взаимопонимания. Содержание очерков не только искажали и перевирали, но и объявляли прямым пособничеством империалистам.

Никогда не забуду, как после этого судилища было созвано собрание киевских писателей, на котором верноподданный Корнейчук метал гром и молнии. Еще больше он неистовствовал после того, как Некрасов — бледный, напряженный — тихим, но твердым голосом отверг все наветы. Его речь вызвала бурные аплодисменты молодежи, тогдашних «шестидесятников».

Как и полагалось в те времена, «указание сверху» послужило сигналом для широко развернувшейся кампании. Прежде всего была пущена в ход испытанная дубинка — пресса. Статьи «знатоков литературы» дополнялись так называемыми «письмами читателей», неуклюже сочиненными в редакционных кабинетах.

«Непослушных» одергивали. Так, глав-

ная редакция «Краткой литературной энциклопедии» подверглась в печати резкой критике за то, что о В. Некрасове было сказано больше, чем о Г. Маркове и М. Алексееве... Сегодня по этому поводу можно только посмеяться, но тогда и в этом глупейшем выпаде звучала угроза.

Вслед за прессой сотни лекторов вопиющим хором изобличали Некрасова в крамоле. На заводе «Арсенал» подготовили судилище, и Некрасова тянули туда казаться перед рабочим классом. Не пошел. Изодня в день он слышал: «исключим из партии, выгоним из Союза писателей». Не исключили, однако, не выгнали. Даже всеильному Хрущеву пришлось дать отбой, так как не только у нас ряд видных деятелей культуры (Твардовский и его друзья), но и представители Французской и Итальянской компартий осудили травлю писателя-фронтовика. Все же киевские аппаратчики «реагировали»: Некрасову был объявлен строгий выговор с занесением в личное дело. О чем и было доложено Хрущеву.

Иной бы, хоть на какое-то время, воздержался от оценки суждений и действий человека, стоящего на вершине пирамиды. Некрасов не считал нужным скрывать своего отношения к «сыну кузькиной матери», как он величал Хрущева. Как часто вырывалось у него хлесткое словцо, язвительная фраза или анекдот о знатоке всех искусств и всех сортов кукурузы.

Не всегда, к сожалению, различал, кто его сочувственно слушает, а кто подслушивает...

* * *

И без того нелегкая жизнь писателя стала еще тяжелее. Захлопнулись двери журналов и издательств. Снова пущена была в ход сталинская мертвая хватка — обрекать «крамольника» на голодуху. Семейный бюджет составляла весьма скромная пенсия матери. Помогали друзья. Приходилось, как говорил Виктор, «стрелять десятки»...

А тем временем необычайно возрос читательский интерес к творчеству писателя. Повсюду жадно и с глубоким сочувствием расспрашивали о нем. В библиотеках возникли очереди на его книги. В магазинах же искать их было тщетно.

К тому времени выросло новое послевоенное поколение. Если для нас, фронтовиков, «В окопах Сталинграда» было словом страданной, виденной воочию правды, то для нового читателя она стала подлинным откровением. Ведь в литературе тогда шумно разгуливали бравый

«Кавалер Золотой Звезды», лихие «Братья Ершовы» да еще образцово-показательный «Секретарь обкома». Но читатель хорошо отличал хваленые книжки-фальшивки от подлинной литературы.

Конечно, это было большой моральной поддержкой Некрасову. Но жить-то и работать надо было. А на какие шиши?

Умерли в нищете Михаил Булгаков, Василий Гроссман, Андрей Платонов. Кого это там, «наверху», волновало?

Омерзительно было в это время видеть, как подхалимская братия, примазавшаяся к искусству, из кожи лезла вон, воспевая... Сколько появилось поэтических опусов, славословящих статей, сусальных фильмов, многометровых полотен с сияющим ликом Хрущева.

Казалось, не было XX съезда партии, не было горьких и кровавых уроков сталинщины.

Как и при Сталине, угодники щедро вознаграждались: высокие премии, орден, звания, депутатские мандаты и, конечно же, весьма жирные барыши.

Эти же люди возглавляли Союз писателей и другие творческие организации. Им ли не на руку была травля подлинных талантов. Им ли не в охотку было растоптать и Некрасова.

Как же едко насмехался он над этими пресмыкающимися временщиками! «Глупцы, — говорил он, — думают, что блямбозвениями цацками можно прикрыть свою пустоту и бездарность». И еще упоминал, что в знаменитом «Сатириконе» (в начале века!) был напечатан стихотворный памфлет: «Песнь торжествующей свиньи», в которой звучал такой рефрен: «Я гордо, смело говорю: «хрю-хрю!..»

Виктор все собирался разыскать эту публикацию и вновь обнаружить.

* * *

Много лет мы с Некрасовым были в одной парторганизации (в редакции журнала «Радуга»).

Вот чего он не любил, так это собраний «для галочки». А такие по преимуществу и созывались. «Какого дьявола мы потеряли два часа? — сердился он. — Да лучше бы побродили по серым улочкам Киева...»

Любил родной город и с ненасытной любознательностью находил в нем что-то до тех пор ему неизвестное. Мало кто из нас знал Киев так, как знал его Некрасов.

Как-то после одного из скучных собраний я пристал к Некрасову (по его выражению, словно клещ): «Виктор, собери сборник рассказов и подавай в издательство. Новое побоятся взять. Собери уже изданные рассказы. Книг твоих нигде не купишь, читатель ждет».

Ответ был короток: «Ты, братец, спятил!»

Я настаивал, рискуя услышать слово покрепче.

На что я надеялся тогда, в конце все того же 1963 года? Не будучи конъюнктурщиком, как ни странно звучит, именно на виляющую конъюнктуру и рассчитывал. Сколько уже было самых неожиданных поворотов! Сколько раз ветер начинал дуть в другую сторону!

Напоминал, уговаривал. И Некрасов рассказы собрал-таки. Но сердито сказал: «Один не пойду. Только вместе, и говорить будешь ты». По дороге в издательство он, усмехаясь, рисовал картину предстоящей встречи: «Войдем. Директор смертельно испугается. Потом взвост: «Это что? В пику Никите Сергеевичу? Провокация, да? Хотите, чтоб меня сегодня же выгнали? Убирайтесь ко всем чертям...»

Директор издательства «Дніпро» (им тогда был писатель Роман Чумак) не испугался, хотя и крайне удивился. В его доброжелательно-ироническом взгляде можно было прочесть: «Это вы, хлопцы, всерьез или разыгрываете?..»

Я стал горячо убеждать директора в том, что издательству очень выгодно выпустить книгу Некрасова. Уплатив автору мизерный гонорар (ведь переиздание!), можно получить большую прибыль: пятьдесят тысяч, да что там — все сто тысяч экземпляров раскупят моментально.

Директор взял папку и сказал: «Будем читать, будем решать».

Когда мы вышли на улицу, Некрасов сердито бросил: «Дурацкая комедия! А поелику ты заставил меня в ней участвовать, взойдем на «Арабат».

«Арабатом» называлась «забегаловка» за углом, небольшой винный магазинчик. Выпили по стопочке коньяку. Некрасов повторил. Я понимал, как ему горько.

Он грозил мне кулаком: «Взялся? Издавай немедленно!..»

Было это в январе 1964 года. Кто мог предположить, что в октябре того же года Никиту Хрущева «уйдут» на пенсию? Уже тогда все в стране катилось вниз. Разорялась деревня. Снижался жизненный уровень трудящихся. На их возмущение

ние последовал ответ: расстрел рабочих в Новочеркасске. Началась закупка хлеба за рубежом, скрываемая властями, но всем известная. Всеобщие насмешки вызвала еще одна, совсем уж дикая реорганизация аппарата: два обкома, два облисполкома в каждой области... И вот Хрущева убрали.

Многие вздохнули с облегчением. Не знали мы тогда, что впереди нас ждет гниющая брежневщина, возврат к уже и не маскируемой сталинщине.

Как водится, после смены лидера полагалось исправить кое-что из содеянных им бесчинств. Некрасова неожиданно пригласили к тогдашнему первому секретарю ЦК Компартии Украины П. Шелесту. Последовало указание из Москвы «приласкать» писателя, дать понять, что хрущевское оранье осуждено.

Трудно передать остроумный рассказ Некрасова об этой беседе с Шелестом. Изложу кратко то, что запомнилось. Розовощекий Шелест, увидев Некрасова, поразился: «Так вот вы какой? А я думал, что вы из этих, из молодых...» Затем, после дежурных вопросов о здоровье, о настроении, высказал предположение: «Судя по возрасту, вы, очевидно, на фронте были?»

Любопытный вопросик к Некрасову-сталинградцу!

Поинтересовался Шелест и тем, что нового выходит у писателя, в частности, в Киеве. Некрасов ответил, что в Киеве его почти двадцать лет не печатают. Вот подал сборник рассказов, — молчат. А давным-давно переиздали (после Москвы) одну книгу, но только потому, что она получила сталинскую премию. «Сталинскую премию? — удивился секретарь ЦК. — А за какую книгу? Ответ («В окопах Сталинграда») привел Шелеста в некоторое замешательство: «А-а...» Что-то когда-то слышанное, видимо, смутно вспомнилось ему.

О результате этой встречи нетрудно догадаться: последовала команда издательству «Дніпро» немедленно выпустить сборник рассказов.

«Ты провидец!» — смеялся Некрасов, даря мне книгу с дружеской надписью.

Тогда же я и другие товарищи говорили Некрасову, что надо написать заявление о снятии старого выговора. «А как они пишутся, эти заявления?» — притворяясь наивным, спрашивал Виктор. «Очень просто», — отвечали мы: «Прошу горком партии...» Виктор вскипал: «Так это я еще должен просить?! Они записали

строгач, пусть сами и снимают. Да еще извиниться не мешало бы. Вот хотя бы так: «Дорогой Виктор Платонович, не сердчайте...» А я им: «Да ладно уж... Только впредь глупостей не делайте».

Смеялись. Но «строгач» так и остался надолго приклеенным ярлыком, о чем Некрасову позже крепко напомнили...

* * *

Всегда был самым собой, то есть независимым человеком, не терпящим подавления живой мысли, творчества, не терпящим все более распространявшихся лжи и фальши.

Некрасов печатался в журнале «Новый мир», был близок к кругу передовых писателей, духовным лидером которых был А. Твардовский. Уже это вызывало озлобление брежневско-сусловской клики, поворачивающей время вспять. Вместе с другими прогрессивными деятелями культуры он подписывал обращения в защиту прав человека, в защиту высоких гуманистических ценностей, против преследования тех, кто не мирился с произволом, с мракобесием.

Еще одно событие вызвало новые нападки на Некрасова. Вместе с некоторыми другими киевскими писателями он участвовал в памятном стихийном митинге в Бабьем Яру в сентябре 1966 года. Минувло двадцать пять лет после страшной трагедии. Какое же гнусное зрелище мы увидели там. Вместо памятника жертвам фашизма на месте казни ста тысяч невинных жертв были кучи мусора, заросли бурьяна, а в рытвинах грязные лужи. Гневно и горько звучали речи Некрасова, Ивана Дзюбы и тех участников войны, чьи родные — жены, дети, отцы и матери — были зверски убиты здесь.

Около выступавших в толпе шныряли юркие молодчики с фотоаппаратами. Оказалось, что это были не фотолюбители, а доносчики. По их фотографиям были «опознаны» писатели, члены партии прежде всего. Имена были сообщены «куда следует...» Немедленно горком КПУ принял постановление, осуждающее траурный митинг как «сборище сионистских элементов и украинских буржуазных националистов». К какому разряду был отнесен россиянин Некрасов, осталось неясным. То ли сионист, то ли петлюровец.

Постановление было столь позорно-лживым, что его не осмелились обнародовать. Лишь на писательском собрании

один из услужливо-ретивых секретарей Союза писателей изложил его содержание под насмешливые реплики из зала.

Неприязнь чинуш к Некрасову еще более усиливало доброжелательное к нему общественное мнение. Его читали, в защиту его писали письма в редакции газет. К нему тянулись люди. Были, конечно, и такие, что вскоре отходили от столь необычного (для того времени) человека. Кого-то приводила в растерянность, а то и пугала прямота и резкость его суждений, «крамольные» оценки действительности и власть имущих. Кое-кого шокировала его речь, уснащенная словечками, которых, пожалуй, не найдешь даже у Даля.

Не укладывался в прокрустово ложе «простого советского человека». Изо всех сил сопротивлялся любым попыткам «окоротить» его, приручить и приучить к так называемой дисциплине, то есть к овечьей покорности, ставшей главной приметой целых десятилетий нашей жизни.

Вспоминаю: получил я в это время от польских друзей книжку знаменитых афоризмов Станислава Ежи Леца. Горькие эти «непричесанные мысли» (так их называл автор) широко печатались во многих странах, но были запрещены у нас. Как и другие мои друзья и знакомые, Виктор Некрасов был восхищен глубиной и остротой ума, разящей меткостью сарказмов Леца.

Об одном из афоризмов он сказал: «это про меня». При каждой встрече повторял эту «непричесанную мысль»: «Тяжко плыть против течения, да еще в мутной воде».

Тем временем общественная атмосфера становилась еще удушливее. Крепче завинчивались гайки. «Мутное течение» превращалось в болото.

К началу семидесятых годов сталинщина (брежневско-сусловского образца) развернулась вовсю.

Снова всплыло «персональное дело» Некрасова. К чести парторганизации журнала «Радуга», коммунисты, входящие в ее состав, не поддались нажиму райкома, горкома и других инстанций и не допустили исключения Некрасова из партии. На собраниях (а их заставляли созывать снова и снова) звучали голоса в его защиту. Мы понимали, что вслед за исключением могут последовать репрессивные меры. И, желая оградить Некрасова от худшего, решили (надо же «реагировать»!) записать ему выговор. Но тут партчинуши подняли крик: «Да у него тот выговор не снят! И не простой, а строгий,

с предупреждением. С занесением в личное дело...»

Исключил Некрасова Ленинский (как это кощунственно звучит: ленинский!) райком КПУ.

Затем обыск. Вызовы в КГБ, лишение родины, а там, за рубежом, и лишение советского гражданства.

* * *

Еще одна запись в старой тетради. Без даты. Очевидно, через несколько лет после отъезда Некрасова.

«Режиссер-кинодокументалист, с которым Виктор прежде сотрудничал, рассказывал, что глубокой ночью разбудил его телефонный звонок. Не междугородный, обычный. И вдруг голос Виктора. Подумал, что это показалось со сна. «Ты? Это действительно ты? Вернулся? Вот счастье! Почему не сообщил? Я бы встретил...» В ответ горький смех: «Кого? Меня? Я же в зале иностранцев. Сюда никого не пускают. Я в Борисполе, в Борисполе. Транзит. Лечу в Японию. Но ведь это же безумие! Я почти в Киеве и не могу увидеть родной город. Не могу посетить могилу матери... Я в зале для иностранцев, и на дверях часовой. Извини...» И Виктор заплакал. Это было страшно: можно ли было представить себе его в слезах. И все же, сдерживая волнение, Виктор напоследок не мог не кинуть горькую шутку: «Там хоть исправно запишут то, что я сказал? Не перевернут? Извини и прощай».

Неизбывная тоска, изломанная жизнь, крик исстрадавшейся души — все это с пронзительной силой прозвучало в прекрасной предсмертной «Маленькой печальной повести» Некрасова, в которой мы услышали прощальное слово изгнанника к потерянными друзьям, ко всем, кто его знал и любил.

И ТОЛЬКО ПРАВДУ...

1

Однажды — это было, по всей вероятности, в самом начале 50-х годов — ко мне зашел Виктор Платонович и попросил срочно отпечатать на машинке его автобиографию — она была написана им от руки, как, в общем-то, и требовали наши строгие отделы кадров. Но на этот раз Некрасову, не помню уж для какой цели, почему-то понадобился машинописный текст. Заложив по обыкновению два листочка через копирку, я тут же при нем отстукал на машинке одну страничку, но он забрал только первый экземпляр. Второй так и остался у меня. Убеден, что эта автобиография никогда и нигде не публиковалась, а она заслуживает того. Впрочем, пусть судит сам читатель.

«АВТОБИОГРАФИЯ»

Родился 17 июня 1911 года в г. Киеве. Мать — Зинаида Николаевна Некрасова — врач, отец — Платон Федосеевич Некрасов — бухгалтер, умер в 1917 г. в Красноярске от разрыва сердца. До 1914 года жил вместе с матерью за границей (Швейцария, Франция), где мать сначала училась (Лозаннский университет), затем работала в госпитале (Париж).

С 1914 года живу в Киеве. Окончил 43-ю трудовую школу в 1926 году, железнодорожную строительную профшколу в 1929 г. В 1930 году поступил в Киевский строительный институт, на архитектурный факультет, который окончил в 1936 г. Кроме того, в 1937 году окончил театральную студию при Киевском театре русской драмы.

С 1936 по 1938 г. работал в архитектурных мастерских архитектором. С 1938 по 1941 г. работал актером, режиссером, театральным художником в театрах Владивостока, Кирова, Ростова на Дону.

24/VIII 1941 года был призван в армию. Служил в действующей армии — командиром взвода, полковым инженером, заместителем командира саперного батальона по строевой части вплоть до июня 1944 г.

Был дважды тяжело ранен. В 1944 году после второго ранения перешел на инва-

лидность и был демобилизован.

С марта 1945 года по июль 1947 работал в газете «Радянське мистецтво» заведующим отделом. Став членом Союза советских писателей, перешел на творческую работу. За повесть «В окопах Сталинграда» в 1947 году получил Сталинскую премию II-й степени. Сейчас являюсь заместителем Председателя правления Союза советских писателей Украины.

Виктор НЕКРАСОВ».

Если внимательно вчитаться, то при всей лапидарности автобиографии она дает немало поводов для размышлений самого разного рода. Но я хочу обратить внимание на ее последние строчки. Например, на слова «сейчас являюсь», потому что пройдет совсем немного времени — и Некрасов перестанет быть заместителем руководителя Союза писателей Украины. Или, скажем, его лауреатство... Он никогда не носил медали лауреата Сталинской премии (лауреатский значок Некрасова я видел только в ящике его письменного стола, и то — в коробочке). Вообще говоря, ему были в принципе противопоставлены руководящие посты. И чужды всякие регалии. Видимо, самой судьбой уготовано ему было стать просто свободным художником. В прямом и самом лучшем смысле этого слова — свободным. То есть правдивым. Честным. Потому-то и работалось, и жилось ему все труднее и труднее.

2

Примерно год назад, в ноябре 1988 года, я передал в редакцию «Литературной газеты» небольшую заметку из Киева. В силу каких-то причин, может быть, даже чисто технических (было тесно на полосе), она вышла в очень усеченном виде. Поскольку в ней приводились факты, в какой-то степени ставшие уже историческими, да к тому же и мало кому известные, воспользуюсь случаем и приведу заметку в том виде, как она была передана в редакцию:

«ОТМЕНЯЕМ НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ РЕШЕНИЯ

Очередное заседание президиума правления СП Украины состоялось в Киеве. В том же помещении, что и тогда... И снова разговор о Викторе Некрасове.

Грустно вспоминать об этом... Но необходимо. В мае 1974 года правление Киевской организации СП Украины, получив указание вышестоящих инстанций, исключило В. П. Некрасова из Союза писателей. Автору книги «В окопах Сталинграда» — одного из лучших произведений о Великой Отечественной войне — инкриминировалось и «антисоветское поведение, несовместимое с требованиями Устава СП СССР», и «опорочение высокого звания советского писателя антисоветской деятельностью», и т. д. и т. п. Незадолго перед тем писатель был исключен из партии, членом которой стал на фронте. А 3 января 1975 года, уже после отъезда за границу, решение об исключении В. Некрасова из Союза писателей было принято на заседании президиума правления СП Украины (решение президиума не требует утверждения Союзом писателей СССР в Москве, оно окончательное).

Следует заметить, что, проживая во Франции, В. Некрасов оставался в статусе гражданина СССР, за ним даже сохранялась квартира на Крещатике, 25, в «пассаже», и продолжалось так несколько лет, вплоть до того, как Виктор Платонович по одному из зарубежных «голосов» едко высмеял печальную память трилогию Л. Брежнева, в особенности же — ее военную часть, «Малую землю». Тут же последовала высочайшая санкция. У меня хранится выпуск «Ведомостей Верховного Совета СССР» № 18, где среди других напечатан подписанный Л. Брежневым 24 апреля 1979 года Указ Президиума Верховного Совета СССР следующего содержания (он, естественно, не публиковался в массовой печати):

«Учитывая, что Некрасов В. П. систематически совершает действия, не совместимые с принадлежностью к гражданству СССР, наносит своим поведением ущерб престижу Союза ССР, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

На основании статьи 7 Закона СССР от 19 августа 1938 года «О гражданстве Союза Советских Социалистических Республик» за действия, порочащие звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР Некрасова Виктора Платоновича, 1911 года рождения, уроженца гор. Киева».

Эти горестные подробности вспомнились в связи с тем, что на днях президиум правления СП Украины единогласно отменил то злополучное свое решение от 3 января 1975 года об исключении Некрасова из Союза писателей. Имя его по-смертно восстановлено в списках писательской организации. Решено также установить мемориальную доску в пассаже на доме, где он жил, и издать в Киеве в 1991 году к 80-летию со дня рождения Виктора Платоновича трехтомник его избранных произведений...»

...Такой была та заметка — в газете из нее «выпал» Указ и кое-какие другие любопытные места, добавить же к ней можно было много всяких подробностей. За 35 лет работы собственным корреспондентом «Литературной газеты» по Украине у меня сложился большой личный архив с десятками корреспондентских блокнотов, вырезками, письмами и документами, которые сегодня, как оказалось, нельзя читать без волнения. Нашел я и блокнот с записями о том самом заседании правления Киевской писательской организации. 21 мая 1974 года. Повестка дня: об антисоветском поведении В. Некрасова.

Председательствующий — первый секретарь правления Ю. Збанацкий. Из выступления: «...Этот типичный перерожденец, который дошел до распространения антисоветских заявлений, откровенно поддерживает Солженицына, которому советские порядки не нравятся. В свое время за все это Некрасов был исключен из рядов партии, но так и не образумился...» Предложение: исключить из СП. Реплики: «Давно пора!» Постановление: «В. П. Некрасова, опозорившего высокое звание советского писателя антисоветской деятельностью и аморальным поведением, из членов Союза писателей исключить...»

Грустно и больно. Не пройдет и полугода, как он покинет свой родной город. Навсегда. Это произойдет в сентябре 1974 года. Еще через год с небольшим я вдруг получу по почте странную открытку из Парижа, хотя оба мы понимали: при тогдашних драконовских порядках, увы, переписки между нами быть не может. По экстравагантности и загадочности (представьте себе огромные босые ступни и больше ничего?!) открытка — чисто некрасовская, с залихватской мальчишеской выдумкой. Можно только догадываться, как вертели ее в руках товарищи, которым надлежало в те годы следить за корреспонденцией, поступающей к нам

из Парижа от наших же политэмигрантов (характерный почерк и буква «В» вместо подписи не оставляли никаких сомнений относительно их авторской принадлежности). А сам текст вроде бы вполне безобидный:

«21.12.75 И при всем при том — с Новым Годом всех вас! И чтоб был он, как говорят, лучше прошедшего и хуже последующего — 1977-го... Обнимаю! В.»

Текст, согласитесь, действительно безобидный. Но в нем нельзя не услышать тоски по Киеву, по друзьям. Я не ответил. Теперь, вспоминая, — страдаю...

3

Роюсь среди своих бумаг, ищу те, что связаны с Некрасовым. Нашел целую кипу, относящихся ко второй половине 60-х. Вспоминаю, был такой короткий период, когда он много и плодотворно работал, несмотря ни на что. Писал небольшие вещи. Одни — «в стол», другие — в «Новый мир». Позже некоторые из них войдут в «Городские прогулки». В это время он почти не пил. Особенно, когда выезжал в Ялту. Приведу для подтверждения отрывок из шуточного письма, посланного мною в Ялту ко дню рождения Зинаиды Николаевны. Уезжая из Киева на отдых и работу, он часто просил меня написать ему «что-нибудь веселенькое». И я старался в меру своих возможностей.

«Закрытое письмо»

Зинаиде Николаевне НЕКРАСОВОЙ,
матери писателя Некрасова, автора книги
«В окопах Сталинграда» и др. нашумевших
произведений.

Милостивая государыня

Зинаида Николаевна!

Прежде всего я и моя семья рады приветствовать и поздравить Вас с днем рождения. Многих лет жизни Вам!

У каждого порядочного человека день рождения бывает именно в июне (например, у Корнея Ивановича Чуковского — 2-го, у Гарсиа Лорки — 5-го, у Пушкина — 6, у его друга Чаадаева — 7, у Абу Исхака Исмаила ибн аль-Касима, арабского демократического поэта VIII века, популярного среди бедняков Багдада под псевдонимом Абу-ль-Атахия — день точно не определен, но считается — в июне, у Бичер-Стоу — 14-го, а у А. Твардовского — 21, у Вашего сына — 17-го, у ме-

ня, замечу скромненько, — 12-го).

Но я хочу сказать совсем о другом. Пользуясь случаем, хочу поговорить с Вами откровенно о Вашем сыне и о людях, которые его окружают. У нас в Киеве ходят слухи. Как и в те далекие от нас времена, слухи идут, естественно, от первой женщины, от Евы.

— Ох, — говорит она мне. — Он не...

— Как? — недоумеваю я. — Совсем?

— Представьте себе, — утверждает она.

— Послушайте, Ева, — говорю я. — Но как это возможно? Там же вокруг живые люди. И он ведь тоже в конце концов живой человек.

— Однако факт остается фактом, — многозначительно говорит она, прижимая к груди какую-то рукопись.

— Ну, хорошо, допустим, что с А. В. он не... Но с С. С.? Но с А. Б. В. Г. Д. Е. Ж. З. И. ?.. С морячком, сошедшим на берег в Ялте? Свои сто? В честь Дня медроботника?

— Нет, — горячится она. — Он твердо не...

— А что же он да? — стараюсь докопаться я.

— Он ра... Он пиш... Он соч... Он созд... Он твор...

И я окончательно замолкаю. Я радуюсь. О, боги! О, климат Ялты! О, трезвость без берегов!!!»

...И так далее в том же духе (необходимые пояснения: Ева — литератор Е. Пятигорская, жена И. Пятигорского, инженера, друга Некрасова еще с довоенных лет; А. В. — киевский писатель и художник Леонид Волинский; С. С. — крымский писатель Станислав Славич). Под письмом дата — 20 июня 1967 года. В те дни настроение у Некрасова действительно было хорошее, казалось, что и дела его налаживаются, во всяком случае, он много работал и к концу года решил снова поехать в Ялту. Тогда-то, собираясь в дорогу, он вдруг обнаружил среди своих старых бумаг... почти 30 страниц рукописи своей первой повести. Они почему-то не вошли в книгу и никогда не публиковались, он просто-напросто забыл об их существовании. И вдруг...

Кто читал Некрасова, тот хорошо знает, как он любил всякие литературные находки — и не только в переносном, но и в прямом смысле слова. Эта же находка особенно его порадовала, как бы возвращая к тем дням послевоенной молодости, когда он запоем писал свой «Сталинград» (так первоначально называлась повесть).

— Теперь это, увы, никому не нужно, — сказал он.

— Как не нужно? — взыграло мое журналистское нутро. — Отдай мне, и мы напечатаем это в «Литературке».

— Во-первых, твои не напечатают, тут много... А во-вторых... Послушай, я, кажется, кое-что придумал, — и, как всегда в такие минуты, в глазах его появился озорной блеск. — А почему бы тебе не приехать за этим выдающимся произведением к нам в Ялту? Совместим полезное с приятным, а редакция не обеднеет от твоей командировки на пару дней...

Некрасов был большим мастером по созданию всяких, как сегодня сказали бы, нестандартных ситуаций — с невероятными поездками и неожиданными встречами. Я, конечно, загорелся — кто отказался бы провести новогодний уик-энд в Ялте в такой компании? Тут же вспомнилось, что в феврале 1968 года будет широко отмечаться 25-летие Сталинградской битвы. Когда я, позвонив первому заместителю главного редактора «Литгазеты» В. Сырокомскому, сказал, что могу подготовить для редакции неопубликованные страницы из «Окопов...», но для этого необходимо съездить на пару дней к автору в Ялту, Виталий Александрович, не раздумывая, тут же дал свое «добро».

Это были, наверное, самые лучшие дни нашей многолетней дружбы. Он был, как всегда, с мамой. Рядом жила Ася Берзер, Анна Самойловна, — его любимый редактор: именно она, как известно, готовила к печати и вела в «Новом мире» все его публикации. Им хорошо работалось. Настроение было отличное. Январь выдался сухим и в меру теплым. А главное — абсолютно трезвым! Мы наслаждались прогулками, бесконечными разговорами, много шутили, смеялись... Даже не могу вспомнить, кто еще из писателей жил тогда в Ялтинском доме творчества — нам никто не нужен был. С его слов я записал в блокноте короткое авторское предисловие. Вот оно:

«Предлагаемые читателю главы из повести «В окопах Сталинграда» написаны были 23 года назад, летом 1945 года, но в книгу не вошли. И не вошли по следующей причине. Закончив две части повести (кончались они тогда подготовкой к танковой атаке на водонапорные баки Мамаева кургана — глава 26-я), я отпечатал их на машинке и приступил к 3-й части — к танковой атаке и последовавшими за ней событиям.

Но тут подвернулась возможность, хотя

я уже демобилизовался, побывать в Польше, Австрии, Чехословакии. Работа была прервана. Перед отъездом я успел только дать своему другу — москвичу отпечатанный текст — пусть повезет в Москву, покажет кому-нибудь, авось...

За время моего отсутствия рукопись побывала во многих руках и редакциях и в конце концов попала в «Знамя». Всеволоду Вишневскому она понравилась, и решено было немедленно сдать ее в набор. Но с условием: не канителиться с 3-й частью, а тут же, в Москве (я приехал из Киева), срочно написать концовку и сразу же — в типографию. Так родились последние четыре главы.

Публикуемое ниже — начало «несостоявшейся» третьей части. Смею надеяться, что ко дню 25-летия окончания Сталинградской битвы рассказ о последних днях сражения представит для читателей «Литературной газеты» определенный интерес».

...Интерес был более чем «определенный». Эти главы мы опубликовали 31 января 1968 года в канун годовщины Сталинградской победы под названием «Чертова семерка» (тогда у нас в стране с успехом шел американский фильм-боевик «Великолепная семерка»).

Нужно отдать должное «Литературке»: несмотря на то, что уже полным ходом начался второй этап гонений и нападков на Некрасова, наша газета продолжала, в отличие от других изданий, печатать опального писателя. Это имело для него немаловажное значение, ибо даже «Новый мир» не мог тогда напечатать «Городские прогулки». У нас же в «Литгазете» ко дню Победы в 1969 году все-таки вышел четырехколонник «Валега» под рубрикой «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» Описана там довольно занимательная история некрасовского ординарца — героя его первой книги, героя его же фильма и, наконец, живого прототипа, история, которая вышла позже в качестве постскрипума к «Трем встречам» в книге «В жизни и в письмах» — кажется, последней книги Виктора Некрасова, изданной на родине.

Вот она лежит передо мной: небольшая, в светлой обложке с фотопортретом автора в полный рост. Стройный, элегантный. Вроде бы на ходу приостановился и с удивлением или иронией глядит на нас. На моем экземпляре автор собственноручно пририсовал себе фломастером тросточку (к тросточке мы еще вернемся), будто держит ее в руке, а на внутренней странице оставил надпись: «Дорого-

му моему Гришке — без слов... Вика 17.IX-71».

4

В эту книгу вошла и «Чертова семерка», о которой упоминалось выше. А вообще некрасовские «рассказы с постскриптумами» могут сказать читателям об их авторе, пожалуй, больше любой другой его книги.

Еще несколько страниц того периода я обнаружил среди своих бумаг. Телеграмма из редакции: «К десятому февраля подготовьте ответы на два вопроса обращенных одному из видных военных писателей дптк первое кто из прототипов наших книг жив зпт какова их послевоенная судьба зпт второе будете ли продолжать писать военные темы зпт каковы ваши творческие планы». Получив телеграмму, я тут же ринулся к Некрасову и заставил его писать ответ: хотелось, чтобы, вопреки негласным запретам, имя писателя и его мысли время от времени доходили до массового читателя, тем более, что в них, как оказалось, раскрываются не только некоторые черты характера Некрасова, но и кое-какие «секреты» его творчества. У меня сохранились пять листков бумаги, размашисто исписанных карандашом Некрасова (должен заметить, что и повести свои он почти всегда писал карандашом, часто — на оборотной стороне своих прежних рукописей). Ответы, правда, в сильно сокращенном виде, опубликованы в февральском номере «Литгазеты» в 1970 году ко дню Советской Армии. Написаны они, как всегда у него, предельно лаконично, честно и искренне:

«На первый вопрос могу ответить: да, мне повезло, остались еще фронтовые друзья. И Ваня Фищенко (он же Чумак из «В окопах Сталинграда») — сейчас в Червонограде, орудует в шахтах; и Николай Страмцов — все еще военный, вероятно, уже полковник; и Николай Митясов (не путать с героем повести «В родном городе», а почему — об этом в другой раз) — тоже все еще носит погоны и тоже, вероятно, полковничьи, и Толя Кучин (он же Лысогор из «Окопов»...) — живет под Москвой; и начарт Половнев — он в далекой Сибири; и Лазарь Бречко, начфин (тоже персонаж «Окопов»), которого все звали почему-то, несмотря на хрупкую комплекцию, Лазарище — этот совсем далеко забрался, на Дальний Вос-

ток; а кроме того еще госпитальные однопалатники — одним словом, повезло.

Ребята (хорошие ребята — всем за 50!) работают, служат, растят детей и внуков, короче говоря, как принято писать в газетах (а я сейчас пишу в «Литературную газету» — поэтому на этот раз и мне можно), включились в мирный созидательный труд.

Приятно и радостно об этом писать. Но на фоне этого радостного есть, увы, и нелепые превратности судьбы. И связаны они, эти нелепости, увы, с моим дорогим фронтовым связным Валегой, о котором я писал в «Окопах», и в «Новом мире» («Три встречи») и в мае прошлого года в «Литературной газете».

Как я писал тогда в «Литературке», случилось так, что после нашего расставания в Люблине, где я был ранен, он, Валега, через 25 лет разыскал меня. Столярничал на ст. Бурла в Алтайском крае, «Окопов» не читал, а вот разыскал. Завязалась переписка, я послал ему книги, он в ответ фотокарточки, но нам было этого мало, нам нужно было другое — встреча. Вполне осуществимая мечта. Естественно, что мне во много раз было бы легче добраться до Алтая, чем ему до Киева. А получилось наоборот — он собрался раньше меня, и не один, а с женой и внуком.

Представляю себе эти сборы, накопить деньги, передвинуть, возможно, отпуск, ну и всякое другое. Все это, очевидно, не без трудностей было преодолено, сели втроем в поезд, пересели в Москве, приехали в Киев и... в Киеве меня не оказалось...

Что-то я перепутал, недопонял и, будь оно неладно, перед самым их приездом буквально на два дня выехал в маленькую командировочку. Нужно же теперь... И пришлось дорогим моим алтайцам сменить Киев на Донецк, а бывшего капитана, так мечтавшего о тихих прогулках по Киеву, ну и еще кое о чем, заменить родственницей Валегиной жены. Я не писал бы обо всем этом (это более нелепо, чем интересно), не задай мне «Литгазета» вопроса о фронтовых друзьях. Ну, как тут не поделиться своей печалью...

Но встреча будет! Я должен искупить вину перед Валегой и приехать к нему. Обязательно! Непременно! И в этом году! ¹.

¹ Примечание автора: Некрасов выполнил обещание — был у Валеги на Алтае.

Второй вопрос. Вот на него я с такой определенностью ответить не могу. О войне я писал уже много. Но написанное по свежим следам, в 1946 году («В окопах Сталинграда»), и через 20 лет («Случай на Мамаевом кургане»), хотя и посвящено одним и тем же людям и действиям, тут и там происходило на одном и том же месте, но, что ни говори, рассказывает каждая из этих вещей не совсем об одном и том же.

Что ж, изменилось отношение автора к описываемым событиям? Упаси бог, нет! Но прошли годы, и не малые, и они-то многое изменили. И тебя, и жизнь, ну и какие-то взгляды на нее.

Думаю, что специально о войне — еще один эпизод, еще одна атака, еще один солдат или офицер — писать не буду. Но не вспоминать о ней тоже не могу. Я, например, никогда точно не знаю, чем закончат начатый диалог мои герои. В общем-то они ведут меня за собой, а не я их, хотя я их создатель. А может, никаких «героев» не будет — меня не тянет сейчас ни к романам, ни к повестям — а будет автор. Ну, а с ним труднее всего сладить — бог знает, куда его занесет».

5

Куда его «занесло» — мы знаем. Как человек не только редкой честности, но и отчаянно смелый, он не мог спокойно смотреть на творящиеся несправедливости, не мог не бороться за правду. Открыто выступал в защиту молодого украинского критика Ивана Дзюбы, подвергавшегося преследованиям. Пытался проникнуть на закрытые процессы, где судили диссидентов. Не колеблясь, подписал вместе с другими деятелями культуры и науки известное письмо 137-ми в защиту арестованных. А угроза ареста, казалось, нависла уже и над ним. Похоже, что ситуация складывалась для него даже опаснее той, что была в начале 60-х, хотя тогда он попал в немилость к самому Никите Сергеевичу; был обруган им и назван «не тем Некрасовым» — за публикацию в «Новом мире» зарубежных записок, за поддержку фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича» и т. д. История эта, впрочем, хорошо ныне известна по воспоминаниям участников и свидетелей встреч Н. С. Хрущева с творческой интеллигенцией. Мне же хочется рассказать о том, как эта кампания шельмования

проходила у нас в Киеве. Тут тоже пригодились мне старые блокноты, выписки, черновики собственных корреспонденций.

Апогей — 8 и 9 апреля 1963 года. Светлый и величественный, как его принято называть в официальных отчетах, Сессионный зал Верховного Совета УССР, вмещающий более тысячи человек, заполнен до отказа: здесь секретари обкомов и горкомов партии, руководители республиканских министерств и ведомств, политработники армии и флота, представители творческих союзов, комсомольские активисты, пропагандисты и агитаторы, библиотекарки, завклубами...

Вдвоем с Некрасовым мы сидели на верхнем ярусе и, признаюсь, чувствовали себя довольно неуютно. Мне еще предстояло написать в «Литгазету» небольшую информацию об этом событии, Виктора ожидало нечто более серьезное — его заранее и уже не раз предупреждали, что обязательно нужно будет выступить, долго и нудно призывали признать ошибки, покаяться — только так, дескать, можно искупить свою вину.

Открыл заседание член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Украины Н. Подгорный, доклад прочитал тогдашний главный идеолог республики А. Скаба. Помимо Некрасова, основного грешника, критиковались (за «туманное идейное содержание стихотворений») Микола Винграновский, Лина Костенко, Иван Драч, Савва Головановский.

Начались прения, все шло своим чередом, обстановка постепенно накалялась, специфически подобранная публика научно реагировала возгласами «правильно!», когда председательствующий представил вдруг слово Некрасову. Я едва успел произнести «ни пуха!», он, как водится, послал меня к черту, и твердой походкой неторопливо стал спускаться вниз. Нужно заметить, что «состешствие» это продолжалось непривычно долго. Все остальные намеченные к выступлению ораторы заблаговременно усаживались в ближайших рядах партера, чтобы мигом подняться на трибуну. Некрасову же предстояло выйти из зала в фойе, пройти его, спуститься по четырем лестничным пролетам, снова преодолеть широкое фойе, и лишь затем, опять войдя в зал, прошагать к трибуне. Там уже нарастал шум нетерпения: «совсем не уважает аудиторию...» Но вот, наконец, на трибуну — главный виновник.

Честно говоря, я никогда до того не

видел его выступавшим с трибуны, тем более — перед такой многолюдной аудиторией. К тому же настроенной, мягко говоря, недружелюбно. Мне стало страшно за него. Только бы не сорвался... Но он уже говорил. И говорил таким молодым, таким ясным и уверенным голосом, что я поразился. Ни тени волнения. А зал слушал, что называется, затаив дыхание. Говорил он о чести, о том, что всегда поступал по совести и писал честно, что никак не может принять обвинения и признать за собой несовершенные ошибки, ибо признав, потерял бы уважение к себе, как к писателю и коммунисту. И кончил громко, даже с несвойственным ему пафосом, что писал и будет писать правду. Ничего, кроме правды! Одну только правду, за которую сражался в окопах Сталинграда!

Что тут началось! Произошло настоящее чудо. Последние слова были произнесены таким тоном, что весь зал, за исключением, разумеется, президиума, буквально обрушился аплодисментами. Правда, под суровыми взглядами членов президиума, рукоплескания как-то постепенно опускались ниже и ниже, как бы исчезая под откидными крышками, установленными перед каждым депутатским местом. Но все равно настоящий и никем не ожидаемый триумф писателя и гражданина состоялся! Когда он возвращался на место, сидевший недалеко от нас многолетний редактор журнала «Перец» Федор Макивчук, человек, у которого была слава не только остроумца, но и неумного матерщинника, в сердцах произнес довольно громко: «Ну, Виктор, и врезал же ты им, трам-та-ра-рам-там-там!..»

А Подгорный вынужден был в заключительном слове посвятить выступлению Некрасова еще целых десять минут. Дабы другим неповадно было! Особенно возмутило его то, что не признал ошибок. «...Участники совещания убедились, что Некрасов выводов не сделал, ничему не научился, да, пожалуй, и не имел такого желания, — заявил он, назвав выступление писателя «путанным и таким же беспринципным, как и его писания последних лет».

Сегодня подобные нравоучения ничего, кроме грустной улыбки, не вызывают, тогда же от них переходили к прямым угрозам: «Естественно возникает вопрос: за какую же вы, товарищ Некрасов, стоите правду сегодня? От вашего выступления и идей, которых вы продолжаете придерживаться, очень несет мелкобур-

жуазным анархизмом. А этого партия, народ терпеть не могут и не будут, — угрожал первый секретарь ЦК. — Вам, товарищ Некрасов, нужно очень серьезно над этим задуматься!»

...По дороге в корпункт в какой-то «стекляшке» мы выпили, как любил говорить Некрасов, «свои сто грамм», а может быть, и двести. С ходу набросав сухую, протокольную заметку даже без указания имени критикуемых, я, перед тем, как передать текст по телефону в газету, прочитал ее Виктору.

— Все правильно, — сказал он. — Но про меня почему-то ни слова. Даже обидно. И почему бы не дать знать человечеству, что Некрасов все-таки не дрогнул, а?

Он прав, конечно. Но как это сделать? Как написать, чтобы редакция не выкинула, а бдительный цензор пропустил? У меня сохранился черновой набросок заметки с этим вписанным абзацем: «Серьезной критике были подвергнуты некоторые литераторы, в частности, В. Некрасов, допустивший в своей работе идейные срывы». И далее указывалось, что его выступление «не удовлетворило», что он проявил «непонимание ошибок», «неумение оценить», «нежелание серьезно прислушаться»... То есть полный набор тогдашних зубодробильных штампов, из которых, однако, каждому становилось ясно, что грешник не покаялся. Так оно и было напечатано в «Литературке» — к явной радости ошельмованного, но действительно не дрогнувшего писателя.

У Подгорного в заключительном слове было одно любопытное место, которое, на мой взгляд, уместно здесь вспомнить. «Странно, — недоумевал он, — что до сих пор никто из критиков и писателей Украины не выступил в печати с основательной и принципиальной партийной оценкой идейно вредных взглядов В. Некрасова... Кое-кто из руководителей Союза писателей высказывал мысль о том, что писательская общественность будто бы не несет ответственности за ошибки того или иного литератора. Такое утверждение мы считаем неправильным. Мы полностью на стороне рабочих «Арсенала», которые при встрече с писателями подчеркивали серьезную ответственность Союза писателей за идейные недостатки произведений своих членов...»

Что никто основательно не выступил — это правда. Действительно, никто из серьезных и уважаемых писателей Украины (не говорю о циниках-функционерах) не позволил себе ни разу выступить со

статьей или речью против Виктора Платоновича, хотя многих уговаривали и даже заставляли. В особенно трудном положении находились тогда такие крупные мастера литературы, как, скажем, Микола Бажан и Олесь Гончар — их обычно пытались «обрабатывать» на самом «верху». Тем не менее, и Гончар, вынужденный, как руководитель СП Украины, выступить первым после докладчика, и Бажан, которого тоже вытянули на трибуну, умудрились не высказать ни одного упрека или замечания в адрес критикуемых, вообще не сказать ничего конкретного — какие-то общие слова о высоких материях и ни слова по существу разговора. В ту эпоху наряду с эзоповской школой в чисто литературном творчестве возникла еще целая школа эзоповских выступлений с трибуны. Как ответ на ситуацию, когда защититься невозможно, отказаться от выступления нельзя, а говорить неправду совесть не позволяет. Если уж не помочь, то хотя бы не навредить, *pop vicere!* — любили повторять древние римляне... К Некрасову, повторяю, лучшие писатели Украины, как старые, так и молодые, всегда относились с подчеркнутым уважением и симпатией.

В начале 1989 года поэт Григорий Поженян писал в «Известиях»: «...Да простит меня Олесь Гончар. Вы помните, Олесь, нашу с вами встречу в Ирпене? Это было, когда Виктор еще не уехал в Париж. Очень многим рискуя, вдруг бы я проговорился, вы мне дали деньги для Виктора».

На следующий день после выхода статьи Поженян подробно рассказывал мне, как вместе с украинским писателем Василием Земляком встретили случайно в Ирпенском доме творчества Олесь Гончара, так же случайно разговор зашел вдруг о Некрасове, Поженян сказал, что Виктор буквально бедствует. Гончар попросил подождать несколько минут, зашел к себе в комнату и вынес деньги: «Передайте ему». Тронутый статьей Г. Поженяна, Олесь Терентьевич, вспоминая об этом эпизоде, говорил мне недавно: «Вы ведь знаете, что мы не были близки с Некрасовым, но я очень уважал его, фронтовика, за честность и настоящий талант. Мне тоже кое-что досталось из-за него. Однажды меня, как руководителя Союза писателей Украины, пригласили на завод «Арсенал» (Примечание автора: думаю, что это именно тот случай, о котором на совещании говорил недовольный Подгорный). Было это в пе-

риод очередной идеологической кампании после некрасовских зарубежных очерков. Оказывается, Виктора тоже пригласили, но он не явился. Возмущенные кем-то люди выкрикивали из зала: «Мы знаем, где он живет, мы пойдем бить ему окна!»

— Как вам не стыдно! — сказал я им. — Вам не нравится его произведение — это ваше право, но разве можно вот так нападать на писателя?..

Меня тогда поразило озлобление людей, продолжал Гончар. А как трудно было защищать Виктора Некрасова и Гелія Снегирева, когда поступила команда исключить их из партии. На парткоме мы тогда все-таки устояли, не исключили их. Это сделали позже, уже без нас...

Вспоминая тот тяжелый для Некрасова 1963 год (в январе — недоброй памяти реплика «Турист с тросточкой» в «Известиях», в марте — яростные нападки из Москвы самого главы государства, в апреле — серия проработок в Киеве), просто диву даешься, как в такой обстановке он умел сохранять бодрость духа, продолжая вести себя так, словно ничего не случилось, оставаясь самим собой, все тем же обаятельным и благородным Виктором Платоновичем Некрасовым.

...Как-то вечером мы с женой вышли сделать кое-какие покупки в гастрономе и попутно прогуляться по Крещатику, — киевляне это любят. Была середина октября 1964 года. Столица республики готовилась торжественно отметить 20-летие освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Поговаривали, что на торжества приедет Никита Сергеевич. Мы шли по нечетной стороне и, миновав пассаж, увидели вдруг, что на противоположной стороне верхних этажей изгибающегося здания у главпочтамта, где уже висели готовые к празднику портреты «вождей», вроде как снимают портрет Хрущева. «Видимо, переставят на другое место», — подумал я, но возня с портретом, висящим уже вниз головой, была настолько необычной, что я тут же позвонил из автомата Некрасову — он жил рядом.

— Ты можешь выйти? Тут напротив происходят какие-то манипуляции с портретом твоего лучшего друга.

Он сразу догадался, о ком речь, и через пять минут мы уже втроем смотрели на происходящее. И как раз в этот миг самый большой портрет полетел вниз. Раздался треск.

— Вот и все, — сказал Виктор как-то откровенно и беззлобно.

Мы вспомнили, что каких-нибудь 11 лет назад, когда было объявлено о смерти Сталина, случилось так, что мы тоже были вместе. Тогда зарождались надежды. Теперь многое было не ясно, но все же надежды на лучшее затеплились. Можно ли было предугадать, что еще через десять лет страна расстанется с одним из своих лучших писателей навсегда?..

6

Мы познакомились в конце сороковых, я тогда делал первые шаги в журналистике, а познакомил нас сотрудник республиканской газеты Я. Богорад — бывший командир партизанского отряда, человек исключительной скромности и честности, Виктор его очень любил. Что больше всего объединяло нас? Пожалуй, минувшая война, мы еще сильно чувствовали ее недавнее дыхание. По-настоящему сблизились к середине 50-х, когда я уже работал корреспондентом «Литгазеты». В Киеве образовалась тогда небольшая группа интересных прозаиков, пишущих на русском языке. Живя в Киеве, они, тем не менее, печатались преимущественно в Москве: их правдивые произведения для нашего местного идеологического климата не подходили. Их было четверо: Н. Дубов — 1910 года рождения, В. Некрасов — 1911-го, Л. Волинский — 1912-го и самый молодой М. Пархомов — 1914-го. Как видите, почти погодки, почти однолетки. Тогда еще сорокалетние — сейчас даже не верится. За исключением Дубова, который по состоянию здоровья не воевал, а работал, если не ошибаюсь, токарем на военном заводе, все — бывшие фронтовики. Первые трое — постоянные и весьма активные авторы «Нового мира». Позднее один известный литературный критик назовет эту четверку «киевской школой современной русской прозы». Они очень дружили между собой, хотя были совершенно разными.

Николай Дубов, которого почти все почтительно называли Николаем Ивановичем, был человеком строгого нрава, достаточно суровый и требовательный (ко всем и к себе), немногословный, добрый, ходил он с необыкновенно красивым и умным, угольно-черным громадным нью-фаундлендом на длинном поводке по имени Бэр (я называл его уважительно Борис Николаевич). Одна за другой по-

являлись дубовские повести «Сирота», «Жесткая проба», «Небо в овчинку», «Мальчик у моря», «Беглец», наконец, роман «Горе одному». И была у этих произведений весьма оригинальная, я бы сказал, парадоксальная судьба: сначала их печатал «Новый мир» для своих взыскательных читателей, а вслед за тем они выходили отдельными книгами в издательстве «Детская литература». Книги для подростков? Да, но и для взрослых тоже. И Государственную премию СССР он получил тоже по разделу детской литературы. О творчестве Дубова много писал (и статьи, и отдельную книгу) Лев Разгон — тот самый, который в наше время широко известен своими рассказами о сталинских репрессиях, в те годы он только вернулся из лагеря в Москву. Сам Дубов не только писал и для молодых, но и в жизни тянулся к молодежи. В конце 60-х он дал мне рекомендацию в Союз писателей.

Леонид Волинский, в компании просто Леля, красивый и всегда подтянутый, до войны и сразу после нее — график и театральный художник, потом писатель и публицист, автор популярных книг о художниках «Дом на солнцепеке» (о жизни Ван Гога), «Лицо времени» и других. Однако имя его вошло во многие энциклопедические издания и, без преувеличения, известно в мире вовсе по другой причине: именно он, будучи лейтенантом, во время штурма Дрездена по собственной инициативе (ведь художник!) и при поддержке солдат батальона занялся поисками и спасением неизвестно куда вывезенной фашистами знаменитой Дрезденской галереи — об этом впервые он рассказал у нас в «Литгазете», потом вышла его книга «Семь дней». Лично мне человек этот был близок еще и тем, что, как выяснилось, осенью 1941 года мы с ним почти одновременно очутились в окружении на Полтавщине, были ранены и попали в плен, и даже какое-то время шли в одной колонне пленных, которых немцы гнали в Кременчуг и далее на запад. Об этом Л. Волинский написал, а «Новый мир» опубликовал эссе «Сквозь ночь» — и это был один из первых правдивых рассказов о трагедии советских военнопленных...

Михаил Пархомов, которого Некрасов любил называть на французский манер «Мишель», как и он сам, закончил до войны инженерно-строительный институт в Киеве, на войне попал в Днепровскую флотилию, затем был фронтовым коррес-

пондентом, в первые мирные годы — редактор газеты «Днепровский водник», сбор «Водного транспорта», — нужно ли удивляться тельняшке, на обложках его первых книг? Потом пошли серьезные повести «Судьба товарища», «Мы расстреляны в сорок втором», «Был у меня друг», «Нелетная погода». Благодаря суровой правде, они тоже пользовались успехом у читателей, отмечались критикой. Сам Пархомов всегда отличался широтой души и открытым характером, он и по сей день пользуется уважением в среде писателей Украины. Именно в его, всегда открытом доме, чаще всего собиралась четверка, к которой со временем примкнули и мы, молодые. Пожалуй, именно Пархомову я обязан появлению в свет моей первой книги — он буквально заставлял меня писать...

И, наконец, сама душа коллектива (как теперь бы сказали — неформального) — Виктор Платонович, которого я, однако, не собираюсь представлять как остальных: это, видимо, ни к чему, поскольку все написанное тут так или иначе посвящено ему.

Так вот, четверка... Помню годы, когда регулярных встреч в Киеве им уже было недостаточно — вместе, порой попарно (Виктор с мамой, кто-то с женой) они ездили и на отдых. Ну, отдых — сказано слишком громко. Ездили главным образом работать, то есть писать: в Коктебель и Ялту, в Дубулты, в Подмоскowie, иногда в Ирпень под Киевом. Там-то и были написаны многие страницы их первоклассной прозы.

Постепенно круг, хоть и понемногу, чуть-чуть, но расширялся. Встречались, как говорили когда-то, домами, но это по вечерам или в праздники, или когда приезжали гости, которых становилось с каждым годом больше. Но чаще всего собирались просто мужской компанией, на мужской разговор («на треп», как тогда выражались), не без «своих ста грамм», разумеется. Встречи эти происходили преимущественно (тут я должен был бы написать что-то вроде «да простят нас бывшие главные редакторы «Литгазеты»), да-да, происходили в нашем корреспондентском пункте на Большой Подвальной (бывшей улице Ярославов Вал, Полупанова, Ворошилова и теперь снова Ярославов Вал), № 10, во дворе. Заведовал корпусом Владимир Леонтьевич Киселев, к тому времени уже известный писатель, я был просто собственным корреспондентом по Украине. Было у нас три

смежных комнаты: в первой сидел я, Киселев — в третьей, в средней хозяйничала секретарь Изабелла Русакова, которую потом сменила Валентина Кравченко — обе великолепно печатали на машинке и отлично готовили кофе, которым иногда завершались посиделки. Но чаще мы все-таки старались к пяти часам разделаться со всеми корреспондентскими делами (готовы были дописывать статьи ночами), отпускали секретаршу и готовились к приему гостей.

Первым, как правило, во дворе (нам было видно через любое из четырех окон) появлялся Бэр, за которым медленно вышагивал Дубов со слегка оттопыренным карманом. Затем влетал Некрасов либо с Пархомовым, либо с Вольнским (он вообще редко приходил один) и с ходу начинал рассказывать нечто совершенно неожиданное и безумно интересное. Рассказчик он был просто блистательный, слушатель — не менее талантливый.

Со временем стали приходиться на наши встречи новые лица: то из числа давних и близких друзей, то из новоявленных и подхваченных Некрасовым молодых талантов, то из инородных, а бывало, и зарубежных гостей. Что касается гостей, то главным их «поставщиком» был, естественно, Виктор Платонович с его бьющей через край коммуникабельностью и магнетическими свойствами души. Такое впечатление, что, скажем, для приезжающих из столицы деятелей культуры самых разных жанров и рангов он был едва ли не главной притягательной силой в Киеве, чуть ли не символом города. А тут еще возрождение Булгакова и некрасовское эссе в «Новом мире», где он так проникновенно описал и дом, и все места, и все маршруты булгаковских героев из «Белой гвардии». Я знал случаи, когда приезжали в Киев «к Некрасову на Булгакова». Но чаще — просто к Некрасову, как таковому. И, наверное, каждого второго или третьего он приводил в корпус. Там мы «имели удовольствие принимать» кинорежиссера Марлена Хуциева и артиста Михаила Казакова, поэта Булата Окуджаву и прозаика Владимира Тендрякова и многих-многих других людей, непременно — ярких и интересных.

Однако такого рода встречи в корпусе носили все же случайный характер. Их не планировали заранее, они могли возникнуть в любой день и в любое время года. И только один-единственный раз в году мы собирались серьезно и с предварительной подготовкой — 9 мая, в день

Победы. Не помню, когда началась эта традиция, но она стала такой привлекательной и обязательной для всех нас, что приходилось порой откладывать служебную командировку, или намеченную поездку, или даже больницу, что угодно, лишь бы не сорвать наш праздник. В этот день, в каком бы виде и когда бы мы ни возвращались домой, жены, даже самые придирчивые, не устраивали нам скандалов, не пилили, они знали: сегодня — святой для нас день. Объявлялась по этой линии полная амнистия. О наших праздниках Победы уже ходила молва, как о чем-то невероятно интересном, к нам просились знакомые из бывших фронтовиков, мы отказывали из-за нехватки мест, возникали обиды, но, может быть, самое любопытное — происходило это даже в те годы, когда 9 мая не было красным днем календаря, а обычными рабочими буднями, помните, был такой период...

Сильнее всего остался в памяти праздник 20-летия Победы в 1965 году. Мы решили отметить его как-то особенно, насытив по-возможности всякой фронтовой атрибутикой. Несколько дней пришлось мне потратить на то, чтобы достать махорку и свиную тушенку, пусть не американскую, которая на фронте считалась

главным лакомством, а хоть нашу родную. Киселев, используя дружеские связи с крупными учеными-химиками, приволок два котелка спирта. Достали ржаной темный хлеб. Приготовили светильники из старых снарядных гильз. Нашли оловянные армейские ложки. Но гвоздем программы и самым неожиданным сюрпризом явился огромный, завернутый в несколько газет, чтобы не остыл по дороге, казан с пшенной кашей, заправленной старым салом, — это притащил из дому Некрасов. Кашу встретили криками «Ура!». Вообще радости нашей не было предела. Фронтовой пир удался на славу. Людей было чуть больше, чем обычно. То был какой-то особый праздник. Господи, как нам было хорошо в той третьей, киселевской темной комнате, какое братство царило за большим «директорским» столом, какие удивительные, невыдуманные (упаси Боже!) истории там были рассказаны! Как веселился Некрасов!

Когда я думаю о нем, часто вспоминаю именно тот день. Интуитивно чувствую, что и он, когда особенно сильно тосковал в Париже по родным местам, тоже вспоминал тот наш прекрасный день Победы. Прости, Вика!

Михаил ПАРХОМОВ

БЫЛ У МЕНЯ ДРУГ...

Много лет назад я написал повесть под таким названием. Слабую повесть, хотя о ней и отозвался одобрительно покойный критик И. Козлов. Дело происходило в осажденном Севастополе. В одной из вражеских траншей санитары нашли раненого командира-моряка. Вокруг лежали убитые враги. Их насчитали полтора десятка. И начальство отнесло их на «личный счет» раненого командира, которому за этот подвиг присвоили звание Героя Советского Союза. Но человеку было совестно смотреть в глаза братве. И он... покончил с собой.

Такова была полная правда. Я не отважился ее рассказать. Оттого и повесть получилась вымученной, слабой, хотя можно в ней обнаружить и честные, выстраданные строки. Тенерь, воспользо-

вавшись тем старым названием, я хочу написать всю правду.

Был у меня друг. Настоящий. Единственный за всю долгую жизнь. Звали его по-домашнему просто: Вика.

Так его называла мать, Зинаида Николаевна, так к нему обращались его сверстники и даже юноши, которые были втрое моложе. Не Виктор, не Виктор Платонович, и не по довольно распространенной в России фамилии, а просто: Вика. И он на это не обижался. Лишь однажды он лукаво выразил протест. На приеме во французском посольстве по случаю приезда министра культуры Андре Мальро, который когда-то присутствовал на первом писательском съезде. Среди приглашенных оказался и мой друг. Он разговаривал с Владимиром Солоухиным. Тот, ес-

тественно, тоже называл его просто Викой. И тут к ним подошла тогдашний министр культуры Екатерина Алексеевна Фурцева. И тоже сказала: «Вика...»

— Называйте меня Виктором Платоновичем, — сказал мой друг. — Иначе мне придется вас называть Катей.

Между прочим, они были ровесниками. И к чести Е. А. Фурцевой надо сказать, что она не растерялась и ответила:

— Пожалуйста.

Кто еще из пишущей братии обращался в те приснопамятные годы к секретарям ЦК или министрам просто по имени? Даже к инструктору райкома комсомола ребята должны обращаться по имени-отчеству «Валентин Петрович» или «Геннадий Михайлович». Так, дескать, «принято». И еще принято носить галстук и пиджак даже в летнюю жару. Когда мне исполнилось шестьдесят лет и «Литературная газета» поместила мою крохотную фотографию, присовав, разумеется, галстук, мой друг ехидно поздравил меня телеграммой: «Впервые увидел галстукетч Поздравляю».

Сам он тоже не носил галстуков. В безгалстучную литературную команду, помнится, входили Даниил Гранин и Константин Ваншенкин, Владимир Тендряков и многие, многие другие. У каждого свой вкус и свое понятие о приличии.

Как люди становятся друзьями? В жизни еще много необъяснимого. Однажды мой друг, вернувшись из Москвы, сказал, что третьего дня проснулся ровно в пять тридцать утра и подумал о старом киевском фотографе НН, обладателе коллекции удивительных снимков довоенного Киева: ампирные фасады особнячков, деревянные флигели, уютные дворики, церквушки на окраинах, извозчики на «дутиках», лоточники, усатый водитель единственного в городе открытого «пасарда», афишные тумбы... «Надо навесить старика, — сказал мой друг. — Мы давно у него не были». На следующий день мы пешком отправились на окраину. И услышали, что именно в ту самую ночь в пять тридцать старик умер. Как это объяснить?

А разве не странно, что мы, учась в одном институте на одном архитектурном факультете (тогда в Киевском строительном институте насчитывалось всего около пятисот студентов, хотя сейчас их там тысячи), ежедневно встречаясь в аудиториях и коридорах, так и не сблизились? А могли бы! Нас тянуло к литературе. Сокурсник моего будущего друга

И. Локштанов уже печатал стихи в местном журнале, другой будущий архитектор Л. Серпилин сочинял прозу, а тот, которого я потом называл Викой, тоже писал про каравеллы и корсаров, беря уроки мастерства у известного в то время киевского беллетриста Дмитрия Урина, автора нашумевшей «Шпаны». Пробовал перо и я сам. И все-таки мы ни разу не произнесли хотя бы мысленно: «Есть контакт!»

Думаю, что всему виной было внезапное увлечение театром. Мой будущий друг, окончив предварительно студию при Киевском театре русской драмы, стал театральным художником и актером. Эту же студию окончил тоже И. Локштанов, впоследствии заслуженный артист БССР.

Снова встретились мы уже после войны, когда трехлетняя разница в возрасте стерлась сама собой. Оба были капитанами, оба начинали писать о пережитом. Мой будущий друг был демобилизован по ранению еще в сорок четвертом, пытался поступить в аспирантуру, но «не прошел», как ранее, до войны, «не прошел» у Станиславского, хотя мог бы стать отличным актером, а твердость руки и острый глаз сохранил на всю жизнь. Во всяком случае, когда много лет спустя он в Малеевке сам оформлял свою будущую книгу «Первое знакомство», его рисунки хвалили такие мастера, как Кукрыниксы. А вот поди ж ты, «не прошел». И должен был поступить в газету, занимавшуюся вопросами искусства...

Это только в кинофильмах солдаты возвращались с войны, усыпанные цветами, под бравурное ликование до блеска надраенной меди духовых оркестров. В жизни все происходило куда прозаичнее. Киев был разрушен на три четверти. Водопровод не работал. Света не было. Но, к счастью, немолодым уже женщинам удалось пережить оккупацию. Мать и тетя моего друга только переселились в новую коммунальную квартиру на последнем, четвертом этаже другого уцелевшего дома, стоявшего чуть ниже на той же Кузнечной (ныне им. Горького) улице. Жили в двух комнатах. Ту, что была побольше, разделили фанерной перегородкой. И там, при свете плашек, была карандашом — он всегда работал карандашом, «не заводя архива» для потомства — написана одна из самых пронзительных, одна из самых честных книг о войне.

Сначала она называлась «На краю земли». Затем в журнале «Знамя» ее переименовали в «Сталинград». А к широко-

му, массовому читателю она пришла под названием «В окопах Сталинграда».

Позднее, много лет спустя, когда мы хоронили поэта Якова Городского, мой друг сказал: «Знаешь, он был первым человеком, прочитавшим мою рукопись».

Но Я. Городской не стоял у власти. Он мог помочь только добрым словом. Пришлось отослать рукопись в Москву. К счастью, она попала в руки талантливого, умного и честного критика Александра, а затем уже на стол Всеволода Вишневского.

«Этот год пройдет под знаком «Сталинграда» Виктора Некрасова», — написал Вишневский.

Он не ошибся. Повесть была удостоена Сталинской премии. И тогда к автору снизошел «сам» руководитель Союза писателей Украины Александр Корнейчук.

— Вика, — сказал он, золотисто сияя лауреатскими медалями и орденами. — Давай поедем на моей машине по Украине.

— С удовольствием, только без этого, — Некрасов показал на грудь литературного генерала.

— Ну зачем же? Пусть люди видят, с кем имеют дело, — ответил Корнейчук.

Поездка, конечно же, не состоялась.

И второй разговор Некрасова с Корнейчуком ни к чему не привел. Некрасов получил письмо от своего фронтового друга Ивана Фищенко, выведенного в повести под именем Чумак. Человек, прошедший огонь и воду и медные трубы, многократно раненный, награжденный многими орденами, в том числе и орденом Боевого Красного Знамени, по глупости завербовался на Дальний Восток. Он работал в шахте, и у него открылись старые раны. Как его оттуда вытащить? Некрасов обратился к всесильному Корнейчуку. Но тот ответил: «Ничего, пусть узнает жизнь».

Это Чумак, морская душа, должен был «узнать» жизнь! Некрасов написал Борису Горбатову. Тот был дружен с министром угольной промышленности и сделал все, чтобы спасти бывшего воина. Надо ли после этого удивляться тому, что литературный чиновник и честный писатель не питали друг к другу особой симпатии? Подумать только, жаловался на одном собрании Корнейчук, приезжает в Париж автор идейно порочной повести «Кира Георгиевна», и об этом пишут во всех газетах. А приезжаешь ты, заместитель председателя Всемирного Совета Мира, и это событие отмечают петицией на последней странице».

На том собрании в бывшем институте благородных девиц Некрасова впервые публично и далеко не благородно прорабатывали. В его защиту смело выступил только критик Иван Дзюба, сбежавший для этого из больницы, в которой лежал. Оратор прямо сказал все то, что думает о литературных чиновниках, назвав их поименно. Что тут началось! «Кто за то, чтобы разрешить Дзюбе продолжить свое выступление?» — архидемократично, не сомневаясь в результатах голосования, спросил председатель. Только мы с Некрасовым подняли руки. И оратора лишили слова. Кому приятно выслушивать правду, которую режут тебе в глаза?

Подавленные ушли мы с того собрания. Некрасов молчал. В его жизнь начали настойчиво вмешиваться. Делай то, не делай этого... Раньше все зависело от него самого. А теперь... Он стал другим. Жестким, молчаливым, несговорчивым. Оставаться покладистым и веселым парнем он уже не мог. Когда вмешиваются в твою жизнь, когда хотят ее переделать на свой лад, либо протестуешь и сопротивляешься, либо подчиняешься. Но достаточно тебе хоть один раз наклонить голову, только один раз, и ты пропал. Будешь потом оправдываться, криво усмехаясь, что не надо плевать против ветра, что умный в гору не пойдет...

— Слушай, — сказал мне при встрече писатель Валентин Бычко, — скажи своему Некрасову, пусть напишет Хрущеву, покается. Он что, умнее всех нас?

— Нет, — ответил я. — Он не умнее, а честнее.

Примерно это же, но другими словами, сказала мать Некрасова Зинаида Николаевна, провожая нас на очередное партийное собрание. «Мальчики, веселитесь», — напутствовала она нас, а потом обратилась ко мне одному, чтобы Вика не слышал: «Если он начнет каяться, он перестанет быть моим сыном».

Врач по профессии, Зинаида Николаевна училась в Швейцарии. То ли потому, что она была из Симбирска, то ли потому, что русская колония была не очень велика, но у нее в доме частенько бывал Владимир Ильич Ленин (я видел письмо из московского музея, просившего прислать скатерть, на которой он чаевничал). Семья Некрасовых была дружна и с А. В. Луначарским, который помог Вике поступить в институт, когда туда принимали преимущественно детей рабочих. А сестра Зинаиды Николаевны, тетя

Соня, в двадцатых годах работала с Надеждой Константиновной Крупской. Всем этим можно было гордиться. Но мой друг никогда этим не козырял. И его мать тоже. Лишь однажды, когда после ужина мы присели к радиоприемнику, моя жена, чтобы занять Зинаиду Николаевну, стала перелистывать с нею старый семейный альбом. Обнаружив в нем фотографию Владимира Ильича, жена спросила: «А это кто?» На что Зинаида Николаевна ответила: «Один мой знакомый».

Свою мать я не помнил, рос сиротой, и относился к ней как к матери.

Доброты она была необычайной. Однажды мы возвращались из Одессы. Взяли одно купе. Постелей в нем не оказалось — все постельные принадлежности железнодорожное ведомство отправило «покорителям целины». Стоя в коридоре, мы «поливали» железнодорожников. Жена старалась нас утихомирить. А когда мы вернулись в купе, то увидели, что Зинаида Николаевна, скрепив английскими булавками часть своего гардероба, соорудила «думочку». Протянув ее моей жене, она сказала: «Лидочка, это для вас. Иначе вы не заснете».

Зато у ее сестры Софьи Николаевны был гордый, строптивый характер. Когда в начале пятидесятых отстроили сгоревший пассаж и Некрасову (лауреат все-таки!) предоставили в нем отдельную двухкомнатную квартиру, она наотрез отказалась покинуть свою каморку. И денег от племянника тоже не брала — жила на скудную пенсию. Поэтому Некрасову пришлось хитрить. Он приносил ей иностранные журналы якобы для перевода от имени какого-то издательства, а потом по почте отсылал за эту работу «гонорар». Только на закате жизни она «разбогатела»: журнал «Новый мир» опубликовал ее воспоминания (ее девичья фамилия Мотовилова).

В этой семье относились без почтения к денежным знакам. В то время, как другие лауреаты торопливо обзаводились дачами и автомашинами, Некрасов отдал свою премию на приобретение мотоцикла для инвалидов войны. Жили скромно. Утром — кофе с гренками из оставшегося с вечера батона, обед из двух блюд (накормят любого случайного гостя) и холодная вода в графине для матери, вечером — свежая булка с маслом и сыром, чай из самовара, варенье... Вещи — только самые необходимые. «Цейсовские» книжные шкафы, диван для гостей, кушетка и тахта, комод и старый двухтум-

бовый письменный стол. На этажерке — радиоприемник (позднее появился и черно-белый телевизор). На стенах картины Серебряковой и Бурлюка, которые пришлось продать перед вынужденным отъездом за границу, гравюры и дружеский шарж на Игоря Александровича Саца работы хозяина.

Некрасов помогал многим опальным писателям — их в те годы хватало, а когда сам обезденежил, ему в трудные дни помогали деньгами москвичи, ленинградцы и киевляне. Иначе и быть не могло.

У меня с ним тоже были самые простые денежные отношения. Он мог позвонить и, спросив, сколько у меня на сберкнижке, сказать, что берет половину. Мог предложить вместе поехать в дом творчества и, услышав, что у меня нет денег, купить путевки на всех.

Даже в те дни, когда он сидел на баобах, он не поступался своими принципами. Была, помнится, чистая белая зима. Именитый кинорежиссер Бондарчук пригласил Некрасова на званый обед и предложил написать сценарий многосерийного фильма по роману Л. Н. Толстого «Война и мир», посулив толстые тысячи. «А что мы будем делать с Платоном Каратаевым?» «А как вы относитесь к высказываниям Толстого о роли личности в истории?» — спросил Некрасов. Режиссер отмахнулся: «Пустое...» И Некрасов отказался. «Надо иметь право поставить свое имя рядом с Толстым», — сказал он мне.

А кино он любил. Позади у него уже был сценарий кинофильма «Солдаты», написанный по книге «В окопах Сталинграда». Картину снял на киностудии «Ленфильм» режиссер Иванов. Это одна из лучших картин о войне (за сценарий автор был удостоен премии). В этой картине в роли Фарбера впервые снялся Иннокентий Смоктуновский, а в роли Чумака «чапаевский Петя» Леонид Кмит. Но это картина о той войне, которую видели солдат Виктор Астафьев и окопный офицер Виктор Некрасов. Генералы и маршалы знали совсем другую войну. Не потому ли генералу Чуйкову эта картина не понравилась? Тогда Чуйков командовал особым Киевским военным округом. Он пригласил Некрасова к себе. Вернувшись от него, Некрасов признался: «Знаешь, что он мне сказал? Что гора родила мышь». Еще бы, ведь в картине не было мудрых стратегов и храбрых полководцев.

С Чуйковым Некрасов был уже знаком. Они встречались в Сталинграде. Но после

войны. Приехав туда, Некрасов встретил Бориса Полевого, и тот пригласил проводить прославленного генерала, остановившегося в номере «люкс». Вечером писатели пришли в гостиницу и застали генерала в ожидании переселения... под лестницей. Оказалось, что его вытурили из номера, поскольку туда должна была въехать шахиня. Если мне не изменяет память, то была шахиня Сорей, оставленная впоследствии шахом и ставшая кинодивой. По этой причине три бывших фронтовика распили бутылочку под лестницей...

Случалось, я забегал к Некрасову среди дня. Обычно он лежал на тахте с журналом или книгой. Над ним всю стену занимала подробная (виден фасад каждого дома) карта Парижа. В углу над постелью матери желтело костяное распятие. В те дни сильное темное чувство тревоги не отпускало Некрасова. На него часто находили минуты тоски.

Я устраивался рядом. И мы вспоминали Коктебель или Ялту. Там море совсем близко. Внизу, на набережной, тяжелые темные волны с грубым грохотом налетали на причал, раскачивали пришвартованные катера. Там играла курортная музыка, а мы ныряли вниз головой, боролись с большой водой.

Литературную судьбу Некрасова трудно назвать легкой, хотя уже его первая книга была удостоена премии. После «Окопов» он написал пьесу «Опасный путь», которую МХАТ анонсировал, но не поставил. Свет рампы она увидела только в постановке С. Лунгина на сцене театра им. Станиславского, а опубликована была только спустя четверть века в журнале «Радуга». За пьесой последовал рассказ «Рядовой Лютиков», который тут же подвергли уничтожающей критике. И пошло... Повесть «В родном городе», это первое честное произведение о возвращении с войны, изданная мизерным тиражом «Молодой гвардией», также вызвала раздражение официальной критики. А писалась эта книга трудно. Когда Некрасов закончил повесть и отослал ее в «Новый мир», в журнале неожиданно сменился редактор.

— Не повезло, — сказал Некрасов.

— Вот увидишь, Симонов тебя напечатает, — обнадежил я.

И точно, пришла телеграмма от Симонова, отдохавшего на Кавказе. Константин Михайлович приглашал Некрасова к себе.

Вскоре журнал напечатал повесть. Но

радости она автору, повторяю, не принесла. Критики были настороже. Велико-возрастная дама из комсомольской газеты жаждала идеального героя, представляя его себе таким Тарзаном (трофейный фильм о нем не так давно прошел по всем экранам), но, разумеется, рабоче-крестьянского происхождения. Ученые мужи требовали героев, достойных подражания — гidalго Дон Кихот из Ламанчи и Чичиков их не устраивали. Ну, а демобилизованный офицер Митясов по всем статьям в герои не годился. И досталось ему по первое число.

Зато «Первое знакомство» пришло к читателю легко. Почта еще работала как в доброе старое время. Некрасов отправил рукопись в журнал, который снова редактировал Александр Трифонович Твардовский, и тот уже на следующий день, придя в редакцию, утром прочел рукопись.

Некрасов вылетел в Москву.

Так после войны о заграниче еще никто не писал. Разумеется, и раньше были честные свидетельства о «той» жизни. Но книга Б. Пильняка об Америке давно была под запретом, а «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова считалась вредной. В чести были только те сочинения, в которых грубо охаивалось все чужое. В них империализм неизменно загнивал, капиталисты разлагались, а рабочие бастовали. Фотографии трущоб Нью-Йорка печатались во всех газетах из года в год. Ну, а что касается сочинений журналистов-международников, то они обычно начинались словами «Наш серебристый воздушный лайнер оторвался от бетонной дорожки родного аэродрома...»

Некрасов же написал об Италии с любовью. Его возмущало, что иные работники советского посольства, живя в Риме, мягко говоря, не уважают итальянский народ. Сам он познакомился в Италии со многими людьми. Потом они приезжали к нему в гости — художник Ренато Гуттузо, художник и писатель Карло Леви, издатель Эйнауди... Карло Леви рассказывал о своих киевских встречах в книге «У будущего древнее сердце». А Эйнауди приехал в Киев с женой и приятелем, писавшим для детей. Им захотелось приобрести хоть какую-нибудь лубочную картину.

Достать ее можно было разве что на Житнем базаре. Утром мы пришли к гостинице «Украина», чтобы сопровождать гостей. Молодая интуристовская переводчица, явно стесняясь, сказала, что инос-

транцам на рынок ездить не полагается, у них совсем другая «программа». Но мы ее заверили, что она может не беспокоиться, никаких военных объектов гости не увидят.

Житный базар расположен возле Днепра. Когда-то здесь торговали житом.

Что представлял собою в то время Подол? Хибары, облупившиеся фасады двух и трехэтажных домишек, булыжные мостовые, заколоченные церквушки, крытые зеленой жостью, чахлый бульвар, отделявший Верхний Вал от Нижнего. Бульвар упирался в площадь. Здесь-то и было пестрое, крикливое торжище, именуемое Житным базаром. Свирепо пахло дегтем, влажными рогожами, килькой и свежей днепровской рыбой. Гости оживились. Быть может, рынок напомнил им родную Италию?

Мы с трудом протискивались между возами, забирались в самую гущу хмельной от возбуждения базарно-праздничной толпы. Лубочных картинок с лебедями и хвостатыми русалками на сей раз не было. Дошли до стены, ограждавшей базар. Там на возу с полосатыми херсонскими арбузами живописно возлежал однорукий инвалид. Был он в синей рубаше и линялых портках. Эйнауди нацелился на него объективом своей зеркалки. Осведомился: «Можно?» Некрасов ответил: «Разумеется».

И тут перед нами выросла толстая подольская торговка. Лицо ее было в таких внушительных бородавках, что напоминало рогатую морскую мину. «Ши-пионы!.. — завопила она, проявляя высочайшую бдительность. — Наших инвалидов хфотографируют!..»

Нас окружили местные доброхоты. Появился милиционер. Он и отвел всех в ближайший подотдел нашей рабочей-крестьянской.

Помещался он в бывшем магазине. В тесном пространстве было полно народу. Заслуженная гнусавая проститутка, ханыги, вертявые карманники, цыгане... Молодая цыганка, сидевшая на полу в застиранных пестрых ситцах, кормила грудью младенца. Ханыги ругались. Наши гости были растеряны. Думали, должно быть, что прямоком попадут в Сибирь.

Некрасов пошел объясняться к начальнику. Паспортов ни у него, ни у меня с собой не было. Удостоверений тоже. Пришлось звонить в Союз писателей.

Вскоре все уладилось.

Об этой истории не стоило бы вспоминать, если бы все не повторилось летом

восемьдесят восьмого... Об этом поведал комментатор телевидения Игорь Фисуненко, сопровождавший иностранных гостей, когда те совершали круиз мира по Днепру. Херсонские дружинники и милиционеры снова задержали группу наших гостей. Сердце радуется: не перевелись еще шибко бдительные люди на Руси.

И все-таки то было удивительное, благословенное время. История искусств знает «Золотой век Перикла». История русской словесности узнала «золотые годы Твардовского». Чины, награды и звания авторов не имели для него значения. Единственным критерием стало качество литературы. В журнал потянулись настоящие писатели. Память подсказывает: «На Иртыше», «Из жизни Федора Кузькина», «Деревянные кони», «Один день Ивана Денисовича»... Журнал читали от корки до корки. По всей стране. Ждали каждого номера. Но других редакторов это вряд ли радовало. А тем более официальную критику.

Ошибочно думать, будто в журнале привечали только «своих». Александр Трифонович, случалось, возвращал рукописи и Тендрякову, и Паустовскому. Не понравилась ему и некрасовская «Кира Георгиевна». Но, опубликовав эту повесть, он потом изменил о ней мнение. Всякое бывало. От неудач никто не застрахован. Но это не вызывало обид.

Почему-то многие политические деятели под конец жизни начинают «вплотную» заниматься литературой и искусством. Сталин, писавший в молодости стихи, на склоне лет занялся вопросами языкознания. Мао Цзедун, тоже несостоявшийся стихотворец, возгласил «культурную революцию» по разгрому интеллигенции. Хрущев, любимым бардом которого был безвестный сочинитель Махия, решив все экономические проблемы так успешно, что белый хлеб стали выдавать только больным людям, переключился на вопросы литературы, живописи и скульптуры, назвав в Манеже художников «педерасами». Брежнев же сам занялся сочинительством... Тут будет уместно сказать, что Некрасов, находясь уже за границей, оставался советским гражданином до тех пор, пока Брежнев не был награжден Ленинской премией по литературе. Случилось сие в апреле. К Некрасову тут же обратился один из журналистов с вопросом, что он думает о «Малой земле» и прочих шедеврах. «К литературе это отношения не имеет», — честно ответил Некрасов. И расплата за эти слова не

заставила себя ждать. Некрасова тут же лишили советского гражданства.

Но все это произойдет через полтора десятка лет. А тогда... Бездарные рифмоплеты, драмоделы и поднаторевшие на ругани публицисты, называвшие себя «автоматчиками партии», натравили не обремененного знаниями и вкусом Хрущева на всех мало-мальски талантливых людей. Досталось по первое число и Некрасову. Особый гнев вызвали его путевые очерки «По обе стороны океана». Газета «Известия», руководимая Аджубеем, тут же поместила опус под названием «Турист с тросточкой». Автор его мне неведом. И все же я рискну назвать его подонком.

Он мог приклеить Некрасову любой ярлык: «Эстет, трубадур, формалист, сноб, нигилист, графоман» — палитра подонков весьма обширна. Но назвать Некрасова «туристом с тросточкой»! До этого надо было додуматься. И это человека, который за границей не интересовался фирменным ширпотребом, ресторациями, манекенщицами и стриптизом, человека, который охотнее всего встречался с простолюдными, предпочитая их обществу приемам у миллионеров и сенаторов, человека, который своей валютой делился с товарищами по путешествиям, равнодушного к автомашинам (лишь одно лето мы были совладельцами моторной лодки, но, не чувствуя тяги к технике, тут же сбавили ее с рук), человека, носившего клетчатые ковбойки и плисовые штаны... И это по-вашему турист с тросточкой? Полноте. Сами-то вы стремитесь за рубеж только для того, чтобы «отovarиться» и вкусить «сладкой жизни».

— Знаешь, — сказал он мне, воротясь из какой-то поездки. — Вот мы с тобой ругаем наши порядки. А там, за рубежом, я их защищаю. В Милане меня спросил один: «Вы толкуете об отсутствии «железного занавеса», а у меня, когда я ехал в Советский Союз, на границе отобрали все книги». Тогда я сказал: «У меня тоже на границе отобрали все мои книги, которые я вез друзьям. Вы что думаете, в Советском Союзе уже нет дураков?» И все рассмеялись.

Так он вел себя за рубежом. Ездил ночью в нью-йоркском метро, что, говорят, не совсем безопасно, тратил доллары на «стрижку-брижку» (надо же удостовериться, как там работают местные Фигаро), пил дешевое вино вместе с работягами в парижских бистро, покупал игрушки детям своих друзей. «Правильный» писатель Всеволод Кочетов требовал, я был

тому свидетель, чтобы ему взяли билет на самолет только первого класса, а «неправильный» Некрасов всю жизнь курил пролетарский «Беломор».

Но неправильные всегда на подозрении. Их не очень-то жалуют. Будь как все. Голосуй, когда другие поднимают руки, вместе со всеми кричи «Ура!..». Что, не согласен? Ну, знаешь! Вот и сам Никита Сергеевич... А тут еще статья в газете. Как не реагировать?

Что-то, а угадывать желания начальства партийный аппарат умел. По голосу, по движению бровей... Дело было заведено, машина завертелась на полных оборотах. Собрания. Заседания парткома. Приятное знакомство с членами партийной комиссии, состоящей в основном из хмурых отставных подполковников интендантской службы. Затем бюро райкома. Обком... Мы пережили это вместе. Тогда я не подозревал, что тоже пройду через это чистилище. Сидели у меня дома (Некрасов оберегал от неприятностей мать), судили-рядили, разрабатывали планы «действий». На последнее — не помню уже какое по счету — заседание бюро райкома я пошел вместе с ним. Когда его вызвали «на ковер», я остался в приемной. Прошло минут сорок. Медленных, тяжких. Наконец он появился в дверях, обитых искусственной кожей, получив в назидание «строгач». Можно было вздохнуть с облегчением. К нам подскочил какой-то мужик, которому грозило исключение за растрату партийных взносов. «Ну как? Что спрашивают?..» Потом попросил: «Друг, одолжи на бутылку. Может, и у меня обойдется. Скажи мне свой адрес, я деньги верну. Если простят, буду аккуратнее...»

Видимо, его все же не простили. Денег он, конечно же, не вернул.

Теперь я стараюсь припомнить, каким Некрасов был в то время. Как говаривали в старину, ума он был обширного. Честный. Совестьливый. Бессребреник. Слова у него никогда не рознились с делом. Из себя он был невысок и худощав. Говорил неторопливо. Жизнь уже изрядно помяла его. И хотя он не ожесточился, не приобрел привычки втягивать голову в плечи, все же время от времени он смеялся уже каким-то дряблым, вымученным смехом. И в лице его появилось что-то старческое, хотя годами он был еще сравнительно молод.

И жить надо было. Работать. Ездить по стране.

Устраивать свои литературные дела он

не умел. И не желал. С содроганием вспоминал, как в том самом кабинете на Б. Гнездиновском, в котором когда-то его уговаривали «дополнить» книгу «В окопах Сталинграда» главой о Верховном, его после XX съезда просили изменить название книги на «В окопах Волгограда», хотя за город под таким названием он не воевал. Его книги выходили только благодаря усилиям других. Том «Избранного» в Гослите «пробил» Г. Макагоненко, сборник рассказов в киевском издательстве «Дніпро» — С. Журахович, книгу в «Советской России» — Тимур Мугуев. Куда ему было до нынешних чемпионов, успевших переиздать свои романы по сто и даже по сто пятьдесят раз!..

Запомнился еще один вечер. Мы, как обычно, сбежали в ближайший гастроном за свежим батоном и резиновым голландским сыром — костромской сыр и вологодское масло уже можно было найти только в книгах «О здоровой и вкусной пище». На столе нетерпеливо ворчал электрический самовар, когда раздался звонок.

Черный телефон висел в коридоре. Хозяин снял трубку.

— Виктор Платонович? С вами говорит Кучер...

— Простите...

— Помощник первого секретаря ЦК. Вы не смогли бы к нам подъехать?

— Когда?

— Сейчас.

— Хорошо. Через десять минут буду.

Ехать не надо было. От пассажа до внушительного здания на бывшей Банковой улице (дом был до войны построен для штаба особого Киевского военного округа) можно дойти за пять-шесть минут. Вика сказал: «Подожди, я скоро вернусь».

Однако вернулся он только через два часа. Его принял тогдашний первый секретарь ЦК П. Е. Шелест. Разговор шел на равных. Правда, помощники не удосужились сообщить секретарю ЦК, что его собеседник лауреат, что он известен за рубежом. Шелест рассказал, между прочим, что гордится своим сыном доктором наук. И тогда Некрасов хитро осведомился: «Уже?» Поняв подтекст этого вопроса, Шелест ответил, оправдываясь, что тот настоящий ученый. Казалось бы, речь пойдет о литературе. О чем еще толковать секретарю ЦК и писателю? Но П. Е. Шелест спросил, готов ли Некрасов выступить на партийном пленуме. Нет, не в Киеве, а в самой Москве.

Из дальнейшего выяснилось, что то была идея М. А. Суслова, которого за глаза называли «серым кардиналом». Созвать пленум и на нем окончательно развенчать ранее снятого Н. С. Хрущева. Поскольку у автора книги «В окопах Сталинграда» имелось достаточно причин не жаловать бывшего члена Военного совета фронта, Суслов вспомнил об опальном писателе. Дескать, пусть сведет счеты с Хрущевым. Дескать, теперь его черед.

Партийные вожди плохо знали Некрасова. Тот отказался. Кажется, сказал даже, что лежачих обычно не бьют. У него были свои понятия о чести, достоинстве и порядочности... Он не понимал людей, способных лебезить и заискивать перед начальством, а потом, когда оно становилось бывшим, затапывать его в грязь.

А ведь симпатии к Хрущеву он не питал. И не только потому, что по высочайшему повелению хлебнул горя. Отдавая Хрущеву должное (реабилитация многих тысяч безвинных «врагов народа», развенчание «гениальнейшего полководца всех времен и народов»), он не мог простить Хрущеву уже одного того, что во время встречи с писателями «под шатром» глава государства, подвыпив и барственно развалясь на стуле, распекал стоявшую перед ним Маргариту Алигер. Это не только признак бескультурья. Это, если называть вещи своими именами, густопсовое хамство.

Для Некрасова Хрущев был черно-белым, таким, как памятник, поставленный на его могиле Эрнстом Неизвестным. Можно закончить хоть три академии общественных наук, обзавестись учеными степенями, быть избранным в Академию наук, но так и не стать интеллигентом.

Не образование и не положение отличают русскую интеллигенцию. Интеллигентность у человека в крови, она передается из поколения в поколение...

То время было не только «трудновато для пера», как выразился поэт. Оно было глухим. И русская литература во многом обязана... женщинам. Когда в чести и почете были сочинители многотомных эпопей, литераторам без должности жилось не просто. Темное небо давило на плечи, тусклая гнилая погода была под лад настроению. И тут на помощь приходили женщины. Не беда, что они не занимали высоких должностей. Благородно и самоотверженно служили они настоящей литературе. История, верю, когда-нибудь по достоинству оценит тот вклад, который внесла в литературу работавшая в «Новом

мире» А. Берзер. И то, что сделала для братьев Стругацких и Юрия¹ Давыдова в издательстве «Молодая гвардия» Б. Клюева. Не забудет она и Е. Ильинскую из военного издательства, выпустившую в свет сборник Некрасова «Вася Конаков» и поддерживавшую переводами Владимира Дудинцева (мне она писала: «Посмотрите, что в украинской литературе достойно перевода. Надо помочь хорошему человеку»). И опекавшую молодых в «Юности» М. Озерову.

Но мало самому писать хорошо. Надо еще уметь радоваться чужой удаче. Это не каждому дано. А Некрасов ценил все настоящее. Искренне радовали его «Атака с ходу» и «Мертвым не больно» Василя Быкова, «Пядь земли» Григория Бакланова, книги Даниила Гранина и Владимира Тендрякова. Прислал ему журнал со своими «Батальонами» и Юрий Бондарев. Потом, когда книга вышла отдельным изданием и автор в угоду критике попытался оправдать просчет командования, оставившего батальоны на произвол, «высшими соображениями», Некрасов огорчился. Последние повести Юрия Трифонова он прочел уже за рубежом и, встретясь с Трифоновым на книжной ярмарке в ФРГ, написал мне: «Юра молодец».

За рубежом с большим опозданием прочел он и «Сашку» В. Кондратьева и его рассказы. Включив вечером приемник, я услышал знакомый голос. Некрасов говорил о рассказе Кондратьева, в котором встречаются в забегаловке бывшие фронтовики. «Возле моего дома тоже есть кафе, — говорил он. — Я могу туда зайти, встретить участников войны. Я могу рассказать им про Сталинград и Одессу, но им это будет неинтересно...» И такая тоска была в этих словах, что сжалось сердце.

Ему всегда приходилось читать много рукописей. Бесплатно. Их ему присылали и приносили. Начинаящих он никогда не обижал. Говорил: «Я ожидал большего». Собратьям по перу отвечал: «Знаете, маме нравится». А с друзьями был откровенен. Звонил: «Что ты делаешь? Давай прогуляемся. Золотая осень».

Под ногами печально шуршала опавшая листва. Прогуливаясь, мы вспоминали свое отрочество. То было простое и наивное время без воздушных «лайнеров» и телецентров, без пепси-колы и сигарет... Люди еще шили костюмы и пальто из чисто шерстяных тканей, к которым не добавляли синтетику — бостонов, коверкотов, габардинов и трико, ели на фарфо-

ровых, а не на пластмассовых тарелках, пили прохладную сельтерскую воду не из бумажных, а из стеклянных стаканов. И пиво тогда продавали в тяжелых кружках. И колбасы готовили из натурального мяса. Мы вспоминали ажурные барочные киевские фонари, немые кинофильмы с участием Гарри Пилы и Вильяма Десмонда, биндюжников, монахов из ближних и дальних пещер Киево-Печерской лавры (туда ходили с тонкими свечечками), пристань братьев Добровольских, переправлявших киевлян на пляж. Потом садились на скамью покурить и он серьезно говорил: «Мишель, я прочел повесть. По-моему, ты на этот раз написал говно». Я не стесняюсь этого слова, поскольку даже директор Эрмитажа академик Пиотровский заявил миллионам телезрителей, что считает тех, кто торгует иконами, «говнюками».

Слышать такое не очень приятно. Но правда дороже лжи. Воздух звенел. Был томный полдень. Пахло яблоками. Мощная листва киевских каштанов надежно укрывала от еще не ослабшего солнца. Мы жадно затягивались дымом. Разговор вроде бы зашел совсем о другом. Но мне открылось главное: повесть не удалась потому, что я рассчитывал на скорую публикацию, думал не столько о читателе, сколько о редакторе.

Некрасова всегда отличало то, что в слове Даля говорится о благородстве. Это поступки, поведение, понятия и чувства, согласные с истиной, честью и нравственностью. Его благородством злоупотребляли многие. То вдруг придет человек, назовется симферопольским шофером, отставшим от поезда. В руках у него кукла, которую он везет дочери из ГДР. К «любимому писателю» он отважился зайти потому, что не на что доехать домой. Деньги он, конечно же, вернет, вот его паспорт. Не заглядывая в него, Некрасов вручает шоферу четвертной, хотя денег у него самого кот наплакал (через час мы увидели этого «читателя» в винном магазине). То вдруг заявится юноша из Новосибирска и расскажет байку о том, как убил медведя, чтобы завладеть его печенью и спасти отца, страдающего раком печени. «Понимаешь, — сказал мне Некрасов по телефону. — Вот это парень». В ответ я спросил, давно ли Некрасов был в нашем зоопарке. «Ты о чем?» — он удивился. «А потому, — ответил я, — что там уже давно, наверное, нет медведей. Столько номенклатурных товарищей страдают раком пече-

ни, что всех медведей истребили». В ответ он рассмеялся. Но это не помешало ему, однако, взять с собой этого мистификатора в поездку по Средней Азии. Он не выносил одиночества.

Этим же обстоятельством воспользовались и сотрудники одной фирмы, отнюдь не торговой, добавляя я от себя. Но об этом чуть позднее.

После поездки по Дальнему Востоку Некрасов засел за путевые очерки. Работал он у меня дома. Пообедав, мы выходили пройтись. На Дальнем он видел здоровенных мужиков, шагавших в резиновых сапогах по колено в крови. Дубинами уничтожали они выползших на берег беззащитных «братьев наших меньших», выполняя и перевыполняя производственный «план». «Я понял природу фашизма», — сказал он мне. Позднее подобную картину описал в «Плахе» Чингиз Айтматов.

Вправе ли писатель отказать в помощи обездоленным, сирым, несправедливо обиженным? Дверь квартиры № 10 по улице Крещатик № 15 была открыта для всех. И точно так же, как Короленко когда-то заступился за обвиненного в ритуальном убийстве еврея Бейлиса, писатель Некрасов, не колеблясь, поставил свою подпись под письмом группы деятелей украинской культуры, поднявших свой голос против произвола. Закрывались украинские школы, изгонялся из учреждений украинский язык — та певучая «мова», которой восторгался Маяковский. Делалось это в угоду М. А. Суслову, одним росчерком пера решившему в стране национальный вопрос. Дескать, нет уже ни наций, ни народностей, а есть новая общность — единый советский народ.

Так русский писатель Некрасов был обвинен в... буржуазном украинском национализме.

— Ты Виктор бачиш? — спросил меня при встрече поэт Андрей Малышко. — Скажи йому, що вин хороший хлопець.

Некрасова снова пригласили в ЦК. На этот раз его принял человек интеллигентный и умный. Указав посетителю на телефоны, он отвел его в дальний угол кабинета и, усадив на диван, тихо произнес: «Они на все способны».

Это относилось к «фирмачам».

Некрасовым вплотную занялась «фирма». К нему приставили молодого киношника. Этот неудачник от искусства быстро втерся в доверие. К тому времени Некрасов, похоронив мать, остался один.

А одиночество, повторяю, было для него невыносимо.

Начинался одна тысяча девятьсот семьдесят второй...

В те дни (с «Новым миром» уже разделились) Некрасов много думал о прошлом, словно бы уже похороненном, которое тем не менее будило столько живых воспоминаний. Это принадлежало ему одному, только ему. И его наполняло чувство одиночества и беспомощности, на которые, он знал это, обречен каждый человек. У тебя есть друзья, и все-таки ты одинок.

По вечерам он уходил из дому. В темноте Крещатика то там, то здесь медленно и тихо тлели огоньки сигарет, огоньки молодых человеческих жизней, и он шел к ним, чтобы избавиться от одиночества.

В середине месяца я собрался в Москву. В день отъезда поехал в кондитерский магазин за знаменитыми киевскими тортами для друзей. Купив два торта, которые продавщица любезно связала вместе, я зашел в ближайший гастроном за сигаретами. Там с какими-то личностями шептался льнувший к Некрасову киношник. Увидев меня, он ретировался.

Снова я увидел его уже в подъезде. Он вынимал из ящика почту. Увидев меня, покраснел. Мы поднялись на третий этаж.

Открыл сам Некрасов. Был он темен лицом. Он уже знал, что в тот день начались аресты. Горько пошутил: «Хоть бы попасть в один лагерь». Жена Некрасова Галина вышла на кухню сварить нам кофе. Когда позвонили в дверь, мы услышали ее голос: «Ого-го!!!»

Вошло семь человек. Первым по-хозяйски открыл дверь в комнату смурной крепко лет пятидесяти с гаком, очевидно, один из тех, кто в поте лица своего служил «фирме» еще в самые лучшие ее времена. Он знал свой маневр. За его спиной стояли его молодые сотоварищи.

— Ваши документы!..

Некрасов представил меня. Киношник назвал себя. Хотя выяснить, кто я, не составляло труда, старший фирмач что-то сказал одному из своих молодцов, и тот велел: «Одевайтесь». А киношника, «лицо без определенных занятий», старший отпустил. Еще бы, ведь он выполнял «задание» и обеспечил присутствие хозяина квартиры, который — чем черт не шутит? — мог выйти из дому.

Само собой разумеется, что в добрых молодцах я узнал тех самых ребят, которые шептались с киношником в гастрономе.

Я надел пальто. С Некрасовым расцеловались — когда еще увидимся? Внизу стояла черная «Волга». Сопровождавший меня добрый молодец наклонился к шоферу: «В комитет».

Нелепо, должно быть, я выглядел со своими тортами в строгом сером доме, в котором шутить не любили.

Меня продержали там до четырех часов дня. В это время у Некрасова шел обыск. Что там было искать? Он сам выложил на стол те несколько книг, которые были изданы за рубежом. Проза Марины Цветаевой, сборник Б. Зайцева с автографом, «В круге первом» Солженицына.

— А вы эти книги читали? — спросили меня.

Пришлось ответить, что литератору следует не только писать, но и читать. И добавить: «Лет двадцать тому вы бы спросили, читал ли я Бунина и кто мне его давал».

Особое подозрение вызвало то, что я собирался в Москву. Уж не посылают ли меня сообщить о киевских арестах? Но, выяснив, что билеты куплены заранее, «фирмачи» успокоились.

В седьмом часу вечера мне позвонил Некрасов: «Ну как?» Я ответил: «Ничего. А у тебя?» «Тоже ничего», — ответил Некрасов.

На возвратном пути из Москвы я с тревогой думал о том, что меня ждет в Киеве. Тревога была обоснованной. Тучи над Некрасовым сгустились.

Мы никогда не спорили, не ссорились по мелочам. За три десятка лет мы так притерлись друг к другу, что ни малейшего расстояния между нами уже не было. И мы никогда не обменивались пустыми словами. Худо нам тогда жилось. Лишь изредка, когда садились за стол, становилось уютнее.

На этот раз Некрасова из партии все же исключили.

Он стал еще больше курить. Говорил мало. Но оставался самим собой. Был приглядчив к людям, все замечал. Не возмущался, не роптал. Только благодушный, пожалуй, у него убавилось, хотя в человеческую подлость он все еще отказывался верить и не оттаивал от себя тех, кто только для зла людям живет. И откуда берутся такие? Молодые, пронырливые, готовые напасть, написать донос или пустить гулять по свету слухов за твоей спиной... И все это улыбочиво, с невинными глазами.

А денег не было. «Городские прогулки»

не только «Новый мир», но и благонадежная «Москва» не смогла опубликовать. Перед Некрасовым со всех сторон вырастала невидимая стена всемогущей «фирмы».

— Ну, все, я пошел есть картошку, — сказал он мне как-то по телефону.

А меня ждал мясной обед. Да только котлеты застревали в горле. С тех пор моя жена частенько приносила на Крещатик продукты с Бессарабского рынка. Утром, выходя из ванной, Некрасов деликатно притворялся, будто ничего не видит.

И тут пришло время объяснить, отчего я называю один из республиканских комитетов «фирмой». Я просто повторяю то, что услышал от одного из его сотрудников.

В киевском издательстве «Радянський письменник» редактировали мою книгу. Была в ней и повесть «Черные дьяволы», вышедшая затем в издательстве «Молодая гвардия» и болгарском воениздате. В ней рассказывалось о морских диверсантах. Издательство сочло нужным послать рукопись на консультацию в Комитет государственной безопасности. Я узнал об этом, когда мне позвонил товарищ из этого комитета и попросил разрешения зайти. Он пришел в назначенное время, предъявил удостоверение. Мы поговорили о рукописи. Между делом, товарищ произнес: «Знаете, наша фирма...» Так я узнал, что сотрудники этого учреждения сами называют его «фирмой».

В тот раз «фирма» дала добро. Книга вышла в свет.

Зато через полтора-два года «фирма» показала зубы. Снова раздался звонок. Товарищ, назвавшийся Иваном Ивановичем (он, очевидно, не читал очерка Некрасова, который этим именем окрестил ехавшего с ним за рубеж «искусствоведа в штатском»), попросил меня зайти к нему в удобное для меня время. Полагая, что речь снова идет о будущей книге, я захватил с собой рукопись, в которой была повесть «Венский вальс» и присланный из Болгарии экземпляр книги «Черные дьяволы».

Иван Иванович, будем его так называть, очевидно, знал меня в лицо. Подойдя ко мне (в приемной было много людей), он пригласил в соседнюю комнату.

— Нам известно... — начал он тихим голосом.

Ему было известно многое. Даже то, как в конце тридцатых один из наших студентов «посадил» другого.

По мутным, без блеска глазам Ивана Ивановича не разобрать было, доволен ли он разговором. Душа его была темна. Улыбаться он, по-видимому, не умел.

— Ваш друг распространяет разные вздоры, — произнес он хотя и не этими словами. — Да и вы тоже...

Я промолчал. Тогда он приступил к главному.

— Вы должны отговорить своего друга от отъезда за границу.

Последние два года Некрасов находился «под колпаком». Его всюду сопровождали «искусствоведы в штатском». Уж не думали ли они, что он собирается совершить террористический акт? Или сфотографировать (у него был любительский киноаппарат) расположенные на Крещатике военные объекты? Так жить было невозможно. И он попросил разрешения уехать в Швейцарию к дяде-пенсионеру Ульянову, которому все годы выписывал... журнал «Огонек». (Этого дядю вскоре прилюдно объявили миллионером, на наследство которого позарился племянничек. Только так писатели-миллионщики представляли себе его отъезд. Им всюду мерещились деньги, большие деньги). Разрешение он получил.

Выполнить поручение «фирмы» я отказался. Иван Иванович, с гордостью называвший себя оперативным работником, не настаивал. Из дальнейшего выяснилось, что он рассчитывает на помощь одного литературного генерала.

— А что это у вас? — спросил он.

Я показал рукопись книги. И «Черные дьяволы», изданные в Болгарии. Сказал, что меня туда пригласили. Святая простота! Нашел где откровенничать.

Расстались мы без печали. Но вскоре... Я был наказан за строптивость. В издательство «Радянський письменник» пришла официальная бумага за подписью заместителя председателя Комитета. В ней говорилось, что издание моей книги «фирма» считает «нецелесообразным».

Ну что ж, «Венский вальс» вошел в сборник, изданный «Советским писателем» через шесть лет.

Но и это было не все. В конце августа прибыла повестка из ОВИРа. Я пришел. Комната была набита битком молодыми людьми, жаждущими вкусить сладкой заграничной жизни. И — о чудо! Мне выказали уважение, вызвали первым.

Блеклая молодая девица лет двадцати, чем-то напоминавшая эсесовку из сериала «Семнадцать мгновений весны», конфетно улыбаясь, осведомилась, куда я еду.

Услышав, что в Болгарию, снова спросила, к кому. Меня приглашал член ЦК, секретарь Варненского горкома. Девица кивнула и произнесла:

— А вам отказано. Если хотите, то через шесть месяцев...

В Болгарии я уже бывал. Тяжело поднявшись со стула, я сказал:

— Вот что, девушка. Скажите ребятам, что вторично подавать документы я не буду. Не за тряпочками я собирался в Болгарию.

С тех пор я в ту контору не заглядывал.

А через неделю Некрасовы улетали. Мы не стеснялись слез. Сердце подсказывало: видимся в последний раз.

Потом были только письма. И редко — телефонные звонки. И еще фотографии. Из деревни под Парижем, из Норвегии, из Лондона... Хотя по радио он заявил, что ему осточертели киевские каштаны, все, что происходило в его родном городе, постоянно вызывало у него болезненный интерес. То он просил прислать ему книгу, то фотографию памятника, установленного в Бабьем Яру. Этим памятником Киев был ему во многом обязан.

Когда городские власти мудро решили засыпать Бабий Яр и разбить на этом месте парк культуры и отдыха, Некрасов выступил с протестом в «Литературной газете»: устроить танцплощадку на костях погибших? И это вы считаете нравственным?

Пришлось власти предержащей отменить свое решение и ответить газете, что в память о жертвах фашизма в Бабьем Яру будет установлен «монумент-постамент».

Случилось так, что Бабий Яр стал глубокой, зияющей раной на теле человечества. Здесь в судный день сорок первого начались расстрелы десятков тысяч киевлян. Все черные годы оккупации там не утихали выстрелы. Я увидел это страшное место, вошедшее в историю наряду с Майданом, Трешлиноком и Бухенвальдом, сразу же после освобождения Киева. Всюду желтели человеческие кости и черепа.

Оттого двадцать девятого сентября киевляне, не сговариваясь, шли к Бабьему Яру, чтобы отдать последний долг погибшим. Шли молча. Плакали навзрыд. Иногда возникали стихийные митинги. Люди возмущались: откуда столько миллионеров? И что это за молодые люди, которые шепотом требуют «проходите, проходите...»

В один из таких дней мы пришли в Ба-

бий Яр вместе с проезжавшим с Юга через Киев Николаем Атаровым. Когда возмущение людей грозило выйти из-под контроля, прозвучал голос Некрасова. Он говорил о памяти, о долге живых перед мертвыми, о человеческой солидарности. Говорил по-русски, как бывший солдат. Затем по-украински говорил критик Иван Дзюба. О дружбе людей разных национальностей, о нашей общей ответственности за трагедии прошлого.

Местным властям надо бы благодарить литераторов, а они ополчились на них, обвинив чуть ли не в... сионизме. Потом одумались. И уже через год в Бабьем Яру появился представитель райкома, прочитавший по бумажке речь о... достижениях трудящихся района в борьбе за выполненные пятилетки.

И тут снова напомнил о себе Бабий Яр. В начале шестидесят первого. После обильных ливней прорвало наспех сооруженную дамбу и селевые потоки хлынули из яра на Куреневку. Погребены были троллейбусы, трамваи, одно- и двухэтажные дома. А главное — люди, десятки, сотни людей (позднее, когда молчать о случившемся уже нельзя будет, газеты сообщат, будто погибло «только» более ста двадцати человек). Ну, а тогда... Стоя возле церквушки, расписанной гениальным Врубелем, мы с Некрасовым увидели далеко внизу мутно-темную пустыню.

В те же дни в Чехословакии погибло семь шахтеров, и правительство республики объявило национальный траур. Соборознование послал и Н. С. Хрущев. А в нашем Киеве, стыдно признаться, во время трагедии работали все театры, а в ресторанах отплясывали летку-енку, хотя повсюду, не краснея от стыда, висели плакаты о том, что «люди у нас самый драгоценный капитал».

Вскоре после этого был объявлен конкурс на пресловутый «монумент-постамент». Поступило много проектов. Перспективы и макеты выставили в Доме

архитектора. Среди конкурсных проектов было несколько отличных. А выбрали, разумеется, самый «правильный», с развернутым знаменем. В натуре его Некрасову увидеть не довелось, он был уже далеко.

Но и в эмиграции он оставался самим собою. С ярыми антисоветчиками у него ничего общего не было — это должен был признать даже Владимир Максимов. Тот самый редактор «Континента» Максимов, который прислал моему другу письмо следующего содержания: «Господин Некрасов! Журнал «Континент» в ваших услугах не нуждается. Деньги будете получать аккуратно. Главный редактор...» На что Некрасов со свойственной ему лапидарностью и простотой ответил: «Володя. Деньги можешь не посылать. Вика».

Он и там, на чужбине, оставался Викой. Прежним Викой, добавлю я от себя. Об этом свидетельствовала и телеграмма, которую он прислал в Киев, когда узнал о смерти нашего общего друга — бывшего партизанского командира Я. Богорада. «Нинка. Рыдаю. Вика». — Всего три слова было в этой депеше, полученной вдовой, тоже бывшей партизанкой.

Жизнь не изменила нашего Вику.

Когда-то нас в Киеве было четверо. Первым, не дожив до шестидесяти, ушел из жизни Леонид Воынский, талантливый художник и литератор, который в конце войны спас бесценные сокровища Дрезденской галереи, за что, как водится, награждены были другие. Затем я проводил в последний путь лауреата Государственной премии Николая Дубова, железного Колю. А в сентябре восемьдесят седьмого из Парижа пришло известие, что умер Виктор Некрасов.

Ну, а я... Я даже не могу положить цветы на его могилу, хотя он очень любил цветы и ежедневно приносил их своей матери. Если же у него не было денег, то цветочницы, торгующие в подземном переходе под площадью Октябрьской революции, давали их ему в долг.

«Опустела без тебя земля...»

«В ЗАЛЕ ВСЕЛЕННОЙ, ПОД СОЗВЕЗДИЕМ ТОПОРА»

«Таким одиночеством дуэт оттуда,
Что глянешь — и ты уж не так одинок».

Иван Елагин

Четверть века, с начала шестидесятых годов и до середины восьмидесятых, то по одному стихотворению, то по целому сборнику просачивались в СССР стихи Ивана Елагина — русского поэта, жившего в Америке. «Самиздат» обращал эти сборники в машинописные тетрадки, «тираж» которых увеличивается в геометрической прогрессии — как констатировал Александр Галич, «Эрика» берёт четыре копии. Проникали книги и других поэтов русского зарубежья, но их даже и в «четыре копии» превращали далеко не всегда. А с Елагиным получалось как-то странно: его читали вперемешку с Гумилевым, Ходасевичем, Георгием Ивановым — поэтами совершенно иных поколений, теми, чья литературная репутация давно и прочно устоялась. О личности же Елагина советский читатель не знал практически ничего, но сами за себя говорили его стихи, в которых чувствовалась ориентация именно на лучшие «здешние», а не эмигрантские поэтические эталоны. Таким от них веяло одиночеством, что читателю и вправду было уже не так одиноко в нашей самой передовой и благополучной литературе.

Лишь теперь, когда Ивана Елагина не стало, и по крохам начала восстанавливаться история его жизни, выяснилось, что в своих стихах он был насквозь автобиографичен. Он родился 1 декабря 1918 года во Владивостоке, детство провел в Подмоскowie. В двадцать восьмом году его отец, некогда прославленный на Дальнем Востоке поэт-футурист Венедикт Март (Матвеев), был арестован, попал в ссылку в Саратов на три года, в начале тридцатых годов попробовал переселиться

ся в Ленинград, где жил его крестный отец — народоволец Ювачев, в доме которого Иван — тогда еще Матвеев — обрел старшего товарища по литературе (сам Иван уже писал стихи) — Даниила Ювачева-младшего, вошедшего в литературу под псевдонимом Даниил Хармс. В Ленинграде прижиться не удалось, в 1934 году Венедикт Март-Матвеев с сыном поселились в Киеве: там, по сути дела, началась сознательная жизнь Ивана Матвеевича и определились первые вехи его творческого пути: в 1937 году его отец, поэт Венедикт Март, был повторно арестован и канул без вести — видимо, даже не в лагерях, а просто сразу был расстрелян: поводом могло быть что угодно, в юности Март некоторое время жил в Японии и Китае, его отец, известный дальневосточный краевед Н. П. Матвеев-Амурский, оказался в эмиграции, сам он знал с «врагами народа», да и три года ссылки отбыл — какая разница, за что. В конце 60-х годов Иван Елагин писал об этом: «Еще жив человек, расстрелявший отца моего летом, в Киеве, в тридцать восьмом...»

Для Ивана началась самостоятельная жизнь: его, правда, не арестовали, но прибежищем — вместо отцовской квартиры — стала достопамятная по поздним стихам

...комнатенка
С полуслепым окном,
Куда меня, как котенка,
Вышвырнул управдом.

Комнатенка, как выяснилось уже в наши дни, была на Львовской улице. В том же году Иван Матвеев женился на Ольге Анстей — такой литературный псевдоним выбрала себе женщина, бывшая старше Ивана на шесть лет, урожденная киевлянка, поэт большого дарования и человек

© ВИТКОВСКИЙ Е., 1990.

настоящей, европейской культуры, к тому же знавшая основные европейские языки. Последние четыре довоенных года Ольга и Иван прожили под общей фамилией — Матвеевы, а вот комнатенки свои в коммунальных квартирах им так и не удалось, кажется, сменить воедино. Довоенный быт со всей его неустроенностью, однако, не заставил впасть в отчаяние молодоженов: хотя и с трудом, но Иван поступил во Второй Киевский медицинский институт: ждали войны, врачи требовались везде, поэтому в этот институт приняли даже «сына врага народа». Ольга зарабатывала деньги тем, что служила в банке машинисткой. Оба писали стихи. Киев до самых последних дней жизни Ивана остался незабвенным городом детства, чьи черты то и дело всплывали в его поэзии:

Воздух темнел на Владимирской горке,
Где-то внизу тарахтели моторки,
Месяц за веткой спускался в проем,
Заколыхалась листва ворохами,
Мы на скамейке сидели втроем,
Мы говорили друг с другом стихами.
Недалеко над днепровской водой
Кто-то запел о любви молодой.
А от тайги до британских морей
Темные вышки росли лагерей (...).

«Втроем» — Иван, Ольга и, видимо, товарищ Ивана по институту, тоже «сын врага народа» Георгий Протасевич (в просторечии Жорж), — а может быть, другой друг, художник и поэт Сергей Бенгарт, тоже киевлянин, разделивший позже с Матвеевыми судьбу изгнанников. Киевскими реалиями — Андреевская церковь и т. д. — роль украинской культуры в жизни Ивана далеко не была исчерпана. Когда в советских высших учебных заведениях была введена плата за обучение, Ивану грозило немедленное отчисление — платить ему было нечем. Вечером того же дня «в память об отце» деньги на институт передал Ивану Максим Рильский. Великий украинский поэт ценил и оберегал дарование молодого Ивана, тот часто бывал у него в гостях. Сохранились документальные свидетельства того, как Иван и Ольга приходили в гости к Рильскому, одно из них хочется привести — письмо Ольги Матвеевой-Анстей к московской подруге, Б. Я. Казначей (ныне — лауреату Государственной премии СССР, автору ряда книг по гальванопластике), от 1940 года (без точной даты), — для его понимания надо знать, что «Заяц» — пожизненное домашнее прозвище Ивана, возникшее из его второго имени, данного футуристом-отцом — «Зангвильд»:

«Совершили мы с Зайцем паломничество к его величеству Максиму Рильскому. Говорит его имя что-нибудь тебе, москвичке? Приняты были очень и очень тепло и хорошо (...). Хорошо слушал наши стихи. Потом сам читал нам свои, еще неизданные (ведь это довольно лестно для неизвестных поэтов?). Называл нас все время «дети». Оставил ужинать. Был только он и какой-то «литературный человек», его приятель. Прощался совсем трогательно: меня поцеловал в пробор, а Зайца — так совсем в умилении прижал к груди и лобызал, как Державин. Про мои стихи сказал, «что же делать», большинство «непечатные». А у Зайца все-таки более печатные. Взял некоторые Зайцевы стихи и хочет послать Антокольскому».

Чаепитиями и платой за институт Рильский не ограничился: в газете «Советская Украина» от 28.1.1941 г. было опубликовано посвященное Павлу Тычине стихотворение Рильского «Концерт» в авторизованном переводе с украинского Ивана Матвеева. Ольга Анстей писала тому же адресату несколькими днями позже:

«Посылаю тебе «выход в свет» моего Ивана. Радость ему была большая, носился с газетой и чуть не Нойне читал (собаке). Получил гонорара 50 р., с вычетом налога 49 р. (...) Переводили мы это вместе, как почти всегда переводим: другие переводы должны выйти поровну — то под моим, то под его именем (...)».

Планам определения Ивана в печать через поэтический перевод, увы, в те времена осуществиться было не дано: лето сорок первого года перечеркнуло всю прежнюю жизнь. Не закончил «Заяц» и медицинского института. После оккупации Киева фашистами не успевший эвакуироваться Иван попал в положение крайне опасное: по матери в его жилах текла «неарийская» кровь. Как-то, впрочем, удалось спастись, в 1943 году супруги попали сперва в Прагу, потом в Берлин, позже — в Мюнхен. В январе 1945 года в Берлине родилась у них дочь — будущая поэтесса Елена Матвеева (как сама Е. И. Матвеева писала в автобиографии, приложенной к коллективному сборнику русских зарубежных поэтов «Содружество» — Вашингтон, 1966: «Родилась в Берлине «по дороге оттуда», 8 января 1945 года. Начала писать стихи в подражание родителям и знакомым с пятилетнего возраста...»).

Конец войны застал семью в лагере для перемещенных лиц под Мюнхеном. Возврата в СССР не было: бывшие пленные заведомо считались изменниками и шпионами. О причинах, превративших Ивана Матвеева в Ивана Елагина и даже побуждавших его до конца 50-х годов свое подлинное имя тщательно скрывать, рассказано в журнале «Новый мир», 1988, № 12 — в предисловии к большой подборке стихов Елагина, которой журнал отметил семидесятилетие со дня рождения поэта. Отметила его и ленинградская «Нева» (№ 8 за 1988 год, с послесловием Д. Гранина), и — публикацией переводов из американских поэтов — всесоюзная «Литературная газета» (30 ноября 1988 года). Поэт сразу обрел многомиллионного читателя в СССР — почти через полвека после того, как покинул родную землю, через полтора года всего лишь после своей смерти: Иван Елагин умер 7 февраля 1987 года в Питтсбурге.

Так или иначе, Елагин остался в Западной Германии. Там же, на серой «дипломатической» бумаге вышли первые его поэтические сборники — «По дороге отсюда» (1947) и «Ты, мое столетие!» (1948, Мюнхен). Оба сборника он послал И. А. Бунину в подарок — «Ивану Алексеевичу Бунину от автора. И. Елагин. 26.XI. 1948 г., Мюнхен». Сейчас эти сборники находятся в фондах Московского Литературного музея (их передала туда вдова Бунина вместе со значительной частью библиотеки). Что ответил Бунин молодому поэту — узнаем из его ответа, который я позволю себе привести здесь полностью — ксерокопию бунинского письма прислал мне сам Елагин в 1978 году (мы к тому времени уже много лет переписывались с припиской на полях: «Посылаю Вам копию письма Бунина ко мне, еще очень неопытному и молодому автору. И. Е. Письмо это не было опубликовано». Добавлю, что письмо Бунина написано по старой орфографии:

12 янв. 49 г.

Дорогой поэт,

Вы очень талантливы, часто радовался, читая Ваши книжечки, Вашей смелости, находчивости, но порой Вы неумеренны и уж слишком нарочиты в этой смелости, что, впрочем, Вы и сами знаете и от чего, надеюсь, Вы скоро избавитесь.

Желаю Вам всего доброго и прошу извинить, что так поздно отвечаю Вам, — был долго нездоров в Париже, нездоров

и сейчас, пишу с трудом еще и потому, что лечу глаза; очень утомленные.

И. Бунин

В конце 40-х годов литературная жизнь русского зарубежья оживилась, но центр ее перекочевал за океан, туда, где существовало солидное русское «Издательство им. Чехова» (прогоревшее в 1956 году, но до того, в 1953 г., успевшее издать первый по-настоящему представительный сборник Елагина, для которого поэт использовал старое название — «По дороге отсюда»); где выходил толстый «Новый журнал»; где с 1910 года шесть раз в неделю выходила — да и по сей день выходит — старейшая газета русского зарубежья — «Новое Русское Слово». Весной 1950 года транспорт «Генерал Балу» выгрузил Матвеевых в нью-йоркском порту. Так оказались супруги в США, где, впрочем, скоро разошлись (сохранив добрые отношения до конца жизни). Ольга Анстей стала работать в ООН, сперва машинисткой, потом переводчиком, в 1966 и 1975 году даже прилетала в родной Киев «на побывку» вместе с дочерью. Иван Елагин, сменив десяток профессий, оказался сотрудником того самого «Нового Русского Слова», о котором было сказано выше. Писал грубоватые, но остроумные фельетоны в стихах, но известность ему дали не они, а публикация в «Новом журнале» (выходящем раз в три месяца) и изданные этим журналом сборники стихотворений Елагина — «Отсветы ночные», 1963, и «Косой полет», 1967. Они-то и принесли Елагину первую настоящую самиздатовскую популярность в СССР, их-то и размножали в геометрической прогрессии те поклонники его творчества, у которых дома имелась та самая «Эрика», которая «берет четыре копии».

Елагин тем временем окончил Нью-Йоркский университет, получил докторскую степень за перевод главного эпического произведения американской поэзии XX века — поэмы Ст. В. Бене «Тело Джона Брауна» (12.000 поэтических строк), — полностью перевод увидел свет, впрочем, лишь в 1979 году в издательстве «Ардис». Затем Елагин стал профессором русского языка и литературы в Питтсбурге, продолжал писать стихи, переводить — казалось, далекая Россия окончательно должна была для него погаснуть. Но нет: то родной Владивосток, то любимый город юности, Киев, все время проступали в его стихах сквозь черты ставших уже привычными американских городов.

Последние книги Елагина вышли уже в 70-е — 80-е годы: «Дракон на крыше», 1973, «Под созвездием Топора» (избранное), 1976, « В зале Вселенной», 1982, наконец, незадолго до смерти безнадежно больного поэта друзья составили еще одну книгу «избранного» — «Тяжелые звезды». А в 1988 году журнальные и газетные публикации дали советскому читателю возможность прочесть около двух десятков его стихотворений, — слишком

мало, конечно, для тех, кто хочет видеть русскую литературу единой, а не расколотой на много несвязанных частей.

В предлагаемую читателям «Радуги» подборку включены стихи всех периодов творчества поэта — от довоенных, написанных еще в Киеве, до предсмертных, написанных на смерть друга-киевлянина.

Предисловие и публикация
Е. ВИТКОВСКОГО

Иван ЕЛАГИН

АНДРЕЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

*Из-за моста Цепного
Город возносит дома.
Ты же горишь бирюзово
Там, на вершине холма.*

*О как стройны колонны
И купола легки!
О как отвесны склоны
И берега реки!*



*Каштановым конвоем
Окружено окно,
И вся земля запоем
Пьет красное вино.*

*Он весь, как на эстраде,
Под рыжей бахромой.
И люди в листопаде
Не ходят по прямой.*

*Мой голубой автобус
Уходит на бульвар.
Как мне понятна робость
Его туманных фар!*

*От парка и до парка
Он ветрами несом.
И осень, как овчарка,
Бежит за колесом.*



*Там небо приблизилось к самой земле,
Там дерево в небо кидалось с обвала,
И ласточка бурю несла на крыле,
И лестница руку Днепру подавала.*

*А в августе звезды летели за мост.
Успей! Пожелай!.. Загадай!.. Но о чем бы?
Проторенной легкой параболой звезд
Летели на город голодные бомбы.*



*Скабрезно каркнув, пролетает грач
Над улицами, проклятыми Богом,
Над зданиями, рвущимися вскачь
Навстречу разореньям и поджогам.*

*Над рухлядью ненужных баррикад,
Над остовам обугленным квартала,*

Откуда пламя рвалось наугад
И чердаки окрестные хватало...

И судьбы, и жилища сметены,
И там, в нечеловеческом закате,
С перегнутой над улицей стены
Свисают заржавелые кровати.



Месяца светящийся фаянс.
Отблески на крышах и антеннах,
Окон неоконченный пасьянс,
В сумерках разложенный на стенах.

Лампа загорается в окне,
Точно свет нисходит благодати,
И плывут, как в золотом вине,
Тени на сияющем квадрате.

Мне не раз казалось, что они —
Только дрожь потусторонних планов,
Кто-то резко выключит огни,
И они исчезнут, в камень канув.

И я сам поставлен под стекло
Высоко, почти под самой крышей,
Чтоб сиянье города вошло
В хрустали моих четверостиший,

Чтоб душа могла маячить так,
Как реклама на вечерней вышке,
То мгновенно прятаться во мрак,
То бросать оранжевые вспышки.



Встал у платформы дымный и шипящий
Вечерний поезд, выходец из чащи.
Но стоит только пристальней взглядеться,
Поймешь, что поезд — выходец из детства.
И, может быть, ты обнаружишь сходство
С тем мальчиком, который там смеется.

А поезд снова просекой еловой
Погнался за луной большеголовой,
Где по бокам большие тени леса
Толкаются и под колеса лезут,
А мальчик за ночным локомотивом
Так и остался лунным негативом.

Остался за стеклянным расстоянием,
За временем, за звуком, за сиянием,
Куда уже не добежать по шпалам
За временем, за выщербленно-впалым
Пересеченным временем, за теми
Деревьями, уплывшими за темень.



Хоть возьми и с тоски угробься,
Чтоб конец положить опекам.
Колоссальнейшее неудобство:
Оказался я человеком!

Я от нежных забот правительства,
Как суконный пиджак, повытерся.

Не живи, а всю жизнь готовься
К торжествам олимпийским неким.
Колоссальнейшее неудобство:
Оказался я человеком!

Оказался таким нелепым:
За мечтой волочусь прицепом.

Пирамидищею Хеопса
Шла волна над моим ковчегом.
Колоссальнейшее неудобство:
Оказался я человеком!

По субботам с женой и сыном
Проплываю по магазинам.

С панталыку я сбился вовсе!
Ни звезды над моим ночлегом.
Колоссальнейшее неудобство:
Оказался я человеком!

А во сне я, как в звездопаде:
Звезды спереди, звезды сзади!

Неудобство, что человеком,
Человеком я оказался,
Кривосабельным печенегом
В мою полночь кошмар врубался!

Колоссальнейшее неудобство
Человеком быть, а не мопсом!
Как ты к миру не приспособься,—
Быть поэтом — сверхнеудобство!

Говорят, что поэт — поет,
Да не верю я фразам дутым.
Говорю, что поэт — полет
С нераскрывшимся парашютом.



Человек на дороге
В римской тоге
Иль в рыцарском панцире,
Иль в гимнастерке,
Иль оборванцем
Убогим
В опорках...

По сторонам — пожарища,
Его провожающие.

Что это — Рим,
Подожженный Нероном,
Иль это мы горим
В Киеве обреченном?

Человек на пожаре.
Медный блеск облаков.
Написан сценарий
Для всех веков.

Дым, отпылавший факелом,
Дымом квартал заволакивал.

Мечутся по мостовой
Люди с жалкой поклажей.
Ветер кривой
Кидается сажей.

Рыцарь в броне,
Что там погибло в огне?
Герб родовой на стене?
Или тот самый
Шелковый шарф,
Вышитый дамой
Под звоны арф?

Шла татарва
Городищем спаленным.
Сухая трава
Горела по склонам.
Что там в пылающей грамоте,
Писанной на пергаменте?

Я видел, как щебнем и прахом
Валился очаг.
Как люди стояли со страхом
в очах.

Я на земном шаре
Жил и стоял на пожаре.

Топот тысяченогий
Катится по дороге.

Точно земля задрожала,
Громом потрясена.
Что там — слоны Аннибала
Иль пушки Бородина?

Ночью кошмарной
Землю трясет пальбой.
Битва на Марне
Или Полтавский бой?

Или персидский Дарий
От скифских бежит полков?
Написан сценарий
Для всех веков.

Слышишь поступь солдата?
Крови сегодня течь.
Очередь автомата
Или короткий меч.

Много войною взято,
Да не велик итог.
Высится над солдатом
Крохотный бугорок.

Вот он — огромный, темный,
Головоломный провал.
Наверное, уже не помнит,
За что и с кем воевал.

Были они да сплыли,
Скошенные войной,
Веточка на могиле
Зазеленеет весной.

Из времени, как из дыма,
Выйдя шагом стальным,
Солдаты проходят мимо
И снова уходят в дым.

Человек на дороге.
Гор потемнели отроги.
А позади — стража
У городских ворот.
Ночью идти страшно,
Но человек идет.

С родины изгнанный,
В драной хламиде, замызганный,
На берегу Дуная
Стоит человек, вспоминая
Город, солнцем обрызганный.

Или в карете черной
Скачет из княжества,
Пока не уляжется
Какой-то скандал придворный.

Берег уже отдален.
Встала волна-громеда.
А позади — Альбион.
А впереди — Эллада.

Или в вагоне,
Иль в самолете.
И о погоне
Ветер поет на высокой ноте.

Или на паре
Лихих рысаков.
Написан сценарий
Для всех веков.

Некуда деться.
А надо куда-нибудь деться.
Что позади — Флоренция
Иль позади Одесса?

И от грудного стука
В мокрых глазах качанье.

А позади — разлука,
А позади — прощанье.

А позади — застава,
А позади — граница,

И все, что ты там оставил,
Будет до смерти сниться!

Люди уходят в дым,
Тонут в дыму, седея,
Снится одним — Крым.
Снится другим — Вандея.

Мне же маячат во мраке
Беженские бараки.



Что вспоминать? Плакать о чем?
Над головой — темная высь.
В сон уходя, теплым плечом
Ближе ко мне ты примостись.

Мысли бегут быстро, как дым.
Где-то с небес валится гром.
Слышу, как в лад с сердцем моим
Сердце мое бьет под ребром.

Нас на часов шесть или семь
Запорошит сонной пургой.
И до утра где-то совсем
Мы на звезде бродим другой.

Может быть, там, в звездной пыли,
Я, наконец, что-то пойму.
С правдой земли, с ложью земли
Сладить уму не моему.

Длинная жизнь! Сколько ночей,
Дней, вечеров, сумерек, зорь,
Лучше, мой друг, с ходом вещей
Ты на земле больше не спорь!

Я написал несколько книг,
Все о себе, о прожитом,
Только пора мне напрямик
Честно сказать людям о том,

Что у меня важный пробел,
Что у меня крупный провал,
Что я на мир жадно смотрел,
А понимать — не понимал.

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ БОНГАРТА

Ну вот, погостил и ушел восвояси,
За друга в пути — мой сегодняшний тост.
Он с нашей планеты уходит по трассе
Поэтов, художников, ангелов, звезд.

Я знаю — ему и сейчас не до смерти.
Я знаю, что смотрит он пристально вниз,
Туда, где остался стоять на мольберте
Последний набросок — прощальный эскиз.

Сережа, мы в Киеве, в темной квартире,
Когда-то с тобою мы встретились здесь.
На старой газете картошка в мундире,
А в кружках какая-то горькая смесь.

И всюду подрамники, кисти, окурки,
И прямо с мольберта глядит с полотна
Парнишка в распахнутой лихо тужурке,
Склоненный в тоске над стаканом вина.

Так вот в чем искусства могучее чудо:
С такою тоскою глядит паренек,
Таким одиночеством дует оттуда,
Что глянешь — и ты уж не так одинок.

Мы выросли в годы таких потрясений,
Что целые страны сметали с пути,
А ты нам оставил букеты сирени,
Которым цвести, и цвести, и цвести.

Еще и сегодня убийственно-густо
От взрывов стоит над планетою дым,
И все-таки в доме просторном искусства
Есть место стихам и картинам твоим.

И ты не забудешь на темной дороге,
Как русские сосны качают верхи,
Как русские мальчишки спорят о Боге,
Рисуют пейзажи, слагают стихи.



Будет холод в забытой квартире,
Будут лаять дворовые псы.
Кто-то бросит последние гири
На мои золотые весы.

И о землю ударится чашка,
Утомленная чашка весов,
И меня молчаливо и тяжело
Перекроет могильный засов.

И подыметесь чашка вторая,
Всю земную прорвав шелуху.
Я не знаю, дойдет ли до рая,
Только знаю, что будет вверху.

Александр МАЗУРКЕВИЧ,
академик АПН СССР

ЧЕЛОВЕЧНОЕ СВЕЧЕНИЕ ВИШНИ

4. «...НЕ ЗАВАДИТЬ І ЖАКАН»

Смех Остапа Вишни, однако, не всегда был юмористичен, взрывалась и сатира — по зову жизни. Так что вполне оправданно, по инициативе декана филологического факультета Одесского университета имени И. И. Мечникова (ныне председателя правления областной организации Союза писателей Украины) Ивана Михайловича Дузя, ранней осенью 1964 года состоялась специальная научная конференция «Остап Вишня и проблемы развития украинской советской сатиры». Мне, участнику этой конференции, докладчику и собеседнику в завязавшихся тогда заметно посвободнее дискуссиях, особенно запомнилось, как уже во вступительном слове ее организатор откровенно и вполне обоснованно говорил о преступном при культе личности Сталина покушении на Вишню:

— Оказалось, что именно ему, «культу», запрудила дорогу советская сатира... Вишню рубили, но не срубили. Сломать его не смогли, ибо он верил великой правде жизни и этой правдой только и жил. Он вернулся туда, куда его звал еще в 1925 году Василь Блаkitный — у «стан веселої сатири» («Сюди, поети!»).

Когда вспоминаешь и взвешиваешь, в каких условиях ходил Остап Вишня в бой с оружием сатиры, невольно наплывает параллель из мудрой исповеди М. Е. Салтыкова-Щедрина. А великий русский сатирик на целое столетие раньше нашего современника сетовал на свое

время, вроде на времена Остапа Вишни: «Трудно живется нашей сатире. Капитал, которому некогда положил основание Гоголь, не только не увеличивается, но видимо чахнет и разменивается на мелкую монету. Сатирики наши как будто стали в тупик и кружатся на одном месте, удивляя читателей... однообразием типов и замечательною поверхностностью своих отношений к жизни... все типы торжествующие и блаженствующие и потому подлежащие обличению. Не говоря уже о том, что все подобные обличения пишутся задним числом с наложением на них, так сказать, казенного клейма, они и потому еще поражают бессилием, что нимало не затрагивают того положения, которое порождают обличаемые явления.. Избитость мотивов, отсутствие чуткого отношения к жизни, бедность, грубость и однообразие красок — вот существенные недостатки современной русской сатирической литературы» (Смешные песни Александра Иволгина. 1868 г.).

Что-то подобное, только еще, случилось, в более уродливой форме, при лицемерно искажаемом лозунге «Нам Гоголи и Щедрины нужны», творилось в литературе, идеологической среде и при Вишне. Но в той жизни, с которой Остап Вишня был нераздельно слит, происходило совсем иное. Тоже почти по Гоголю и Салтыкову-Щедрину, хотя уже был «не тот теперь Миргород». А ведь еще тот же Щедрин замечал: «Нельзя сказать, однако же, чтобы текущая жизнь не представляла обильной пищи для сатиры. Напротив того, последнее время создало великое множество типов совершенно новых, существование которых гоголевская сатира и не подозревала. На горизонте русской жизни периодически появляются

Окончание. Начало см.: журнал «Радуга» № 1 за 1990 г.

своего рода моровые поветрия и поглощают целые массы людей. Вспомним язву... празднословия, язву легкомыслия... ту легкость, с которой русский человек научился менять убеждения... и мы убедимся, что предметов для сатиры существует весьма достаточно... Каждое из этих моровых поветрий воздействует не на Ивана или Петра, а на целые массы Иванов и Петров... Но сатирики наши с равнодушием истинно героическим проходят мимо самых характеристических явлений... Это своего рода шарманчики, которые до тех пор не перестают насвистывать пользующийся успехом мотив, покуда не искалечат его и не разобьют сверху донизу... быть может, это оскудение оттого именно и происходит, что сатира с почвы психологической ищет перейти на почву общественную, где несколько труднее ратовать...»

Это писалось тоже в 1868 году. Столетием позже ситуация почти что повторялась, но Остап Вишня не стал ее рабом, да и не был одиночкой — вырос целый Вишневый сад: Василь Блаkitный, Юрий Вухналь, Александр Ковинька, Микита Годованец, Степан Олійник, Федор Макивчук... Они были достойны традиций автора «города Глупова» и «Иудушки Головлева», того сатирика, который имел мужество заявить о себе и о еще неизвестных ему, но предчувствуемых им потопках его «школы» целебного смеха: «Если б мне было доказано, что я предаю осмеянию явления почитенные или не стоящие внимания, я, наверное, прекратил бы деятельность столь идиотскую... Я же, благодаря моему создателю, могу каждое объяснить, против чего они направлены, и доказать, что они именно направлены против тех проявлений произвола и дикости, которые каждому честному человеку претят. Так, например, градоначальник с фаршированной головой означает не человека с фаршированной головой, но именно градоначальника, распоряжающегося судьбами многих тысяч людей. Это даже и не смех, а трагическое положение... Изображая жизнь, находящуюся под игом безумия, я рассчитывал на возбуждение в читателе горького чувства, а отнюдь не веселонравия» (Письмо к А. Н. Пыпину 2 апреля 1871 г.). И еще прозрачнее, ближе к нашей современности: «Не «историческую», а совершенно обыкновенную сатиру имел я в виду, сатиру, направленную против тех характеристических черт русской жизни, которые делают ее не вполне удобною. Черты

эти суть: благодушие, доведенное до рыхлости, ширина размаха, выражающаяся, с одной стороны, в непрерывном мордобитии, а с другой — в стрельбе из пушек по воробьям, легкомыслие, доведенное до способности, не краснея, лгать самым бессовестным образом. В практическом применении эти свойства производят результаты, по моему мнению, весьма дурные, а именно: необеспеченность жизни, произвол, непредусмотрительность, недостаток веры в будущее и т. п.» (Письмо в редакцию «Вестника Европы», апрель 1871 г.).

Оставленные жестоким прошлым в наследию современному, эти черты зияли «по-новому», отсюда и потребовали нового оруженосца сатиры, каким и стал наш Остап Вишня и каким запомнился нам. Но прежде чем привести хоть пару фрагментов этих памятных раздумий, как бы просверлим и почву, которая соединила этих сколь различных, столь и родственных, пахарей на заросших чертополохом полях разных, но по-своему трагических, эпох. Сквозь столетие будто слышал Остап Вишня своего предтечу Салтыкова-Щедрина, обличавшего не просто «чертей», а все их «болото»: «...было бы болото, а черти будут... Воистину болото родит чертей, а не черти созидают болото. Жалкие черти! Как им очиститься, просветлеть, перестать быть чертями, коль скоро их насквозь пронизывают испарения болота!.. Да, смешны и жалки эти кинутые в болото черти, но само болото — не жалко и не смешно...» (Круглый год. 1879).

Во времена иные Остап Вишня как-то больше вспоминал Гоголя, но действовал словно как по Салтыкову-Щедрину.

...Современная украинская сатира сильна Вишневыми патронами — и его заряды, как сам он отмечал, — «набої, набиті різнокалібрним шротом, щоб було чим бити і бекаса, і тигра» («Екіпівка мисливця»), они, вплоть до «жакана, кулі» («Дикий кабан, або вепр»), поражают и крупного зверя.

Павло Михайлович очень любил повторять адресованное ему послание Максима Рыльского, весьма метко «маркирующее» заряды из арсенала нашего сатирика в их боевом действии:

*...На мушку Ви берете вірно
Головотятів і нероб.*

*...Сухий в порохівниці порох,
Не похитнути сталь руки,—
І бракороби в теплих норах
Ховаються, як барсуки.*

*Забувши марні теревені
І прикусивши язика,
Від Вас бистріше за оленя
Окозямиллювач тіка.*

*Ви бистрим оком соколиним
Щораз вимірюєте вміть,
Де слід ударити бекасином,
Де треба і картечі ожити.*

(«Ні пуху, ні пера»)

Продолжая эту мысль, Максим Таде-евич повторил и в эпиграфе своих воспо-минаний, что при всей своей «ласкавій усмішці» — народному юмористу не чуж-да была и сокрушающая сатира — а заряд на нее, что на дикого кабана-вепра:

*...Міркуєте Ви справедливо,
Що не завадить і жакан.*

Когда на чествовании 60-летнего Оста-па Вишни я услышал эти строки из уст автора, то дома тотчас же пошарил в сло-варях — и не нашел «жакана» даже у Да-ля, Гринченко и Яворницкого... Только в словаре С. И. Ожегова встретилась загадочная «пуля особой конструкции»... Позже мне Вишня объяснил это слово суто как охотничий термин. И вот теперь я читаю примечание самого Рыльского, так сказать, по прямому назначению: «Поясню для невтаємничених, що жакан — це куля для гладкоствольної руш-ниці, вживана при полюванні на великого звіра. В літературній своїй роботі Вишня справді неперевершений стрілець, його постріли не б'ють мимо цілі. А цілі в нього найрізноманітніші — від дрібної обивательської перепілки до міжнародно-го бенгальського тигра чи американської пуми...»

(Про Остапа Вишню. Спогади. 1989).

И не только пумы международной, но и внутренней... Нынче, например, перечи-тываем написанный Вишней еще в начале января 1950 г. и читанный нами в газете «Радянська Україна» 8 января того же года сатирический «репортаж» о проис-шествиях не на одном только колхозном дворе и не только «в ночь под Новый год» — и диву даешься, как ясно видел и смело судил Остап Вишня то, на что мы тогда из преклонения (и страха!) пред «вождем» стыдливо (пугливо!) глаза за-крывали. А тем временем Остап Вишня, как он позже объяснял, на «пекучому життєвому факті», срывая пелену показ-ного «благополучия», обнажал, как в кол-хозах «догосподарювались», дообдира-лись, доразорились до того, что и сторо-

жить уже нечего — ни днем, ни ночью... Поначалу «не в лоб» сатира — вроде юмор на «местное начальство»: «по ба-гатых наших колгоспах голови колгоспів, щоб повлаштовувати на легесеньку роботу своїх родичів, кумів, сватів і т. д., — при-значають їх сторожами» («Отак і пи-шу»). Но дальше в лес — больше дров: оказывается, что и вовсе сторожа — лиш-ние люди: «Буває іноді, що стерегти нема чого...» И тогда «під коморою сражають-ся «у підкидного»... На ферме поднимают бугая, которому быть красавцем между симменталов, «Цезарем», а он стал (без кормов) «характером плохий, сумирний, дається піднімати («вдвох»), тільки стог-не...» Остальной же скот пал, торчит лишь «свинячий окіст» — и в колхозе уже нечего было красть, кроме самих сторо-жей, а чтобы и их не стянули, поставили вместо восемнадцати сторожей одного на страже — самого «голову»... Дивились люди таким метаморфозам: «Що ж йому сторожувати? — ...Колгоспні трудод-ні!» — сразу нашелся мудрый колхозник: никто тогда у него никакого сторожа не стащит... Так в сатире «У ніч під Новий рік» Остап Вишня уже тогда развенчал «политику» ограбления крестьянства: обесценения, выхолащивания колхозного «трудодня», обличение которой только теперь стало широкоवेशаемым, хотя и в этом деле до храброго и умудренного Остапа Вишни пока еще «не добрались»...

Достигал жакан Остапа Вишни и до самой литературы. Помнится, в беседах не единожды он сетовал на администра-торов и прислужников из писательского дома. Но мы тогда не ведали, что те же мысли беспокойно «нотировал» он пока «про себя» в потаенном дневнике. Хотя бы вот так: «А ви коли-небудь бачили приказчика в літературі? Такий собі: — Чого ізволите? Ямб? На скільки терцій? І такі єсть!» (запись 19 декабря 1949 г.).

Поскольку остатки таких приказчиков от литературных прилавков пока не пе-ревелись, не худо бы им самим между строк дневника нет-нет да и узнавать себя, имея мужество признать народно-гоголевское: «на зеркало неча пенять...» И помнит вишневское: «Коли входиш у літературу, чисть черевики! Не забувай, що там був Пушкін, був Гоголь, був Шев-ченко! Обітри черевики!» (запись 27 де-кабря 1948 г.).

5. «АРОМАТ РІДНОЇ МОВИ»

И еще особенно запечатлевшееся в памяти — на всю жизнь, как говаривал Павло Михайлович...

...Таяла зима 1952 года. Звонок в квартиру — привычный его голос:

— Читав Вашого Гоголя в «Радянській школі», заходьте — є розмова. Спасибі за гостинець.

А повод был. Февральский номер журнала «Радянська школа», еще сигнальный экземпляр, я передал ему после того, как прочитал с жадностью его статью «На все життя» — тоже о Гоголе.

К Павлу Михайловичу я сразу же зашел — и была «розмова»... Ее вспоминаю часто, особенно теперь. Сперва я торопился высказать свои впечатления от его статьи, что лепетал — не помню, но, видимо, одни восторги. Взыскательный же автор, наверное, ждал от меня чего-то поумней, порассудливей. А мы приручились к общим, по тону времени — громким, пестрым словам. Была бы эта встреча сегодня, я бы поважнее что-то сказал, что сейчас мыслится над перечитываемым и что в раздумьях еще выскажу. А пока лишь замечу, что во всех доньше вышедших изданиях — в семитомном (1963—1965 гг.), пятитомном (1974—1975 гг.) и в других ошибочно указывается, будто новелла «Все життя з Гоголем» в первый раз была напечатана только в 1954 году (в журнале «Вітчизна», № 5 под заглавием «Все життя разом»). В действительности же она была опубликована на два «с гаком» года раньше, сразу же после ее написания (рукопись помечена 15 января 1952 г.) в «Літературній газеті» под заглавием «На все життя». Сохраняя все, что относится к Остапу Вишне, как дорогие мне зерна архивной сокровищницы, я приберег и этот 37-летнего возраста экземпляр газеты, и сейчас, перечитывая ее пожелтевшую страницу, с радостью вижу, как ясно светятся из нее такие свежие и сегодня мысли Остапа Вишни о языке, о слове Гоголя — его и нашем, родном. Так что не удержусь хоть кусочек их выписать, тем более, что все же «добываю» это из первой, забытой публикации. А Вишня писал во весь голос и от всей души, ничуть не скрывая удивления, вырастающего в восторг и вдохновение волшебной мощью чародея языка:

«...Звідки бралось, з яких криниць, з яких джерел водограєм било чарівне гоголівське слово?..

...Слово великого Гоголя не тільки не

вмерло, і ніколи не вмере, а дасть іще чудесні паростки!

Дасть! Дасть! Дасть!»

И при этом Вишню преисполняло чувство величайшей ответственности за долг перед родным языком (родным не только ему, но и Гоголю):

«...Мені припала велика честь працювати над перекладами драматичних творів великого мого земляка на українську мову. Я переклав «Ревізора», «Одруження», «Картярі», «Коментарі до вистави «Ревізор» і «Театральний роз'їзд»... Я дуже хвилювався, перекладаючи твори М. В. Гоголя. Зберегти красу, чарівність, аромат гоголівського слова — трудна це задача. Трудна й відповідальна... Я серйозно вдячний поетові — академіку М. Т. Рильському за велику його допомогу мені в цій роботі... Українській радянській літературі потрібні досконалі переклади творів М. В. Гоголя, і коли мені припала ця честь, то це не значить, що... до неї не треба ще і ще повернутися, щоб таки справді мати переклад, достойний незрівнянного оригіналу... Отак з дитинства і до похилих літ з великим земляком моїм, з М. В. Гоголем у серці» (Остап Вишня. На все життя. — «Літературна газета», 1952, 28 февраля, № 9 (466)).

Священное чувство долга и ответственности перед «земляком» Гоголем за представление его на родном языке было всегда присуще Вишне. Еще накануне 100-летия со дня смерти Гоголя, в ноябре 1951 года, на странице договора с издательством «Мистецтво» Павло Михайлович с присущей ему прилежностью вписал: «...важаю за свій громадський обов'язок дати українському народові «Ревізора» в перекладі на укр. мову». В том же году, точнее — месяце (5 ноября), как нам позже стало известно из посмертной публикации (в февральском номере «Дніпра» 1957 года), Павло Михайлович исповедовался перед самим собой — в дневнике: «Треба перекласти «Ревізора» Гоголя українською мовою... Поможи мені, господи, зробити цю роботу! Так зробити, щоб народ наш відчув, полюбив цю безсмертну комедію, яка така близька, така рідна, така для мене пахуча, як троянда в моєму творчому садку, як калина на моєму огороді, як очі в мого онука, Павлушки, голубі та чисті...» (запись 5 ноября 1951 г.). И месяцем спустя: «А я з М. В. Гоголем мучусь! Визнаю: радісна мука, приємна мука, та проте, — мука!» (запись 3 декабря 1951 г.). Это чувство долга перед Гоголем и наро-

дом обострялось в нем все глубже: «Як би можна було нашою, українською мовою подати Миколу Васильовича! Тільки б попрацювати!.. Спасибі Рильському...» (запис 23 февраля 1952 г.).

При встрече Павло Михайлович прочитал мне по рукописи листики нового произведения, совсем свежего, только что написанного к тому же 100-летию (опубликовано оно уже после смерти автора — в семитомнике сочинений Остапа Вишни издания 1965 г.). А там, между прочим, было и то, что сейчас перечитывая, особо подчеркиваем: «Гоголь — наш земляк, українєць... Життя в дитинстві в мальовничому українському селі, вивчення юнаком — учнем народного життя, спостережливості, природний талант — це все спричинилося до того, що Гоголь дав незрівнянні своєю чарівною красою й правдивістю картини української природи, людських характерів, правдивої історії народу... Хто не знає незрівнянних, чарівних гоголівських описів Дніпра, української ночі, українського степу і т. д. і т. ін.?»

Не припомню, сдавал ли Вишня замечательный этот очерк (с подзаголовком «До століття з дня смерті!») в печать, но в юбилейном гоголевском году света он так и не увидел... Зато, и это отчетливо вспоминается, очень радовали Павла Михайловича публикации его страничек о Гоголе «Живе слово» в «Україні» (1952, № 3) и для детей, вровень с их возрастом — «Микола Васильович Гоголь» в «Барвінку» (1952, № 3).

...Однако же вернемся к нашей беседе, к тому ее предмету, ради которого и пригласил меня на этот раз Павло Михайлович. После моего не в меру «похвального слова» о только что опубликованной в «Літературній газеті» его статье «На все життя» (позже я понял, что Вишня хвалебных лепетаний в его адрес терпеть не мог) Павло Михайлович перешел к тому, что, по-видимому, собирался высказать прямо, нелицеприятно, без «пересола», не в пример его собеседнику. Зашел откровенный разговор об опубликованной в присланном мною «гоголевском» номере журнала моей статье «М. В. Гоголь — національна гордість радянського народу» («Радянська школа», 1952, № 2).

Как всегда и во всем, он, сосредоточенно и последовательно «разобрав» мой «надмірно емоційний», что запомнилось, трактат и отметив места ему по душе («...стаття вийшла з любов'ю до нашого Гоголя»), напрямик, сразу же высказал,

что думал. Дословно с памяти цитировать рискованно, а смысл был таков. Любовь к Гоголю — это естественно. Да вот только статье недостает любви самого Гоголя к своей Украине, к колыбели его, к народу своему и, что вполне естественно, к его родному языку. Ведь Гоголь, и это светит на поверхности, очень «шанував» украинский язык, как и поведенные именно этим языком народные поверья, причитания и обычаи. И когда Остап Вишня недвусмысленно упрекнул меня в том, что общие слова — «национальная гордость советского народа» — еще не обозначают чего-то конкретного, — мне, привыкшему к общепринятой фразеологии, трудно было найти это конкретное. А он нашел.

— Так, Гоголь — гордість усього радянського народу. Але ж народ цей багатонаціональний. Тож найперше — українського народу. А у Вас ось з самого початку: «...належить до числа найвизначніших діячів передової російської культури, які становлять законну національну гордість усіх народів великого Радянського Союзу і мають світове значення». Безперечно, але ж сказано так — і ніде більше не поправлено — ніби Гоголь й не причетний до України ні життям, ні письмом — йому вона, як і Грузія чи Казахстан... Аж не так! Не забуваймо, як Шевченко дошкульяв: «...і чії ми діти...» Тим паче, що у статті таки показано, як Тарас Григорович шанував «нашого безсмертного Гоголя», «брата, друга», як його твори «всегда читал с наслаждением», а «Ревізора» вважав «сатирой умной, благородной...».

Трудно передать слово в слово любую беседу на дистанции десятилетий, но то, что задевало самолюбие, вызывало чувство стыда — забыть нельзя... Коли совесть не заглохла — память не сотрется. Особенно в наше время, когда так остро и круто поворачиваемся лицом к пережитому, к осмыслению изданного и прозрению... А он, Остап Вишня — как это теперь не вспомнить, перечитывая самого себя! — прямо и поделом, без укоризны донимал:

— ...И ще Ви пишете: «Мова рідного народу — велика російська мова служила Гоголю невичерпним джерелом художньої творчості». Але тут же самі собі суперечите, кажучи: «...його твори... водночас увібрали в себе всі скарги мови народу і збагатили її». І це ж підтверджує висловом В. В. Стасова про силу «небувалої», нечуваної своєю природою мови Гоголя, його свідченням, що «з Гоголя встановилася в Росії зовсім

нова мова; він нам безмежно подобався своєю простотою, силою, влучністю, дивовижною жвавістю і близькістю до природи. Всі гоголівські звороти, вислови швидко ввійшли до загального вжитку. Вся молодь почала говорити гоголівською мовою...» (Це wspomинання встановлюється по сверке с текстом обговорюваної во время бесіди статті, а також с публікацією В. В. Стасова в «Русской старине», 1881, № 2).

Задетий «за живое», Павло Михайлович убезпечено продовжує:

— А звідки ж та «близкість до природи» — та ж з його рідної землі, з української мови, яка так і світиться в його «Вечорах на хуторі...» та «Миргороді»... Бо ж сам він — українець, і все те, що про його земляків, українське, хоча й писано для «всєя Руси». Адже й самі Ви нижче справедливо визнаєте, що у творах Гоголя, в його «сміхові крізь сльози» вилились «сум і гіркота» тієї України, «яка віками стогнала під експлуататорським ярмом» — саме це нам слід би сміливіше розгорнути, а то дуже вже загортаємо його в сучасне пакування...

Такові були «мої университети» на домі «факультета Вишні»... Вспоміная, все більше прозреваю.

При том, для него Гоголь, пока держався родної землі (не в буквальному смысле, а в своїх твореннях), — не страдал тоскою самотності, вєд он був талант, а по Остапу Вишню «талант — це народ!!» (из дзєвника). Совсем по-иному, как нам нинче ясно становиться, понимал Гоголя его почти ровесник — русский писатель Борис Константинович Зайцев (1881—1972), современник Чехова, Короленко, Бунина, Андреева, кончивший жизнь в Париже. В своих воспоминаниях, изданных совсем недавно — в 1989 году, но датированных еще 1931 годом, он представлял читателям Гоголя «без блеска», а именно: «подинно хмурою личностью литературы», и при том уверял, будто, «как и при жизни, мало его любили. Одиноким Гоголь прожил. Одиноким перешел в вечность» (Б. К. Зайцев. Голубая звезда. Повести и рассказы. Из воспоминаний. М., 1989). Что-то похоже на то, как в 1912 году переукрашивал Тараса Шевченко пресловутый «интерпретатор» Симон Петлюра, вдалбливавший русским читателям, будто «в период развития поэтического дарования Шевченко, в годы роста его поэтических сил... он был одинок» («К драме жиз-

ни Шевченко» — в ж. «Украинская жизнь», 1912, № 2).

Сопоставляя эти полярно противоположные мыслям Остапа Вишні высказывания, мы ясно видим, как всей своей сущностью его толкование Гоголя дает отповедь «инакомыслящим».

Заботясь о переводе на украинский язык произведений Гоголя, достойных оригинала, Остап Вишня бурно восставал против искажения украинского языка буквальным, формально-дословным переводом Гоголя. По поводу чиновничьих повадок таких «рецензентов» он строго отмечал про себя в дзєвнику: «Из його зауважень видно, що він, Н, знає українські слова, та не знає мови. Це якийсь шашіль у мові» (запис 12 февраля 1952 г.).

Против таких чиновников от языка Вишня восставал и раньше. «Не подумайте, що я не визнаю Н за мовознавця. Визнаю! Але — щоб мене тут грім убив! — не знає Н духу української мови, її аромату, її душевно ніжного-ніжного трембітотону, її коліскової душі, чебрецевих її пахоців, її тремтіння, її шелестіння, її бриніння... Отого, що мати над коліскою... Не з написаної вдома з фольклорних матеріалів лекції... А з материнських уст... Отакий академік знати-ме аромат рідної мови» (запис 26 ноября 1950 г.).

Перечитывая задушевные эти строки, еще звучней слышу, будто сейчас, его голос во время наших бесед...

И проясняются, по-новому звучат и некоторые острые (а нередко и не в меру натачиваемые) проблемы. Скажем, такая...

«...От я перекладаю оповідання Юрія Яновського. Перекладаю з російської мови на українську. Ми знаємо Юрія Яновського як прекрасного знавця української мови. Чому він написав свої оповідання по-російськи? Що це? Підлабузництво? Нічого подібного! Якби я, Остап Вишня, міг написати мої думки по-англійськи, по-французьки, по якому хочете — невже це принизить мене як українського письменника?» (запис 18 декабря 1954 г.).

А еще раньше — о том же украинском писателе: «Ю. І. Яновський справжній письменник! Справжній! Талановитий! Культурний! Що б хотілося від Ю. І. Яновського? Радості в творчості!» (запис 8 апреля 1949 г.).

Вчитуюсь и встановлюю в пам'яті образ настоящего Вишні, того виден-

ного, познанного, прочувствованного, который и сегодня, в наше припекающее время, внятно, «как живой с живыми», говорит:

— *Що єсть благороднішого на світі, як дружба народів? Ну, чому, справді, я був би сичав на казаха, на грузина, на турка? Ну, чого? А чому я не можу його обняти, приголубити, поцілувати? Ну, чому?* (запись 5 ноября 1951 г.).

И чем дальше — тем мощней:

— *Яка радість у мене на душі, коли я читаю Руставелі, коли я знаю, що кожний «дзе», кожний «швілі» (а я це знаю, я вірю в це!) обніме мене при зустрічі і приголубить! І я його!* (запись 28 ноября 1951 г.).

А на противоположные явления у Вишни и здесь был свой «жакан»:

— *...І коли в якогось сукиного сина ще залишилося оте мерзенне: я — українець, а ти — кацап! — хай він буде трижди проклят, бо (думай!) у сто крат приємніше мені ц і л у в а т и радянського мужика, ніж бити його по голові* (запись 20 января 1951 г.).

Вновь и вновь возвращаясь к таким страницам «бесед с самим собою», верно воскрешающим и наши собеседования, как тут не привести знаменательные наблюдения Максима Рильского, который так много хорошего поведал мне о своем ближайшем друге по оружию слова и «мисливства». И вот теперь читаю будто резюме тех рассказов на досуге... Резюме о том, что такие «митці», как Остап Вишня — «художники з голови до ніг національні. В кожному слові, в кожній інтонації, в кожному образі їх живе і бринить рідна природа, живе і творить рідний народ... Остап Вишня — це замріяно-лукава мова земляка великого Гоголя, це жарт із дуже серйозним обличчям, а інколи це і гнів, щедро посипаний чорноморською сіллю...» (Максим Рильський. «...І ласкава усмішка»).

6. И ТОТ, КТО С ВИШНЕЙ ПО ЖИЗНИ ШАГАЕТ...

Немало добрых слов об Остапе Вишне слышался я и при встречах с теми, кто был близок к нему, дружил с ним. Как о человеке дивной души, прелестном «смехотворце», любил говорить о нем Федор Юрьевич Макивчук, шутя окрещенный Вишней «колючим», — сколько невымышленных «пригод» с «диво-смехотворцем» поведал он нам, к примеру, в кисло-

водском санатории над «пятакком», где вместе лечились. По-разному, но всегда искренне отзывались близкие по возрасту «три богатыря» украинского юмора: Степан Иванович Олійник — с соседским преклонением и побратимской любовью; Александр Иванович Ковинька — с почтением; Микита Павлович Годованец — с родственным пониманием. Александр Иванович Копыленко откровенно признавался, что юмором он «заразился» от Остапа Вишни и в одном письме советовал мне включить «главкома» веселых чтений в школьную программу по украинской литературе. А Платон Никитович Воронько, гордась соседством по дому на ул. Червоноармийской, 6, как-то промолвился мне:

— Эх, «ровеснику», куда же вы там смотрите, что до сих пор Остапа Вишни в школе не изучают? В наше же время мы с тобой в дальнем селе лучше его знали в начальной школе, чем ныне десятиклассник в стольном граде Киеве, а что в колыбельной его Груне — и говорить нечего... И программы составляете, что школьнику и усмехнуться не на чем. А с Вишней сколько бы солнца в класс вошло...

К слову сказать, мысль о включении «усмішок» Остапа Вишни в школьную программу по украинской литературе весьма убежденно поддерживал (и развивал!) академик Александр Иванович Белецкий, когда мы с ним советовались, но министерская администрация всячески тормозила — как бы чего не вышло...

Правда, после таких «намеков» мы возвратили школе Остапа Вишню, но все же и поныне непростительно обкроенным, да и ненастоящим: разве великого правдолюбца детям узнавать по-наивному «Якби моя бабуся встали...»? Узнавать того, кто честно перед собой (в дневнике) исповедовался: «*Я ніколи не зраджував правди*» (запись 19 декабря 1954 г.), но во всеобщем мажоре иногда, подобно давнему Н. А. Некрасову, рука исторгала и «неверный звук», как, например, восторг от «радостей» советских женщин «*за нашого чудесного часу*» (весной 1946 г.!), которым дивилась бы его бабуся, поднявшись из могилы... Бывало, но ведь сам он признавал: «*Помилявся! Так! Але приходив до народу свого із усіма своїми помилками... Ніколи я не зрадив інтересів свого народу! 'Ніколи!*» (запись 10 марта 1951 г.). Так следует ли молодому поколению, жаждущему слышать настоящего Остапа Вишню, представлять его в школе

случайной, вынужденно-пафосной юмореской, вроде этой «бабуси»?.. Это так рассуждаю теперь, а надо бы еще тогда, выполняя добрые советы Копыленко и Воронька! Однако доброе дело чинить никогда не поздно...

Увлекался Вишней в наших беседах и, как величал его Павло Михайлович, «несміливо-сміливий» Леонид Смилянский. Мне особенно запомнилось его смелое возражение официальному лозунгу того времени — «Нам Гоголи и Щедрины нужны»:

— А у нас есть свой и Гоголь и Щедрин — наш Остап Вишня!

И еще никак не забыть, как лечивший мое ухо чуткий и мудрый чародей человеческого слуха Алексей Сидорович Коломийченко несказанно рад был, когда я в «свеженьком» седьмом томе сочинений Остапа Вишни показал еще, оказалось, неизвестные ему записи в дневнике о нем же — «професорі-отіатрі» с его братом Михайлом Сидоровичем — «професором, замічательним хірургом, державного розуму людиною». Читая раз, другой, третий, Алексей Сидорович, вижу, все возвращается к строчкам: *«Які люди повифростали! Які люди... Дивившись на них — і душа твоя танцює: — яких хороших людей дала Жовтнева революція!»* (запись 14 февраля 1952 г.). Расстроганный старик не мог оторваться от книги. Пришлось подарить — радость не описуема...

В ряду тех, «кто с Вишней по жизни шагали», вспоминаются встречи и за пределами Киева, например, с Александром Андреевичем Прокофьевым, которого так по-родственному любил Павло Михайлович «за талант, за чесність... Сашу», искренне почитал «цього ладоцького бідняка, комбеда, мужика, безконечно залюбленого в Росію...», как мы теперь достоверно знаем по дневникам (записи 27 декабря 1948 г., 24 августа 1952 г. и другие). Так вот, хотя и не все помнится, но при наших встречах в Ленинграде и в Москве Александр Андреевич привычно спрашивал о здоровье Павла Михайловича, его самочувствии, весело добавляя: «Читаю его в оригинале, воспринимаю в натуре, будто опять сидим за братским столом, прихорошенном милозвучной украинской мовою»...

Вспоминается и грустное...

Суждено было мне однажды во Львове, по ул. Жовтневой, на квартире соратника Ярослава Галана, жизнерадостного Юрия Степановича Мельничука — моего друга,

встретиться с возвратившимся из «не столь близких краев» другом «однополчанином» (по ссылке) Павла Михайловича, делившим с ним тяжкую долю честных украинских писателей, — Владимиром Зеноновичем Гжицким. В «кругу семейном» он скромно (страх не любил бахвальства!) рассказал нам о том, как там взаимно выручали друг друга, насколько это удавалось, и как осенью 1938 года прощались, когда Павла Михайловича «зеки» вывозили из Кирты бог весть куда, что по опыту считалось — «натот свет». В тот смертный час, собираясь в последний путь, Павел Михайлович просил своего младшего товарища, надеясь, что он, может быть, каким-то чудом уцелеет, поклониться терзаемой Отчизне «до самої землі», передать ей сыновнюю любовь, друзьям — верность, товарищам, добрым людям — счастья, так как он сам, видимо, ничего этого уже не дожидается...

Владимира Зеноновича, как и нашего львовского друга Юрия Степановича, давно уже нет в живых, но это воспоминание осталось живо — оно всегда со мной... И хотя сказание Гжицкого о его с Остапом Вишней «хождениях по мукам», написанная им «правдивая биография Остапа Вишни» тех времен давно поведаны в романе «Ніч і день» и теперь опубликованы в воспоминаниях «Пережитое», — вспомнить и это — долг совести.

...Встречались мы с Остапом Вишней, с его обликом и словом не раз и после того скорбного часа, когда Киев — да и вся Украина — хоронили его под им же часто напеваемую «Козака несуть і коня ведуть»... Встречаемся и теперь — все чаще и чаще...

В памяти всплывает одна из первых таких встреч. Мне выпало осуществлять научное руководство диссертацией «Средства юмора в произведениях Остапа Вишни (Лингво-стилистический анализ)». Взятая за это нелегкое, но благородное дело херсонский энтузиаст — преподаватель украинского языка в пединституте им. Н. К. Крупской Борис Григорьевич Пришва. Сам склонен больше к сатирическим перехлестам, чем к гуманно-целительному юмору, он, однако, честно потрудившись, представил творчество Вишни как естественную сокровищницу богатств украинского языка в различных ее гранях — стилих народной речи, ее мудрости и прицельности, лексических слоях и прослойках, динамичности и гибкости. Он сумел показать (и доказать!), как Остап Вишня, мастерски выплавляя сталь

из руды украинского народного юмора, создавал сильнодействующие и чрезвычайно эффективные средства и ситуации комического, находил самые разительные возможности родного слова для выражения смеха — то бодрящего, то секущего. Приятно, что успешно защищенная диссертация составила не только ученую степень ее автору и радость научному руководителю, но и принесла учителям, школьникам немалую пользу изданной книгой (1977 г.).

Вспоминается и оживление на защите докторской диссертации одесским литературоведом-писателем Иваном Михайловичем Дузем по проблемам роли и места творческого наследия Остапа Вишни в развитии современной украинской сатиры, в результате которой ее автору была в столичном университете имени Т. Г. Шевченко единогласно присуждена степень доктора филологических наук.

Да, многое воскрешает память — всего не перечесать. Приходилось и защищать Вишневые дары народу от зарубежных фальсификаторов, бьющих им «в ноздрю» его усмешек и дневников, — но об этом уже писал в изданной почти три десятилетия тому назад книге, адресованной и зарубежным украинцам.

И еще одна «деталь». Не следует мириться даже с «невинными» попытками некоторых наших критиков под видом «критического подхода» хотя бы в чем-то принизить Остапа Вишню. Разумеется, речь идет не о бывших вульгаризаторских выпадах, подобных печатной кляузе А. Полторацкого («Радянська література», 1934, № 4), — они, дай бог, канули в Лету позорного прошлого... Тревожит тон таких «суждений», какие встречались и недавно в некоторых «тезисах»: будто в своих «Вишневих усмішках закордонних» наш «Остап Вишня не поднялся на уровень той национальной гордости, которая звучит и сегодня в очерках М. Горького и В. Маяковского», и что «ряд очерков этого цикла весьма поверхностен». Дико, по крайней мере, наивно, звучит упрек Остапу Вишне в таких его «грехах», что он писал про «чистенькі німецькі села... Кам'яниці... Електроніку. Брук... Авто... чисті, як дзеркало, асфальтовані вулиці Берліна, метро, сади та парки...» Будто всего этого не было... Будто и не могло быть в мире, устроенном «не по-нашему»...

Но на такие и подобные заблуждения сам Остап Вишня достойно отвечает: «П р а в д а... Тільки вона, н р а в д а, бу-

ла поводитиме у моему житті. Я ніколи не зрадив правди...» (запись 19 декабря 1954 г.).

...Остапу Вишне исполнилось сто лет, хотя не прожил и семидесяти... Зато вышел на всю планету — им, своим достойным сыном, гордится украинский советский народ, его любят народы всей нашей великой Родины, знают украинцы — друзья и враги — по всем зарубежным землям, почитает все честное в человечестве во всех тех уголках мира, куда только достигает Вишнево свечение.

Да, мы можем говорить и о мировом значении Остапа Вишни, как и родной украинской литературы. У меня сохранилась канадская газета «Українське слово», которая опубликовала почти 40 лет тому назад, 21 июня 1950 года, специально написанное им для украинцев за океаном эссе «Правда очі коле» (известно, что на второй же день его перепечатала соседняя газета «Українське життя»).

Там читаем:

«Велике Василеве Стефаникове серце пекучим боєм боліло не тільки за галицького сафуку-бідаря, для його благородного серця не була байдужа доля скривдженого, визискуваного наддніпрянця і тамбовця, воронежця і польського затурканого панського батрака... великий письменник-гуманіст не міг бути проповідником та оборонцем національної обмеженості, своєї тільки рідної стріхи, своєї тільки ваганки, його серце обливалося кров'ю взагалі за мужицьку, за народну долю».

Точно то же по смыслу, хотя отличное, «свое» по ситуации, можем сказать о сердце Остапа Вишни, великого гуманиста-правдолюбца, у которого, как и в историческом нашем предтече, никогда не было «зерна неправды за собою».

Он имел мужество допросить себя:

— Кто ж я такой? Для народу?

И с чистой совестью ответить:

— *Лакей? Ні! Не присмикався! Вождь? Та боже борони! Слуга я народний, що все моє життя хотів, щоб зробити народові щось хороше!.. Я — слуга народний! І я з того гордий, я з того щасливий!* (записи в дневнике 20 октября 1950 г.).

И мы тем счастливы, за то и любим так его.

...Все ярче оживает в памяти тот светлый вечер, когда в честь 60-летия Вишни Максим Рыльский дарил свежее свое посвящение ему — «Ні пуху, ні пера»:

*Без гучних прожив він декламацій, —
А в душі поезія цвіла!*

И я счастлив, что слышал правдивые эти слова из уст самого их автора и хорошо знал, много раз встречал и на всю жизнь сохранил в памяти сердца того великого Поэта (да, именно Поэта — в юморе, сатире, в жизни!), того настоя-

щего Человека, о ком пели они, душевные эти строки.

...Таким и помню, таким и вижу замечательного гуманиста нашего времени Павла Михайловича Губенко — всегда живого, смеющегося и страдающего Остапа Вишню. Таким ощущаю неповторимое, истинно человеческое Вишнево свечение.

Июль-август 1989 г.

Николай КРОПИН

В ТОТ САМЫЙ ЧАС

СОСНА

*Я видел чудо: высоко в горах,
В глухой стене отвесного обрыва,
Над облаками, на семи ветрах
Растет сосна — манит зеленой гривой. —
Снесла морозы, устояла в зной,
Не поддалась снегам, лавинам белым —
Она однажды с каменной стеной
Навеки стала неразрывным целым.
Невелика, болезненна на вид —
Ей, по всему, приходится не сладко.
Но корни словно вплавились в гранит,
Переплелись, вцепились мертвой хваткой.
Смолистый ствол извилист и коряв.
А ветви — те же жилистые руки —
Лелеют крону, игл колючий нрав...*

УКРАДЕННЫЕ ЯБЛОКИ

*В колхозный сад залез мальчишка-вор...
Он был застигнут сторожем врасплох.
Серьезный получился разговор.
На всю деревню был переполох.
Большие дяди учинили суд,
И получил сполна ребячий вождь...
А в том саду, где яблоки растут,
В тот самый час пошел кислотный дождь...*

© КРОПИН Н. Н., 1990.

ЦЕНА И ВОКРУГ НЕЕ

*Читательский резонанс
на заседание дискуссионного клуба «Радуги»*

Около 600 страниц машинописи — таков объем читательских откликов на дискуссию «Вокруг цены», опубликованную в № 2 и № 3 «Радуги» за 1989 г. Иначе говоря, объем пришедшей к нам почты — на полторы журнальных книжки. Ясно, что всю ее опубликовать нет никакой возможности. Поэтому знакомим нашу аудиторию только с фрагментами некоторых писем-откликов. Однако и они дают представление о сложности и актуальности затронутых дискуссией проблем, о широкой заинтересованности в их решении самых различных социальных слоев нашего общества.

С большим интересом прочитал материалы дискуссии «Вокруг цены» и решил воспользоваться любезным приглашением редакции присоединиться к обсуждению затронутых проблем.

Прежде всего с чувством большого удовлетворения хочу отметить истинный, а не показной, демократизм организаторов клуба, подтвердивших на деле (материалами обсуждения) свое стремление «привлечь к участию в дискуссиях представителей самых различных, в том числе прямо противоположных, альтернативных точек зрения». А ведь этого часто не хватает многим нашим гораздо более известным центральным журналам, фактически отдавшим свои страницы на откуп узкой группе влиятельных представителей «официальной» экономической науки, претендующей на монопольное знание «истины в последней инстанции». Реальностью же является, как справедливо отмечается в вашем журнале, «огромный спектр взглядов и позиций» по актуальным проблемам экономики, что, в частности, подтвердил и обмен мнениями «Вокруг цены». Считаю, что замалчивать данную объективно существующую ситуацию, как это, к сожалению, делают до сих пор многие средства массовой информации, не в интересах экономической науки, не в интересах всего нашего общества.

Практика перестройки, прошедших четырех лет убедительно показывает, что вариант экономической реформы, имеющий конечной целью перевод нашего хозяйства на рыночные рельсы, нежизнеспособен. Он не только не решил (и не способен решить) накопившиеся за четверть века проблемы, но усугубил многие из них и породил немало новых сложностей. Предприятия, как и раньше, не заинтересованы в реализации всех своих резервов, максимизации усилий по полному и всестороннему удовлетворению конкретных общественных по-

требностей; по-прежнему тормозится научно-технический прогресс; экономика не преодолела своего «затратного» характера; усилились явления несбалансированности, диспропорциональности в развитии народного хозяйства, анархии и стихийности, ведомственности и местничества. Отчетливо проявилось стремление коллективов предприятий прежде всего к удовлетворению своих узкогрупповых, эгоистических интересов, что в общем-то неудивительно, если вспомнить следующую мысль К. Маркса: «Обмен, опосредованный меновой стоимостью и деньгами, предполагает, правда, всестороннюю зависимость производителей друг от друга, но вместе с тем он предполагает и полную изоляцию их частных интересов...» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. 1, с. 101).

Это сопровождается сплошь и рядом нанесением ущерба общенародным интересам, в частности — через широко распространившуюся практику «вымывания» дешевого ассортимента товаров. Сюда следует добавить рост цен и инфляцию, выходящую за рамки социальной справедливости дифференциацию общества (фактически идет процесс его поляризации по имущественному признаку), разрастание негативных явлений в надстройке: коррупции, взяточничества, воровства, различных форм моральной деградации и т. д. (Вот уж воистину по Марксу: «Способность всех продуктов, деятельности, отношений к обмену на нечто третье, вещное, на нечто такое, что в свою очередь может быть обменено на все без разбора, — т. е. развитие меновых стоимостей (и денежных отношений), — тождественна всеобщей продажности, коррупции. Всеобщая проституция выступает как необходимая фаза развития общественного характера, личных затрат, потенций, способностей, деятельности» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. т. 46, ч. 1, с. 106).

О многом из этого с тревогой говорили участники дискуссии. И тем не менее некоторые из них по-прежнему пытались найти средства лечения перечисленных недугов... в причинах, их порождающих: углублении товарно-денежных отношений, активизации рыночных механизмов, глобализации практики т. н. «полного хозрасчета» (т. е. фактически, как справедливо замечает один из участников дискуссии, А. Г. Провозин, коммерческого расчета), совершенно необоснованно провозглашая его «всеобъемлющим экономическим подходом». Эта нелепая апологетика достигает, можно сказать, апогея, когда В. М. Калынин сетует на то, что «даже (выделено мной. — В. С.) после перехода на работу в условиях действия Закона о государственном предприятии многие министерства и ведомства, сами предприятия и объединения видят возможности перестройки в экономике лишь в том, чтобы пользоваться малейшей возможностью... для взвинчивания цен на продукцию, которую выпускают». Подумать только: «даже», — когда именно этот переход, именно эти условия хозяйствования и создают все необходимые возможности для непрерывного роста цен, являются катализатором данного процесса и делают его **НЕИЗБЕЖНЫМ**. Так что не стоило участникам дискуссии тратить свою умственную энергию на споры о том, проводить или не проводить реформу цен, повышать или нет розничные цены, каким образом осуществлять компенсацию потерь населению и т. д. и т. п. Подобный единовременный акт в заданных нынешней экономической реформой условиях хозяйствования равным счетом ничего не решит, поскольку (и тут я ничем, к сожалению, не могу утешить еще одного участника дискуссии — В. А. Колбушкова) рост цен будет все равно продолжаться, невзирая ни на какие «службы контроля цен».

Иллюзорны и надежды И. С. Элькинда на конкуренцию. Чтобы в этом убедиться, достаточно обратить свой взор на экономическую действительность развитых капиталистических стран (не говоря уже о тех капиталистических государствах, которые не входят в данный весьма ограниченный и привилегированный круг «избранных»), где цены по-разному (в зависимости от конкретной экономической ситуации и прочих факторов), но растут (так, согласно прогнозам экспертов ОЭСР, в достаточно благоприятном с точки зрения экономической конъюнктуры 1989 году рост цен в развитых капиталистических странах составит от 2,25% в ФРГ до 5,25% в Великобритании. — См.: «Правда», 13.02.89).

С учетом сказанного, думаю, вполне правомерен вывод А. Г. Провозина, что «для современного характера производительных сил у нас рынок — не путь...». Нужна иная система экономических координат — **НЕ РЫНОЧНАЯ**. Правда, тут некоторые обществоведы сразу спешат задать «коварный» и неотвратимый (по их мнению, поскольку свой собственный отрицательный ответ у них припасен заранее) вопрос: «возможно ли построить некапиталистический, демократический социализм на нетоварном, безрыночном фундаменте?» (См.: А. Ципко. Истоки сталинизма. «Наука и жизнь», № 11, 1988, с. 49). На мой взгляд, — не только возможно, но и единственно реально и перспективно, если иметь в виду строительство действительно социализма (а не чего-либо иного под вывеской безгранично дорогого трудовому

народу слова) и если вести подлинно творческий исследовательский поиск, свободный от конъюнктурных и иных, не имеющих никакого отношения к научной истине, соображений.

Надо сказать, что по вопросам конкретной организации движения общественного производства (в соответствии с объективно существующими закономерностями) в его нетоварной форме (**ЕДИНСТВЕННО** гарантирующей **ПОДЛИННУЮ** демократизацию **ВСЕХ СТОРОН** общественной жизни) существует весьма широкий спектр взглядов и предложений со стороны нешаблонно, творчески мыслящих экономистов, свободных от привычных товарно-рыночных догм и стереотипов. И прекрасно! В этом как раз и проявляется истинный социалистический плюрализм мнений, стремящийся полностью реализовать огромные и до сих пор до конца неиспользованные преимущества общенародной собственности на средства производства, — тот плюрализм, который не замечают (а точнее — игнорируют) представители рыночного направления в нашей экономической науке, использующие свое нынешнее монопольное положение в ней (а заодно и в средствах массовой информации) для всяческого насаждения фактически **внесоциалистического** плюрализма, призванного в конечном итоге «обосновать» необходимость дробления общенародной собственности сначала на групповую, а затем и на частную. Но это путь, ведущий в тупик, поскольку он идет вразрез с объективными законами общественного развития. Выход же лежит в направлении всяческого поощрения свободного сопоставления мнений, соревнования идей, конкурса предложений, развертывания широкой научной, партийной и общенародной дискуссии именно на базе действительно социалистического плюрализма, о котором говорилось выше, в результате чего, несомненно, и будет сконструирована единственно верная модель экономической перестройки, отвечающая интересам трудящихся масс.

По моему мнению, эта модель должна, помимо всего прочего, неизбежно предусматривать следующее:

— отказ (в соответствии с основным экономическим законом социализма) от ориентации предприятий на прибыль (т. е. затраты) и создание таких **объективных экономических** условий хозяйствования предприятий, которые обеспечивали бы прямую и непосредственную нацеленность их трудовых коллективов на конечный результат, т. е. на удовлетворение конкретных общественных потребностей без каких бы то ни было промежуточных, опосредующих звеньев (вроде той же прибыли), способных в силу своей природы существенно исказить эту связь;

— введение указанной **новой ПРЯМОЙ** связи (в отличие от старой, капиталистической — ориентации на прибыль) неизбежно потребует и **новой ОБРАТНОЙ** связи, ставящей размер вознаграждения, получаемого предприятием от общества, в жесткую зависимость от его конкретного вклада в удовлетворение общественных потребностей и от эффективности этого вклада, т. е. в зависимости от размера понесенных для достижения этого вклада затрат труда. Такая новая обратная связь может быть реализована не через стихийную рыночную конкуренцию, а лишь через сознательно и тщательно организуемое трудовое соревнование (нацеленное на упомянутый

выше реальный конечный результат», «сравнение деловых итогов хозяйства отдельных коммун» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 192). Такое сравнение должно стать действительно «стержнем» всего механизма распределения общественного вознаграждения по результатам производственной деятельности, гарантирующего то материальное, на собственном кармане, «ощущение состоятельности», которого так страстно жаждет И. С. Элькинд, но которого до сих пор никогда еще не было. Достаточно лишь упомянуть, что премии, которые выплачивались у нас в стране по итогам существующего, а точнее, прозябающего, т. н. «соревнования», в общей сумме фондов экономического стимулирования составляли, например, в середине 80-х годов примерно... один процент!!!;

— реализация идей, изложенных выше, неизбежно потребует перехода к новому принципу формирования фондов оплаты труда, которые должны будут образовываться не путем отчислений от прибыли в любом виде, в т. ч. от хозрасчетного дохода, а путем деления той части совокупного общественного продукта, которая распределяется в обществе по труду и которая, говоря словами К. Маркса, «потребляется в качестве жизненных средств членами союза» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 89), — в соответствующих пропорциях, определяемых успехами в соревновании за наибольшее удовлетворение конкретных общественных потребностей с наименьшими затратами труда всех его участников: регионов (отраслей), предприятий, работников. Такая постановка дела, создавая все необходимые условия для всемерного расширения и углубления самостоятельности и инициативы предприятий (ибо создаются экономические гарантии направленности деятельности производственных коллективов и отдельных тружеников в строгое русло удовлетворения общественных интересов, поскольку только это будет выгодно им самим), обеспечивая адекватную социализму форму реализации принципа материальной заинтересованности, приводя в действие принципиально новые, вытекающие из природы самого коммунистического способа производства экономические методы управления народным хозяйством, материализуя самый эффек-

тивный из всех, существовавших до сих пор и существующих, противозатратный механизм.

В рамках таким образом созданной новой системы экономических координат (системы нерыночной по своей сути) и должна решаться проблема ценообразования. Не касаясь здесь вопроса о том, что должно лежать в основе социалистической цены и каков должен быть конкретный механизм ее определения, ограничусь лишь следующими соображениями. Во-первых, цена должна быть начисто лишена какой-либо стимулирующей функции; во-вторых, цены должны устанавливаться в плановом порядке; в-третьих, они должны быть накрепко связаны с тем положением, что сумма денежных средств, выплачиваемых населению («рабочих денег») строго должна соответствовать сумме цен на все произведенные для населения товары и услуги. Реализация на практике данных положений в ходе осуществления экономической перестройки по ее новой, истинно научной модели полностью ликвидирует возможность какого-либо роста цен и инфляции (для которых, кстати говоря, в условиях действительного социализма нет и не может быть никаких объективных предпосылок и оправданий).

Разумеется, все эти проблемы непросты. Большая работа, направленная на их полноценное решение, проводится временным научным коллективом, созданным в рамках Ассоциации научного коммунизма (Москва), — добровольного неформального объединения специалистов в области общественных наук и других граждан, выступающих за развитие перестройки в соответствии с коммунистическими ориентирами. Всех желающих принять участие в этой работе просим направлять свои материалы и предложения по адресу: 107143, Москва, до востребования, Страдымову В. Н. Кроме того, Ассоциация считает, что назрела необходимость создания специального Всесоюзного исследовательского коллектива для официального объединения под его крышей тех представителей экономической науки (независимо от их постоянного места жительства и работы), которые ведут или способны вести творческий поиск решения проблем экономической перестройки в нетрадиционных направлениях.

СТРАДЫМОВ Владимир Николаевич,

преподаватель Всесоюзной академии внешней торговли, ответственный секретарь Ассоциации научного коммунизма (Москва)

* * *

Уважаемая редакция!

Поднятая Вашим журналом дискуссия «Вокруг цены» вызвала большой интерес среди трудящихся нашего предприятия и побудила принять непосредственное участие в обсуждении этого вопроса.

XXVII съезд КПСС и последующие Пленумы ЦК КПСС определили основные направления развития нашей экономики: наиболее полное удовлетворение потребности людей в полноценных продуктах питания, насыщение рынка товарами народного потребления и услугами в нужном ассортименте и высокого качества, реализация программ жилищного строительства, улучшения здравоохранения, народного образования и культуры.

Добиться успешного выполнения этих задач можно лишь на основе ощутимого экономического прогресса. Выполнение этой задачи поставило перед страной множество проблем, и одно из основных мест занимает проблема цен.

Выступая с докладом на XIX партконференции, М. С. Горбачев подчеркнул значение этой проблемы в осуществлении экономической реформы. Ведь цены также, как и заработная плата, лежат в основе того, что определяет благосостояние людей.

В настоящее время серьезную озабоченность вызывает продолжающийся и по сути неконтролируемый рост цен на многие продовольственные и промышленные товары. Естествен-

но, это автоматически снижает жизненный уровень трудящихся.

И вдруг — предложение повысить цены на предметы первой необходимости (мясо, молоко, хлеб, жилье и т. д.) с одновременной компенсацией расходов покупателей на величину повышения цен — ради того, дескать, чтобы ликвидировать разбалансированность спроса и предложения, многочисленные наши дефициты. А за счет каких источников будет производиться компенсация расходов? Если за счет новых надбавок к денежным доходам трудящихся, то это несбыточные обещания — даже на уровне Государственного комитета цен...

Один из авторов предложения повысить розничные цены на товары первой жизненной необходимости и тем самым решить все проблемы, участник вашей дискуссии т. Пинзеник, не учитывает того, что в настоящее время сложилась устойчивая тенденция повышения цен при стабильном уменьшении ассортимента, а то и вообще массы, предлагаемых покупателю товаров массового спроса. А значит, повышение цен с полной компенсацией расходов — экономический абсурд. Любая попытка устранить дефицит товаров на прилавке путем повышения цены с последующей компенсацией расходов только повысит массу компенсаций — дефицит же останется на том же уровне... То есть повышение цены никоим образом не заменит недостающее количество товаров. Больше того, повышение розничных цен еще больше усилит «вымывание» дешевого ассортимента (кстати, этому немало способствует и принятый в 1987 году Закон СССР о государственном предприятии).

В свою очередь, сокращение товарной массы дешевого ассортимента ухудшает социальное положение низкооплачиваемых групп населения и способствует увеличению удельного веса данной категории трудящихся в общей численности.

Хотя повышение цен на продукцию предприятий и создает иллюзию повышения рентабельности производства, жизнь трудящихся от этого лучше не становится. Улучшить состояние экономики и удовлетворить действительные интересы большинства населения подобным образом невозможно.

Как известно, цена должна отражать общес-

твенно необходимые затраты. Обусловленный ускорением научно-технического прогресса опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом затрат должен оказывать понижающее влияние на уровень цены созданных ранее изделий. Мы же наблюдаем другую картину: цена растет на новые изделия, причем далеко не всегда увеличение цены обеспечивается улучшением потребительских свойств, а на старые цена остается на прежнем уровне (так что практически рост производительности труда не только не снижает уровень цены, а в определенной степени... способствует ее повышению). Очевидно, свой дает сам механизм ценообразования: чем дальше, тем больше увеличивается разрыв между ценой и общественно необходимыми затратами.

Поэтому предложение повышением цены удовлетворить потребности большинства населения страны по меньшей мере несостоятельно.

Одна из главнейших причин, препятствующих наполнению рынка необходимыми товарами, и в особенности дешевыми, — существующая система планирования по стоимостным и промежуточным показателям.

По нашему мнению, проблему цены и устранения дефицита спроса и предложения следует решать другим способом:

1. Ориентировать деятельность предприятий, совхозов, колхозов на снижение цены товаров массового потребления, в особенности сельскохозяйственной продукции, предоставив производителям право выбора оборудования и средств механизации, обеспечивающих снижение себестоимости изготавливаемой продукции.

2. Оценивать работу предприятий по конкретному объему выпуска продукции в натуральном выражении при соблюдении ассортимента.

3. Совершенствовать механизм ценообразования: в цене должно быть учтено и влияние повышения производительности труда за счет ускорения научно-технического прогресса, и соответствие потребительских свойств изделий требованиям трудящихся, пользующихся данными видами продукции.

4. Цена должна иметь тенденцию не к повышению, а периодическому снижению за счет влияния достижений научно-технического прогресса.

Группа трудящихся производственного объединения «Новокраматорский машиностроительный завод»:

**КАПШУК, БЕЛОУС, ПОТОЦКАЯ, ЛУКЬЯНОВА, РЕВЕНКО, ГУРИНА, ВО-
ВЧЕНКО, ФРОЛОВА, ПОДРЕЗОВА, ШАПОВАЛОВ, ПОТОЦКАЯ, СУМИНА,
КОПТИЛОВ и др. — всего 24 подписи**

Краматорск Донецкой обл.

* * *

Известно, что основой цены выступает стоимость. Бесспорно и то, что прогресс заключается в том, что на производство продукции затрачивается все меньше труда и что это и должно вести к снижению цен. Вместе с тем мы сейчас имеем у нас в стране дело с ростом цен — основным признаком инфляции.

На цену оказывают влияние (причем иногда большее, чем снижение стоимости) другие факторы. Цена растет, в частности, также и потому, что ценность денег падает в большей мере, чем снижается стоимость товара.

Именно с этим по преимуществу, на наш взгляд, мы и имеем сегодня дело. Ибо фактором, определяющим увеличение цен, становится превышение платежеспособного спроса над товарным предложением, благодаря чему цена во все большей мере зависит от конъюнктуры рынка.

Вот почему вопросы реформы цен и ценообразования не могут решаться без учета этих факторов. Инфляция поставила проблемы ценообразования с ног на голову: цена во все большей степени отрывается от своей осно-

вы, стоимости, и приобретает самостоятельное бытие.

Но что такое инфляция? Это, прежде всего, — следствие плохого государственного управления экономикой. Государственный бюджет («карман» государства) пополняется деньгами, не обеспеченными реальными материальными ценностями («пьяные» деньги, налог с оборота от не находящей спроса или бракованной продукции, и т. п.). С другой стороны, большая часть расходов бюджета осуществляется либо непроизводительно, либо с недостаточно высокой эффективностью. Здесь и «стройки века», и «долгострой», и безвозвратное кредитование предприятий, и огромные потери от бесхозяйственности...

Немалую роль играет в пополнении государственной казны и печатный станок. Выгода государства от печати купюр равна разнице их номинала и издержек по производству. Следует, однако, помнить, что ровно столько же теряют другие. Сюда следует отнести и «выпуск в обращение» например, юбилейных рублей. Они быстро исчезают из обращения и обрекаются на судьбу обыкновенного довольно дорогого и редкого товара.

Инфляция выступает в открытой (прямой рост цен) и скрытой формах (вымывание дешевого ассортимента, дефицит, фальсификация качества), а на определенном этапе развития чревата и «обвальным», катастрофическим ростом цен. В общем, бороться с ростом цен, не борясь с инфляцией, невозможно.

В печати высказывается мнение, что не надо бояться инфляции. К ней надо, мол, лишь приспособиться, чтобы использовать ее в своих целях. Но подобные представления весьма

опасны, поскольку следствием инфляции является утрата деньгами свойства всеобщего эквивалента и общая дезорганизация рынка.

Велики и общесоциальные издержки инфляции, поскольку она ведет к перераспределению национального дохода и национального богатства. Кто же, в последнем случае, является «наездником» инфляции? Это — обладатели крупной недвижимости, антиквариата, ювелирных изделий и т. п. ценностей, быстро возрастающих в цене. Это — дельцы, взвинчивающие цены на черном рынке сверх всякой меры. Это — нахлебники государственного бюджета. К числу «наездников» относятся и категория обладателей крупных и растущих состояний, которые способны использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах.

Необеспеченный товарной массой спрос достиг у нас сейчас 100—140 млрд. руб., а с учетом вкладов в сбербанке — близок к величине годового товарооборота... И этот необеспеченный товарами спрос продолжает расти. Возможности расширения выпуска товаров народного потребления и услуг для его покрытия в ближайшие годы остаются ограниченными, притом до такой степени, что полагаться на ликвидацию товарного дефицита внутри страны за счет закупок на внешнем рынке — шаткая, на наш взгляд, надежда.

...Судя по всему, недалек тот день, когда государство встанет перед необходимостью отдать свои долги посредством покрытия избыточного выпуска «цветных бумажек» продажей... части предприятий, находящихся ныне в государственной собственности... Продажи кому? Подумайте, люди, всерьез! Перспектива, на наш взгляд, явно не столь уж нереальная...

А. Д. КРЫКАНОВ, С. В. ПЕРЕВЕРЗЕВА,

кандидаты экономических наук (Ленинградский финансово-экономический институт — ЛФЭИ им. Н. А. Вознесенского)

* * *

Уважаемая редакция журнала «Радуга»!

Ознакомившись с материалами дискуссии о ценообразовании в «Радуге», хочу поделиться некоторыми соображениями на этот счет.

Наше ценообразование поражено продолжительной, затяжной болезнью, которая до настоящего времени не идет на спад, а даже прогрессирует. Причины этой болезни известны — наследие административно-командного стиля управления экономикой. Проблема цен усугубляется наличием дефицита. О нем много говорят, но очень мало, и в первую очередь экономисты, пишут об усугубляющейся по этой причине инфляции в нашей стране, умалчивают о тех негативных процессах, которые привели нашу экономику к имеющимся застойным явлениям. Представляется, что большая доля просчетов, ряд искусственно возникших диспропорций связаны с отсутствием современного гибкого механизма ценообразования в нашей стране. Жесткий плановый характер ценообразования не обеспечивает управления, так как для того, чтобы цены соответствовали общественно необходимым затратам, они должны отражать требования времени, особенно в отдельных местностях.

Важным условием хозрасчета является укрепление товарно-денежных, рыночных отношений, которые более чувствительны к закону

стоимости, чем ценообразующие органы. Цена должна стать индикатором спроса и стимулятором предложения, заинтересовать как производителя, так и покупателя.

Увеличение розничных цен выгодно большей части покупателей лишь на товары, которые будут покупаться за эту цену, то есть на товарный дефицит, и определенная часть взрослых доходов может возвратиться покупателю путем увеличения средней заработной платы. Рост розничных цен в условиях хозрасчета повлечет за собой увеличение производства данного товара, т. к. производитель имеет возможность получить больший размер прибыли. В свою очередь, увеличение производства приведет к уменьшению спроса, а это создает условия «борьбы за покупателя» и улучшение качества продукции.

Много бед в ценообразовании связаны с несовершенством нашей статистики цен. Так, индексы государственных розничных цен отражают лишь изменения цен на товары одного и того же наименования, не учитывая роста цен на новые товары.

Мне представляется, что в вашей дискуссии с самого начала поставлена правильная задача — совершенствование механизма цен. Правильно ставится вопрос, что в ценах в настоящее время неточно отражаются общественно

необходимые затраты и что это привело к нарушению эквивалентности отношений.

Сейчас сложилось такое положение, что объем денежных ресурсов растет значительно быстрее, чем их материальная основа — национальный доход. Это привело к тому, что рост расходов бюджета, не обеспеченных материальными ресурсами, стал важнейшим каналом увеличения дефицита и усиления инфляцион-

ных процессов. Это положение усугубляется и дальше за счет кредитов, которые увеличиваются в обращении наличие «пустых» денег.

В целом журналом поднята очень актуальная проблема.

Думаю, что в последующих публикациях надо рассмотреть механизм совершенствования ценообразования и предложить конкретные пути его применения.

В. С. МАРЦИН,

зав. кафедрой экономики и управления в торговле Львовского торгово-экономического института, доктор экономических наук, профессор

* * *

Ситуация с ценами в нашей стране понятна всем: и потребителям, и ученым, и тем, кто эти цены устанавливает и контролирует. Начальник главного управления цен Госкомцен СССР В. М. Кальник, один из участников вашей дискуссии, прекрасно понимает свое незавидное положение («А чего стоит сама отдаленно взятая процедура установления и особенно утверждения цены!»). Но... Когда начинается поиск причин «ценового абсурда» и выхода из сложившейся ситуации, участники дискуссии либо уходят в плоскость теоретических изысканий, либо пытаются с помощью эмоций (что особенно видно по репликам) решить все просто и однозначно.

Особенно любит излагать теорию Ю. А. Федорченко, припоминая при этом и экономистов, и «политэкономов», которые выдвинули «тезис о прибыли как наиболее обобщающем показателе хозяйствования и для наших социалистических условий», а это ведь неоплаченный труд рабочих (и кем это он у нас присваивается?).

Строго по Марксу, как утверждает Ю. А. Федорченко, «товарно-денежные отношения после определенной высоты общественного экономического развития не ведут к успеху», и думая, что мы уже такой высоты достигли, он естественно предполагает войти в малоизведанное «нетоварное всеобщественное производство».

Сторонникам теории «чистого (нетоварного) социализма» (в мире ведь существует множество социалистических теорий) труднее всего бывает ответить на следующие вопросы. Если социализм несовместим с товарно-денежными отношениями, то тогда у нас — не социализм? Если у нас нет товарно-денежных отношений, то есть социализм, то каковы функции цены, денег, банков, Министерства финансов СССР? Если есть и то, и другое, то, выходит, что ошибались цитируемые К. Маркс и В. И. Ленин? Может быть, «нетоварники» думают, что классики всегда придерживались одной и той же точки зрения, что бывает обычно с людьми догматического склада ума, которые любят цитировать кого-то, не понимая, что научная мысль — это развитие, вырывая у К. Маркса и В. И. Ленина отдельные высказывания, а не пользуясь их логикой и способностью обоснованно, исходя из анализа практики, менять свои взгляды?

Да, увы, метафизические выкладки подобного рода не приблизили нас к решению проблемы ценообразования.

В. М. Пинзеник, попав под обаятельное влияние фразы «реформа цен не должна привести

к ухудшению жизненного уровня трудящихся», доказывает, что он «кровно заинтересован в повышении розничных цен». Вот повысим цены, и не на предметы роскоши, а на товары первой необходимости, — и все сразу заживем хорошо! Да, мы можем произвести нехитрые, хотя и требующие больших затрат, операции по переброске дотаций в цены, зарплату, пенсии и т. д., но главная-то цель: чтоб товары были в магазинах! А откуда они, простите, возьмутся?

Был в ходе дискуссии один момент, после которого можно было бы перейти в конструктивное русло. И. С. Элькинд: «Главная причина многих наших безобразий в экономике состоит в монополизме». Однако А. Г. Провозин заметил: «У нас теперь поднят большущий шум по поводу некоего «социалистического монополизма»... Но это — именно шум».

Да, с точки зрения теории «нетоварного социализма» — это шум и, если требовать устранения меновых отношений, которые у нас и так не развиты, то борьба против монополизма с «чисто теоретических позиций» выглядит непонятной, что, впрочем, не дает сторонникам этой теории оснований называть ее «реакционной», ссылаясь на В. И. Ленина, поскольку именно В. И. Ленину принадлежит вывод: «Всякая монополия ведет к застою». Кроме того, именно практика применения антимонопольных мер в странах Запада во многом способствовала разрушению мифа о «загнивании капитализма».

Торопливое «построение социализма» в принципе чуждо марксизму-ленинизму, эта «детская болезнь левизны в коммунизме» стала одной из самых опасных социальных болезней XX века, приведших к сталинизму, маоизму, брежневщине, полпотовщине, афганским событиям.

Диалектика марксизма такова: товарно-денежные отношения отрицают путем собственного отрицания на основе саморазвития, а не отмены некоей группой лиц. Следовательно, такие категории, как заработная плата, цена и прибыль, как бы их ни пытались приспособить к «нетоварному социализму», остаются категориями товарно-денежных отношений со всеми вытекающими последствиями. Другое дело, что интеграция заработной платы и прибыли дала нам категорию дохода, который должны распределять сами трудящиеся: и как собственники, и как труженики (это и есть экономическая основа социализма). Процесс распределения доходов невозможен без планомерного государственного регулирования, призванного обеспечить сочетание общественных,

коллективных и личных интересов (без ущерба двум последним). Такое регулирование включает и политику цен.

Цена и доход — две взаимосвязанные категории. Поэтому нельзя говорить о реформе цен вне связи с реформой заработной платы, точнее, с реформой распределения доходов.

Отсюда ясно, что задача государственной политики ценообразования состоит в определении такого уровня цен и доходов, при котором обеспечивалось бы: а) их взаимное соответствие при наименьших темпах инфляции; б) социальная защищенность населения (низкий уровень цен на продовольствие, жилье, медицинские, культурные и другие социально значимые услуги; гарантированный уровень доходов населения с невысоким трудовым потенциалом: пенсионеры, инвалиды, многодетные женщины и др.); в) эффективное использование доходов, как перечисляемых в бюджет, так и остающихся в распоряжении трудового коллектива, на развитие производства, то есть создание условий для роста потребления в будущем.

Образование и использование дохода осуществляется не только через механизм цен, но и через государственную налоговую политику, которая пока малоэффективна. Налогами можно регулировать и цены, и доходы. Следовательно, необходима и налоговая реформа.

С. А. МОСКВИН,

кандидат экономических наук, зав. сектором научно-исследовательского экономического института (НИЭИ) Госплана УССР

Киев

* * *

Дорогие товарищи! Пишу Вам в «Радугу» по поводу материала «Вокруг цен», или, иначе, в связи с необходимостью «радикальной реформы всего нашего ценообразования», как выразился один из участников дискуссии в редакции журнала, — Кальник Виктор Михайлович.

Скажу сразу о своей позиции: самая радикальная реформа ценообразования у нас заключается теперь в упразднении товарно-денежных отношений. И что я считаю нелепостью решать вопрос таким вот примитивным, если мягко выразиться, образом, как полагает один из участников дискуссии — В. М. Пинзенник: повышением цен...

...Я полностью согласен с товарищами Провозиныным А. Г. и Юхно А. П. относительно того, как следует нормальным людям относиться к предложениям о повышении цен у нас вообще, будь это различные цены на ширпотреб или оптовые и так далее на средства производства. Позицию за повышение цен я называю грабительской. Причем наибольшему грабежу подвергнутся низкооплачиваемые. Но воевать против повышения цен в условиях действия, а тем более оживления, реанимации или там гальванизации товарно-денежных отношений — это такая же безнадежная бессмыслица, как воевать против законов природы. Пока существуют товарно-денежные отношения, политика повышения цен так же неизбежна, как в нашей Вселенной неизбежно действие закона всемирного тяготения. Чтобы капиталисты не могли наживаться на продаже оружия, их прежде всего надо для надежности приемлемой

Государственные дотации и субсидии, обеспечивающие нам бесплатное медицинское обслуживание и образование, низкие цены на жилье и продовольствие являются важнейшим завоеванием социализма. Другое дело, что компенсационная политика, направленная на ликвидацию социального неравенства, не всегда продумана и эффективна. И в этой области нужна реформа.

Наконец, очень кстати был бы сейчас Закон, направленный против как государственного, так и корпоративного монополизма. Он мог бы включить, например, статьи о допустимом уровне концентрации производства, о диверсификации, об акционерных формах вложений средств предприятий и т. п.

Если рассматривать подходы собственно к ценообразованию (хотя еще раз отмечу, что его нельзя «отрывать» от доходов, налогов, компенсаций и структуры производства), то они заложены в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля 1987 г. № 820.

...К теме трудового разговора о ценах «Радуге» надо, по-моему, вернуться через 2—3 года, когда необходимость глубоких преобразований в экономике станет очевидна каждому, и некоторые из таких преобразований, возможно, начнут осуществляться.

свергнуть, что и было сделано в нашей стране в свое время блестяще. А чтобы не было повышения цен — надо упразднить сами товарно-денежные отношения. В противном случае дифференциация населения на бедных и богатых неизбежна. Небольшая часть населения будет становиться все богаче, а основная масса — все беднее.

Это повлечет за собой рост преступности, недовольства, вспышки национализма. Скоро у нас забастовки станут обычным явлением. Както в «Труде» уже мелькнуло сообщение о том, что рабочие одного предприятия у нас в стране потребовали повышения заработной платы. Думаю, что мы еще услышим подобное не раз.

Склоняю голову перед мужеством тов. Пинзенника В. М., одного из участников Вашей дискуссии, но не могу с ним согласиться. Главное — это упразднение товарно-денежных отношений. Приведу один пример. Рижский завод выпустил партию микроавтобусов для семейного отдыха и установил цену: 16 тысяч рублей. Но министерство установило новую цену — 30 тысяч. Этим своим шагом оно парализовало развитие подобной техники у нас в стране, закрыло еще одну возможность экономического подъема предприятия, а значит — и благополучия тысяч рабочих, и сыграло на руку международному капиталу: уверен, через десять, скажем, лет мы будем покупать за те же 16 тысяч заграничные модели микроавтобусов. Думаю, что министра, который издал подобный указ, надо посадить лет на пять за вредительство.

С уважением — Владимир ЖУРАВЛЕВ.
Электрик РСУ, г. Караганда.
19 марта 1989 г.

Уважаемая редакция журнала «Радуга»!

Пишет Вам это письмо человек 60 лет от роду с Дальнего Востока, уроженец Ленинградской области, станция Мга. В настоящее время, с 1962 г., проживаю в г. Комсомольске-на-Амуре, Ленинский р-н, ул. Свободы, дом № 27, — **МАХУТИН Владимир Иванович**. Беспартийный, образование 4 класса н/средней школы (до 1941 года). Больше нигде не учился! Имею 3-х взрослых детей и пятеро внуков. Я к Вам решил обратиться по поводу статьи в Вашем журнале — «Вокруг цены», «круглый стол» «Радуги».

Уважаемая редакция! Дело в том, что я читаю много, и вот в последнее время идет, как я выражаюсь, агитация всего населения Союза за принятие народом необходимого повышения цен (всех цен), и все эти «агитаторы» обещают «большое благо» народам нашим, как только будет произведено всеобщее повышение цен!! Большие блага обещают и некоторые лица, выступившие на страницах Вашего журнала «Радуга». Но позвольте высказаться и мне, о благе которого многие «агитаторы» и сторонники повышения цен так беспокоятся!!

Я не имею такой грамотности в этом деле, как они, но кое-что видел. А именно, видел, как живут в Пермской области, в Свердловской, в Красноярской, в Читинской, Улан-Удэ, на Дальнем Востоке. Мне приходилось и раньше, и совсем недавно, бывать в этих краях, и не раз. Это полная нищета; кто не видел, как там живут люди в колхозах и леспромхозах, тот вполне не видел нищеты никогда и понятия не имеет, что такое нищета, — когда вареную колбасу по 2 кг в леспромхозах выдают только передовым заготовительным бригадам на семью, да и то лишь когда привезут ее в магазин.

Я ничто и никого не боюсь, мне ли бояться, прошедшему с 12 лет оккупацию и 4 года немецких концлагерей, а с 1947 года до 1959 года (перерыв 3 года службы в армии) и советские концлагеря? Так вот Вам мое мнение (между прочим, я не за Сталина). До смерти Сталина плохо-бедно была стабильность. Зарплата за ничегонеделание не получали, и пусть получали мало, но из первой необходимости в магазинах было все, даже порой и больше! И постепенно шло понижение цен. Хрущев Н. С. приступил с ходу к построению «коммунизма», т. е. счастливой жизни для народа, т. Брежнев Л. И. продолжил, но называл это «развитым социализмом», и пошло-поехало!!! Так что то, что не успел угробить вождем всех народов Великий Сталин, то сделали эти два архивеликих «любимых народом» деятеля...

...Уважаемая редакция! Скажите, пожалуйста, почему народу нашему компостируют мозги, напускают тумана, называя эксплуататоров бюрократами? Это ведь — класс жестокий и беспощадный. Так вот, выигрывает от повышения цен (всех цен) только этот класс эксплуататоров. А народ проиграет, и здорово. Но он уже и так проиграл, потому что закон о ценообразовании отложили на три года, а цены исподтишка, и, главное, постепенно, повышают безостановочно!!! Вот где идет полным ходом повышение цен, причем — без всякого ЗАКОНА! А вся остальная демагогия, как то «судить Сталина и его приспешников» (га-

зеты, журналы, радио, телевидение), или та же трескотня о кооперативах, аренде и прочем, — это же не что иное, как отвращение наших народов от сегодняшнего дня, от проблем сегодняшних. Вот что это. Почему издают законы, которые никто не контролирует, и все так и катится? Правда, если присмотреться, то дело делается, и неплохо: класс эксплуататоров готовится очень лихорадочно к защите не на жизнь, а на смерть. Я всех тех, кто ратует за повышение цен, отношу к пособникам эксплуататоров моего народа, и заявляю это ответственно: да, класс эксплуататоров — он есть!.. Он довел мое Отечество до катастрофы, он лил кровь моего народа и других наших братских народов рекою, и все это во имя того, чтобы наши народы запугать и сделать рабами на многие века! Этот класс не останавливался ни перед какими преступлениями, чтобы властвовать.

Вы посмотрите, как эта советская буржуазия... живет, и тем более — сколько их? Очень немало. Это для них были золото и бриллианты в магазинах по 50 000 р. и по 100 000 р., а не для народа. Это и сейчас для них шубы висят в магазинах по 8 000 р., по 10 000 р., и выше, а не для народа. Это для них закупают у капиталистов видеомagniфоны и дорогостоящую аппаратуру, а не для рабочих, не для народа!.. И пускай никто теперь не пытается затуманить нам мозги — не выйдет: народ давно все видит и понимает! ...А повышение цен — что ж, решили и прозондировали в течение года в народе почву. И что же? Да испугались, и сильно, — можно в 2—3 дня власть потерять. И тогда решили, а потом официально объявили: цены — этот вопрос на 3 года откладываем. А свистопляска с повышением цен на деле до сих пор идет, и с каждым месяцем «все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших цен». Но забывают, что, как бы высоко, выше всех, ни залетели, — садиться все равно придется, и чем выше, тем опаснее будет этот полет, не говоря уже о посадке.

Они думают — народ не понимает этого лавирования и обмана, нет, понимает, — что не официально, через закон, а исподтишка, хитро идет гонка цен, и что ЦК КПСС и правительство делают вид, что это не они, мол, а мол, коллективы — «ведь хозрасчет». Нет, никто этому не верит, хотя бы потому, что львиная доля оседает у эксплуататоров, и все за счет народа, из его кармана. Но и у народа есть предел его долготерпению. Пусть эксплуататоры не играют с огнем народного гнева! Могут прозевать момент остановки в этом деле! И тогда — народу терять нечего, а обретет он свободу от эксплуататоров. А насчет «вождей», то теперь он ученый, дорогой ценой его проучили.

Изложил Вам то, что думаю лично, но так думают очень многие! Я просто не вытерпел и нарисовал Вам — обычно я никуда не пишу, но слушаю, читаю, смотрю вокруг, — вот и написал.

С уважением к Вам! Извините, если что не так!

* * *

Уважаемые товарищи из «Радуги»!

Я — рядовой рабочий, уже пожилой, скоро на пенсию, и я не занимался политической экономией как профессор, хотя питаю к ней интерес с начала 50-х годов.

И вот к чему я пришел. Утверждение о «со-

циалистичности товарно-денежных отношений», на котором зиждется вариант перестройки нашей экономики (вариант, развиваемый благодаря академику А. Аганбегяну и его единомышленникам в этом вопросе) само по себе — ложное и опасное утверждение. Это прописная истина марксистской политической экономии. А ведь «после Маркса, — как писал В. И. Ленин в октябре 1922 года, т. е. в самый разгар НЭПа, который нынешние наши официальные экономисты преподносят как «верх социалистичности», — говорить о какой-нибудь другой, немарксовской политической экономии можно только для одурачивания мешан, хотя бы и «высокоцивилизованных» мешан» (т. 45, с. 268).

Ложная идея о «социалистичности» товарных отношений утвердилась у нас, притом авторитарно, И. В. Сталиным, — с выходом в 1952 г. его книги «Экономические проблемы социализма в СССР». Надо признать, что Сталин был прав, полагая, что взаимодействие в экономике страны хозяйствующих субъектов двух видов — государственного и кооперативно-колхозного — способно породить у нас вновь и вновь товарные отношения. Не прав же он, во-первых, в том, что эту смешанную, двухсекторную экономику, сам же отмечая ее несоответствие известной формуле Ф. Энгельса на сей счет, он все же именовал социалистической без всяких оговорок (которые он сам же делал раньше, — например, ссылаясь на работу В. И. Ленина «О кооперации», в речи на конференции аграрников-марксистов 27 декабря 1927 г.). Но и тогда его оговорки страдали существенным изъяном. Потому что, по Ленину, всемерное кооперирование мелкого крестьянского хозяйства страны представляет собой лишь «социализацию» сельского хозяйства, т. е. лишь процесс, а не конечную цель социализма: «Это еще не построение социалистического общества, но это все необходимое и достаточное для этого построения» (т. 45, с. 370). Ибо собственно социалистическую экономику Ленин, как и прежде, мыслил идентичной системе, представленной предприятиями последовательно социалистическими; «(и средства производства принадлежат государству, и земля, на которой стоит предприятие, и все предприятие в целом)» — т. 45, с. 374.

Всего этого Сталин не мог не знать. И тем не менее, правильно определив государственные средства производства у нас как нетовары, — нетовары в политэкономическом смысле, в то же время предметы потребления (даже произведенные и реализуемые в обществ. секторе!) он отнес к... товарам.

Но и после смерти Сталина нашлись наследники этого его «теоретического богатства». Притом... по форме вроде бы ярые «антисталинисты»!!! «Товарность социализма», а точнее — «социалистичность товара», стала для них поистине «золотой жилой». В итоге даже чисто теоретически (а значит, еще более в массовой экономической практике) у нас пришли

к настоящему хаосу. Издержки производства продукта преподносятся у нас с тех пор на каждом шагу как... полная индивидуальная его стоимость, «себестоимость» преподносится как свидетельство всех затрат на изготовление продукта; прибыль — идентифицируется с нашей, т. е. социалистической эффективностью, и даже с... производительностью, и т. д.

Вот и получилось, что даже капиталисты оказываются ныне более грамотными экономически (в том числе насчет упразднения меновой стоимости, «товарности» во всяком сколько-нибудь современном производстве!), чем господствующие у нас везде и повсюду сейчас «официальные» «наши» экономисты... В том числе и в вопросах ценообразования. Например — по вопросу так называемых «трансферных» цен, т. е. «цен» «внутри предприятий» («внутри концернов» и т. д.).

Приведу такие любопытные свидетельства (даны были в книге «США: экономические рычаги в управлении фирмами» — М., «Наука», 1971 г.): «после второй мировой войны, не довольствуясь анализом издержек производства, концерны стали вводить системы внутризаводских расчетов» между своими отделениями, «переведа их на ограниченный хозрасчет... Но все расчеты между ними находят отражение только в бухгалтерских записях, и никаких платежей... между ними не производится... Практика крупнейших концернов (например, «Дженерал моторс», имеющего около 270 заводов и около 800 тысяч занятых — Р. М.) показывает, что руководители их понимают всю условность трансферных цен, как и критерия прибыли» (с. с. 212, 215, 223 указанного издания).

А вот деятели нашей официальной экономической науки имитируемые формы принимают за существенные. И потому основанное на их рекомендациях управление народным хозяйством, определение условий его функционирования оказывается подверженным волюнтаризму, а функции координирующих органов напоминают функции пожарной команды, причем всегда запаздывающей, действующей в лучшем случае лишь тогда, когда негативные явления уже набрали силу, причинив значительный ущерб. Яркий пример тому — ситуация, до которой мы теперь опустились в нашей экономике.

Нет, сколько бы там ни говорили и не повторяли, а соответствующая своему понятию социалистическая экономика — вовсе не «экономика самоуправления народа», как полагает А. Аганбегян со своими единомышленниками, а такая экономика, которая сознательно регулируется и управляется ОБЩЕСТВОМ трудящихся («народ» и «общество трудящихся» — вещи, которые, как оказывается, могут быть и различными). Различными до такой степени, что за определенной чертой «экономика самоуправления» превращается в «хорошую фразу», а попросту — в демагогию.

Рифат МАНИУРОВ
Москва

Елена РЕРИХ

АГНИ ЙОГА

БРАТСТВО

174. Даже в самые напряженные дни мыслите о созидании. Ошибочно устремляться по напряженной направленной цели, пусть созидание будет идти из устремлений к самому Высшему. Тень долины не закроет вершин. Не следует замыкаться в искусственный круг. На что-же существует Беспредельность!

175. Великое Служение повсюду вызывает много недоумения. Обычно люди представляют его в виде чего-то недостижимого. Они надеются, что ответственность за такое Служение их минует. Но оглянемся на некоторых великих Служителей. Посмотрим, были ли Они недоступными сверх-людьми? Пифагор и Платон, и Бёмэ, Парацельс, и Томас Воган были людьми, несшими свои светильники среди собравших, среди жизни под градом непонимания и поношения. Каждый мог приблизиться к ним, но лишь немногие умели под ликом земным усмотреть надземное сияние. Можно назвать великих Служителей Востока и Запада, и Севера и Юга. Можно прочесть их жизнеописания, но везде мы почуем, что надземное сияние проявляется лишь в веках. Нужно из действительности поучаться.

Не отрицали себя к худителям Платона и к гонителям Конфуция. Они были гонимы теми гражданами, которые считались украшением страны. Так Мир поднимал руку против Служителей великих. Поверьте, что Братство, образованное Пифагором, являлось опасным в глазах городской стражи. Парацельс был ми-

шенью для насмешек и недоброжелательства. Томас Воган оказался отверженным, и мало кто желал встречаться с ним — так проявлялись законы тьмы. Ведь и там свои законы. Очень наблюдают за опасным великим Служением. Приложим бывшие примеры ко всем дням.

176. Нужно понять насколько силы тьмы постоянно борются против Братства. Каждое даже малое о Братстве напоминание будет преследоваться яро. Даже все, что может вести к Братству, будет осуждаться и поноситься — так будем на дозоре.

177. На самых простых примерах можно видеть указания на забытые основы. Непонятные прихоти беременных женщин напоминают о перевоплощении, особенно если проследить характер дитяти. Также точно, как медицина последнего времени дает представление о всеначальной энергии и указывает на нервное происхождение многих болезней. Иммуитет ставится в связь с состоянием всей нервной системы; тем самым выдвигается значение всеначальной энергии. Как же не признать ее, если наука обращает на нее особое внимание. Неужели отрицать основу иммунитета? Люди необычно заботятся о своем здоровье и, в то же время, упускают из виду самое драгоценное обстоятельство. Как же создадутся мысли о Братстве, если основа жизни оставлена в небрежении?

178. Правильно — чудовищно количество безумцев. Не только надо лечить их, но следует найти причину их размножения. И слабоумие также нуждается в надзоре. Безумие заразительно. Детское сла-

боумие указывает на ненормальность всей жизни. Люди согласны с тем, что условия жизни нездоровы и, все-таки, каждый совет об оздоровлении будет принят враждебно. В этом заключается ужас потрясения основ. Ужасно, когда самые ценные предметы подвергаются опасности! Бережность должна выражаться во всей жизни. Когда предупреждаю об единении, то предупреждаю о возможности взрывов. Среди огненных взрывов, нужно идти, как по струне.

179. Даже земному уху надо прислушаться, чтобы уловить звуки. Тем более для внутреннего слуха нужно сосредоточение, чтобы услышать волны пространства. Пусть не думают, что мысленные посылы могут доходить без принятия их. Тонкое чувство требует и глубоких восприятий. Скажем тем, кто самонадеянно полагают, что все чудные птицы прилетят к ним, не ожидая зерна, — пусть каждый сеет, чтобы пожать.

180. С сожалением относимся к общепринятому благополучию — в нем заключается отупение и безмыслие. Мы научаемся приветствовать все зачатки мысли, но нагнетение всегда почитаем, как стремление вперед. Можно привести множество примеров из физики и механики, где нагнетение есть двигатель. Не легко многим согласиться, что нагнетение есть уже врата к продвижению. Но если человечество признает эту истину, тем самым оно уже поймет и значение прогресса. От такого познания не далеко до Братства.

181. Путник не может предугадать всех встреч, но он может найти время, чтобы уследить за идущими на перепутьи. Не следует огорчаться, если путник постепенно будет оставаться в одиночестве, есть тропы, где трудно пройти многим. Уявление внимания к цели приведет к новым спутникам. Необходимо крепко держать цель пути.

182. Меч закаляется огнем и холодной водою, также дух крепнет от огня восхищения и под холодом поношений и неблагодарности. Не следует удивляться, что поношение, как обычай, сопровождает каждому подвигу. Служение сопровождается неблагодарностью. Такая закалка наблюдается издревле, но мало понимается противоположение огня и воды.

183. Одному художнику заказали символическое изображение веры. Мастер изобразил непреклонную человеческую фигуру. Лик был обращен к Небу, в нем было выражение несломимого устремления, самый взор наполнен огненным сия-

нием. Явление было величественно, но из-под складок одежды вилась как бы черная змейка.

Когда художник был спрошен — какой смысл заключен в этом темном придатке, который не соответствует сиянию картины? он сказал: «хвостик неверия».

Смысл тот, что даже в сильной степени веры часто закрадывается и черный хвостик неверия. Пусть он напоминает ядовитую змейку. Много отравы разносится такими змейками. Сама блистающая вера делается не действенной при сочащемся яде. Сказано о великой мощи веры, но полной веры, не отравленной.

184. Неверие есть кристалл сомнения. Потому следует их различать. Сомнение, как нечто шаткое, может быть излечено психической энергией, но неверие почти не излечимо. В какую мрачную бездну погружается невер, чтобы там содрогнуться и получить удар очистительный.

Не нужно помыслить, что путь к Братству возможен при неверии.

185. Вы видите, как поносят Наше Слово даже те, кто могли бы различать Истину. Потому Мы указываем на новых, не зараженных неверием. Поистине, многообразно неверие! Оно прикрыто разными личинами. Нужно отличать, где скрыты убийственные змейки.

186. Люди нередко слышат как бы зовущие их голоса, и иногда такие зовы настолько сильны, что заставляют вздрагивать и оглядываться, конечно, присутствующие их не слышат. Можно ли сомневаться, что такие пространственные послышки существуют?

Труднее понять, почему мало воспринимается посланная мысль, которую по соглашению должны принять в назначенное время. Прежде всего, люди не умеют погружаться в определенное настроение. Нередко, вместо принятия мысли, они отталкивают ее. Таким образом, чаще прилетают мысли не условленные, но удачно попавшие в ритм настроения. Но еще чаще мысль Тонкого Мира доносится, ибо она легче гармонирует с энергией людей. Но мало внимания оказывают мыслям Тонкого Мира. Одна из причин в том, что трансмутация языка удается лишь сильным, высоким духам. На Земле люди часто не умеют понять смысла сказанного, тем труднее приспособиться к пространственным послышкам. Но не нужно разочаровываться, ибо каждое внимание к мысли утончает сознание.

187. Всеначальная энергия, так же как и кровь, иногда нуждается в исходе. Осо-

бенно она нагнетается при огненных напряжениях. Так же она тянется к людям, нуждающимся в ней. При этом нужно различать действительно нуждающихся от вампиров ее пожирающих.

188. Сокровенное Учение не может застыть на одном уровне. Истина одна, но каждый век и даже каждое десятилетие своеобразно прикасается к ней. Вскрываются новые свитки, сознание человеческое по новому следит за явлениями Мироздания. Наука даже в блужданиях находит новые сочетания. От таких находений утверждаются основы прежде-обнарожденные. Каждая премудрость неопровержима, но она будет иметь своих продолжателей. Почитая Иерархию, чтут и вестников Ее. Мир живет движением, и выдача Сокровенного Учения утверждается продвижением. Скудоумы назовут такое продвижение нарушением основ, но мыслители знают, что жизнь в движении.

Даже познание языков умножит восприятия новых находений. Сколь же больше принесет освобожденная мысль! Каждое десятилетие открывает новый подход к Сокровенному Учению. Читавшие его пол-века назад читали его совершенно иначе. Они подчеркнули совершенно иные мысли, нежели читающие сейчас. Нельзя говорить о Новых Учениях, если Истина едина! Новые данные и новое воприятие их будут лишь продолжением познания. Каждый мешающий такому познанию совершает преступление против человечества. Последователи Сокровенного Учения не могут затрунить путь познания. Сектантство и изуверство не уместны на путях знания. Кто может нарушить познание, тот не есть последователь Истины. Век сдвигов народов должен особенно оберегать каждую стезю науки. Век приближения великих энергий должен открыто встретить эти светлые пути. Век устремления в Высшие Миры должен быть достоин такого задания. Свара и ссора есть удел сорников.

189. Можно понять насколько недопустимо злословие около Сокровенного Учения. Разъединение и разложение есть удел зла. Уместно ли злоречие у ступени Братства?

190. Скудоумы способны утверждать, что Наши Братья сеют смуту и восстание. Но, именно, Они прилагают все усилия, чтобы умиротворить народы. Они готовы нести тяжкое Служение, во-время предупреждая лиц, от которых зависит народная судьба. Они не щадят своих сил, чтобы поспеть принести весть. Они це-

ною неугодных приемов несут свет, который силы тьмы пытаются потушить. Но посев семян добра не сохнет, и во дни сужденные зерна процветут. Но как назвать людей, которые вредят добру? Они умеют не только помешать Совету, но истолкуют, как неудачу, самые естественные последствия. Какою мерою ценят скудоумы следствия? Почему берутся они судить, когда явилась удача или неудача? Как и что могло случиться без помощи Братства? Невозможно представить себе злостолкование, которым сопровождается каждое великое Служение!

191. Напрасно врачи объясняют многие заболевания чисто физическими явлениями. Простуда, туберкулез, насморк, явление горла и многие другие болезни, прежде всего, нервного происхождения. Человек может почуять нервное восхищение и получить иммунитет, или человек через нервное потрясение остается беззащитным. Такая простая истина не принимается во внимание. Между тем, нередко будущее, когда явления самых разнообразных заболеваний будут излечиваться нервными воздействиями. Лечиться нужно тем же путем, который дает сознание. Найдут, что самые неизлечимые болезни могут быть приостановлены нервными воздействиями и, наоборот, без забот о нервных силах можно довести самое малое заболевание до опасного размера.

192. Враги человечества изобрели не только всепробивающие пули, но имеют в запасе новые яды. Невозможно остановить поток злой воли. Только самоотверженное и постоянное напоминание о добре может прекратить волну гибели. Не думайте, что раньше среди людей было меньше жестокости, но теперь она оправдана самым бесстыдным лицемерием.

193. Гармония не всегда удастся, если даже словесно и произносится. Обычно заблуждение, что гармония может быть установлена рассудком. Никто не сознает, что лишь сердце является обителью гармонии. Люди повторяют о единении, но сердце их полно колющих стрел. Люди твердят много изречений разных веков о мощи единения, но не пытаются приложить эту истину к жизни. Люди укоряют весь мир за раздоры и, в то же время, сами сеют раз'единение. Поистине, нельзя жить без сердца. Не найти обители гармоничной при бессердечии. Не только себе вредит сеятель раз'единения, они заражают пространство, и кто может предугадать, как далеко просочится такой яд?

Не думайте, что достаточно сказано

о единении, о творящей гармонии. На каждой странице нужно твердить о том же, в каждом письме нужно помянуть единение и гармонию. Нужно помнить, что каждое слово о единении уже будет противоядие, уничтожая пространственный яд. Так подумаем о благе единения.

194. Посмотрим, насколько передвигались Братства. По этим путям можно судить о движении эволюции. Не следует думать, что Братства поспешно удалялись в Неприступные Недра. Они только концентрировали силы в место крепкое, как геологически, так и духовно. Можно припомнить, что в нескольких странах были очаги Братства, но при наступлении сроков такие очаги собирались к одной Твердыне.

195. Полезно советовать друзьям, чтобы они в определенный час обоюдно посылали добрые мысли. В таком действии будет не только укрепление доброжелательства, но и дезинфекция пространства, последнее весьма необходимо. Ядовитые эманации не только заражают человека, но и осаждаются на окружающих предметах. При этом такие осадки весьма трудно изгоняемы. Они могут сопровождать предметы и на дальние расстояния. Со временем будут различать ауру таких зараженных предметов. Пока же чуткие люди могут ощущать на себе воздействие таких наслоений. Добрые мысли будут лучшим очистителем окружающего. Утверждение посылок добра будут еще сильнее, нежели очистительные ароматы. Но следует приучаться к таким посылкам. Они могут не содержать определенных слов, только направляя доброе чувство. Так среди обычной жизни можно творить много добра. Каждая такая посылка, как молния очищающая.

196. Будьте осторожны с центром гортани; он, как синтетическое средоточие, может очень принимать пространственные воздействия. Если радиостанции могут влиять на слизистые оболочки, то много других воздействий могут также отягощать центры.

197. Истинно, Учение Жизни является пробным камнем. Никто не пройдет мимо, не показав свою сущность. Кто возрадуется, кто ужаснется, кто вознегодует. Так каждый должен показать, что таится в глубине его сознания. Не удивляйтесь, что реакция Учения так различна и ярка. Народа высекал такие же различные искры из сознаний человеческих. Если кто-то не может вместить устоев справедливости и нравственности, пусть он проявит свою

негодность. В явной формуле пусть возможно менее останется масок лицемерия. Пусть проявится дикость, ибо она не может долго пробыть над одеждою притворства. Так же пусть возликует молодое сердце, оно может явить себя в радостном восхождении. Так пусть мера Учения будет и показанием деления человечества. Зло и добро должны различаться, но такое распознавание дается не легко.

198. Среди внешних признаков пригодности обращайтесь внимание на странников, нечто двигает ими и не дает покоя. Они легче других судят о хрупкости собственности. Они не страшатся расстояния, они научаются многому. Между ними могут быть вестники.

199. Человек, спасенный, мнит себя погибшим. Уже погибший думает, что он победил. По всему миру ползают недомыслия. Наяву люди окружены призраками. Можно усмотреть безумие целых народов. Учение может открыть многие глаза и напомнить о нерушимости основ.

200. Зовущий к лучшему качеству — уже на пути.

201. Лучшие целебные продукты часто оставляются в небрежении. Молоко и мед считаются питательными продуктами, но совершенно забыты, как регуляторы нервной системы. При явлениях в чистом виде они содержат драгоценную всеначальную энергию. Именно, это качество должно быть в них охранено. Между тем, стерилизация молока и специальное очищение меда лишают их самого ценного качества. За ними остается питательное значение, но основная ценность их исчезает.

Конечно, необходимо, чтобы продукты употреблялись в чистом состоянии. Так животные и пчелы должны содержаться в здоровых условиях; но все искусственные очищения уничтожают их прямое назначение.

Древнее знание охраняло коров, как священных животных, и соткало вокруг пчел увлекательную легенду. Но со временем люди утратили сознательное отношение к первозданным лекарствам. В старых лечебниках каждое лекарство рассматривалось со стороны пользы и вреда. Но такие ценные средства, как молоко, мед или мускус не наносят вреда, когда они чисты. Можно много указывать полезных лекарств и в растительном мире, но большинство их лучше всего тоже в чистом виде, когда не утрачена основная энергия, которая присуща им поверх так называемых витаминов. Сок моркови,

или редьки, или земляники лучше всего в сыром чистом виде. Так можно понять, почему древние Риши питались такими целебными продуктами.

202. Находчивость и быстрота мысли могут быть развиваемы постоянным упражнением. Первое условие будет думать об этих качествах, потом полезно держать мысль внутри, чтобы жила и во время всех других занятий.

203. Сейсмограф показывает непрерывное трепетание почвы, но далеко не все эти землетрясения отмечаются чуткими организмами. Причина тому та, что огонь бывает самого разнообразного качества. Кроме того, организм часто показывает малые знаки, которые смешиваются с простыми, ответственными воздействиями. Человеческий организм показывает гораздо больше различных знаков, нежели обычно принято думать. Особенно все касающееся огня отмечается человеком. Объяснения такому преимуществу очень скудны. Скажут об утомлении или недомогании, или каком-то настроении, но воздействие огненной стихии будет забыто. Именно люди не представляют себе, что они окружены огнем, который действует на всеначальную энергию. Казалось бы, надо ценить все, что может укрепить начальную энергию. Давно сказано, что самость погашается огнем. Люди будут мыслить только от себя, пока не осознают огненного крещения. И само понятие о Братстве будет сухим остовом, пока не будет понята самая мощная стихия.

204. Постепенно придет знание, что легенда есть правдивая история, документы найдутся. Каждое открытие подтверждает, что правда живет и должна быть воспринята. Если мифы живут, то и история о Братстве получит достоверность. Можно замечать, что сведения о Братстве особенно заподозреваются. Много обстоятельств принимается очень легко, но существование Братства особо поражает. Люди готовы встретить неизвестного отшельника, но представить себе сообщество таких отшельников почему-то трудно. Существует ряд истин, которые встречают особое сопротивление. Не трудно представить, кому противно понятие Братства. Эти сущности отлично знают о существовании Братства и трепещут, чтобы это знание не проникло к людям. Но все совершается в срок. Если и не знают они, все-таки, начинают предчувствовать.

205. Одни вестники идут с поручени-

ем, уже зная откуда, куда и зачем, и как вернуться они. Другие лишь внутренне знают Указание и совершают земной путь, как обычные жители. Не будем взвешивать, которые совершают подвиг самоотверженнее. Пусть люди признают, что существует множество степеней подвижников. Главное, надлежит понять следствие и побуждение. Не будем судить, которое доброе деяние выше. Каждое деяние окружено многими причинами, которые глаз человеческий не может усмотреть.

Не будем ценить приносимое добро и сопроводим вестника дружелюбием. Именно в этом дружелюбии находится ключ преуспевания.

206. Также научимся различать малейшие знаки. Их очень много, они вспыхивают, как искры, но не впадают в ханжество и подозрительность. Подозрительность отличается от зоркости. Сказано — зоркость пряма, но подозрительность крива. При том подозревающий уже не чист и не свободен. Знание не должно быть отменено насилием, ни внешним, ни внутренним. Люди часто жалуются на жестокость, но сами к себе бывают жестокими. Такая жестокость хуже всего. Поймите справедливо середину между кажущимися противоречиями.

207. Замечайте какими необычными путями складываются события. Именно в этом заключается воздействие новых сочетаний энергий. Не следует в такие дни предугадывать по старым мерам. Также и недомогания могут быть неожиданными. Утверждаю, что не отменить обычными средствами течение событий. Поэтому будем внимательны.

208. Чуткость организма люди не считают преимуществом. Даже очень просвещенные люди часто опасаются таких утончений. Действительно, требуется расширенное сознание, чтобы понять насколько необходимо приобретение чуткости для дальнейшего продвижения. При существующих условиях земной жизни можно ожидать различных болей, но ведь эти страдания происходят не как следствие чуткости, но по причине ненормальности жизни. Если представить себе не зараженную атмосферу, то чуткость явится истинным благом, но люди предпочитают загрязнить планету, лишь бы пребывать в диком состоянии. Не думайте, что слова о дикости будут преувеличением. Можно носить дорогие одежды и оставаться дикарем. Тем более тяжко преступление тех, кто уже слышал о состоя-

нии планеты и, все-таки, не прилагают сил к улучшению общего Блага.

209. Предостерегайте, чтобы не зловили на Высшие Силы. Безумцы не понимают, что мысли их преломляются о мощные лучи и поражают самих безумцев. Если они не падают немедленно мертвыми, это еще не значит, что организм их не начал разрушаться. Своя же стрела найдет зачаток язвы и вызовет ее наружу.

210. Разложение организма распространяется не на одну земную жизнь. Не нужно винить лишь родителей, можно усмотреть и свой атавизм. От совершенно здоровых родителей часто рождаются очень больные дети. Земной ум будет пытаться найти причину в далеких делах, но знающий череду жизней подумает о причине, заложенной в самом себе. Мир Тонкий в низших и средних сферах сохраняет много телесных условий.

Полезно стремиться ввысь.

211. Переход в Тонкий Мир должен быть по природе своей безболезненным. Люди, совершив земной путь, должны принять следующее прохождение естественно. Но они сами усложняют торжественную смену бытия. Они сами расплодили болезни и насылают их на близких. Они пытаются заразить пространство, но лишь сами могут вступить на путь очищения. Насильственная профилактика не может помочь основательно, необходимо общее сознательное сотрудничество. Принуждение может из сотен тысяч больных спасти лишь малую часть. Оздоровление планеты находится в руках всего человечества. Прежде всего, нужно понять, что человек оздоравливает не только себя, но и всех окружающих. В таком сознании будет заключаться истинное человеколюбие. Такое чувство не может быть приказано. Оно должно прийти из глубины сердца самостоятельно.

Пусть безумцы не удивляются, что Мы уделяем столько внимания оздоровлению. Нельзя быть эгоистом и думать лишь о себе. Мы должны и в мыслях, и в действиях распространять заботу о лучших земных условиях. Не будем закрываться складками хитона, когда необходимо напяречь всю зоркость и доброжелательность к человечеству.

212. Много говорят о самопожертвовании, в небеса устремляясь, но примеры высоких самопожертвований здесь, на Земле. Возьмите каждую мать; она, в различных условиях, по своему выражает самопожертвование. Но будем вниматель-

ны, сумеем усмотреть самые прикрытые знаки великого чувства, именно, оно настолько углублено, что стыдится выражения. Среди этих прекрасных цветов найдется и средство оздоровления. Призовем лучшие слова, чтобы человек не оступился. Так войдет в жизнь и понимание Братства.

213. Откуда бы ни пришло добро, пусть не отринут его. Ступень эволюции должна запечатлеть вменение. Добро уже не должно быть добром самости. Такая низшая степень добра должна быть заменена высшей. Сколько радости в чувстве, если можно восхищаться добром ближнего. Но сколько тьмы в личном присвоении Общего Блага. Пусть жестокосердие задумается о сказанном.

214. Утверждаю, что явлений много, но люди так слепы и не видят хлеб приготовленный. Люди не хотят признать то, что всеми силами уже приближается. Пусть на перепутьях странники покоят о сужденном Братстве.

215. Знание бывает обобщающее и расчленяющее. Одни ученые начинают с первых шагов познания прилежать к первому виду, но другие не могут выйти за пределы расчленения. Рано или поздно и они должны будут обратиться к методу обобщения. Нужно полюбить такой порядок мысли. В нем заключается творчество. Расчленение будет подготовительным путем к тому же завершению. Полезно уметь понять различие этих двух путей. Именно теперь много прилежных ученых, которые довольствуются вторым методом. Но мало поможет он, когда каждое познание является синтезом многих отраслей науки. Требуется большая подвижность ума, чтобы мочь найти сравнение и подтверждение из самой непредвиденной области науки. Умение сочетать необходимые показания уже доказывает высокую степень сознания. Уже много было потеряно из-за ненужных подразделений. Даже замечалась какая-то враждебность отдельных областей науки между собою. Но разве гуманитарные и прикладные науки не являются ветвями того же древа Истины.

216. Не будем осуждать самое кропотливое исследование, когда оно не таит в себе предумышленной враждебности к соседней области. Пусть ученые найдут в себе решимость не отрешаться от того, что им в данное время не известно.

217. Скажут — невозможен покой в дни великого смущения. Ответьте — не будем толковать о словах. Покой, так же

как Нирвана, есть кипение не выкипающее. Но если кому-то не по силам такое понятие, то пусть он озабочится о ясности мысли. Пусть он признает, что даже в час Армагеддона нужно иметь ясное сознание. Если в земных битвах мы будем терять ясность мысли, то как же удержим ее при переходе в Мир Тонкий? Каждое земное столкновение есть лишь пробный камень нашего Сознания. Даже при негодовании следует не допускать отменения мышления. Люди опытные знают, что пространственные токи сильнее любых людских сражений, но и при таких мощных натисках следует ясно хранить цель существования.

Пусть не жалуются маловеры, что покой их потревожен. Они подменяют значение лучших слов и падают в безмыслие. Что же может быть хуже!

218. При грозе советуется не бежать и не делать резких движений. Также гармоническое состояние указывается при земных грозах. Не будем ухватываться за подушку, чтобы скрыть от себя гром. Не будем устремляться к самому малому, когда стучится великое. Нужно испытывать себя в самых различных обстоятельствах — в этом заключается и тайна самых разнообразных воплощений. Но люди не могут принять, каким образом король превращается в сапожника.

219. Стремящемуся к практическому оккультизму скажем — пусть помыслит о воплощениях, относительно тайны рождения и смены бытия. Невозможно пройти мимо великих значений. Такие увлечения на глазах всех могут дать мысль о сущности бытия. Нельзя проходить мимо некоторых замечательных явлений, как передача и восприятие мыслей. Не для насмешки даются явления малых детей, помнящих прежние жизни и воспринимающих мысли.

220. Каждая фраза Учения отвечает на особую нужду человечества. Настоящее время отличается потрясением нравственности. Помощь Учения должна быть направлена к утверждению нравственных устоев. Нахождения науки разошлись с бытом, получается особый вид дикарства, овладевшего научными инструментами. Меньшинство высокопросвещенных тружеников высится редкими островами среди океана невежества. Грамотность еще не есть просвещение, потому дается совет укрепить сердце, как средоточие просвещения. Даются научные и врачебные указания, должны они помочь телесному и духовному оздоровлению. Чем

непосредственное принимаются эти советы, тем и действие их сильнее. Зародыш энтузиазма вырастает в прекрасное вдохновение. Капля доброты превращается в действенное благо. Кроха любви процветает чудесным садом. Кто же осудит желание помочь ближнему?

221. Каждая книга Учения содержит внутреннее задание. Если жестокость может издеваться над Братством, то это будет худшим видом дикарства. Пусть люди найдут в себе силу воздержаться от издевательства. Издевательство не есть острота ума. Юмор заключается в мудром отношении к происходящим явлениям, но разинутая пасть плоскоумия служит позором человечества. Игра-ли, когда человек становится игралищем безумия? Преуспевают те, кто чистыми руками возносят «Чашу».

222. Единение нужно и там, где Учение читается. Одно чтение не есть щит. Должна быть особая радость претворения прочитанного. Каждый человек в течение дня может претворить что-либо из Учения — тогда придет радость единения.

223. Всеначальная энергия стучится во все нервы человечества. Она есть, она существует. Она напряжена космическими условиями. Невозможно говорить — следует ли развивать ее? Нельзя развивать всеначальную энергию, можно лишь охранить ее от воли хаоса. Следует проявить великую бережность к сокровищу эволюции. Много было сказано в древности о времени, когда всеначальная энергия начнет проявляться усиленно. Не должны люди отрицать то, что повелительно заявляет о своем назначении. Кто наполнится таким высокомерием, чтобы впасть в отрицание вести эпохи? Лишь невежды и своенудные начнут ратоборствовать против очевидности. Но не примем к сердцу попытки невежд. Они лишь сплетают венки каждому совету о помощи человечеству.

224. Нельзя определять, кто насильственно будет угнетать пытливые наблюдения? Нельзя закрывать свет, когда он сияет из глубины познания. Пусть Свет найдет сужденные пути. При падении нравственности неизбежны нападения на все светлое.

225. Область тончайших энергий неисчерпаема. Можно говорить о познании ее, но не о значении ее. Говорю не для разочарования, но для ободрения. Если возьмем картограмму человеческих проникновений в пределы дальних энергий, получим очень беспорядочную линию.

Люди бросались в пространство, не подержанные ни своими близкими, ни Высшими Силами; получалась картина водолаза, который опустился на одну точку дна океана и должен дать объяснение всей подводной жизни. Нужно, чтобы наблюдались всевозможные явления и сносились бы в лаборатории исследований. Сколько раз сказано, что одинокий исследователь не может успеть наблюсти все нити энергий. Очень часто непосредственное чувство ребенка могло подсказывать нужные наблюдения. Неслучайно говорю о врачах и школьных учителях, и те и другие имеют вокруг себя широкое поле для наблюдений. Они могут приближать внимание окружающих к самым высоким предметам. Много пользы могут они принести науке, подобно станциям метеорологическим. Самые обычные люди могут слышать о разных малых проявлениях, но кто скажет — где малое и где большое? Часто не хватает только одного звена, чтобы заключить очень важное наблюдение.

226. Не легко привыкнуть к мысли, что наши чувствования часто зависят от пространственных токов.

227. Не легко привыкнуть, что каждую минуту мысли могут принести перемену настроений.

228. Не легко признать, что одиночества не существует.

229. Не легко чутя себя принадлежащим к двум Мирам.

230. Не легко признать, что земная жизнь есть мгновенное видение. Не легко понять все это, хотя люди должны предчувствовать уже от рождения.

231. По бедности языков произошло во всех веках много ошибочных толкований. Люди пытались обращаться к цифрам, к символам и к образам, к начертаниям и всяким иероглифам, но такие пособия были лишь временными. Только современники могли понимать значение таких условных придатков. В веках опять стирались и образовывались новые заблуждения. Человечество с трудом удерживает сведения за одно тысячелетие. Что же сказать о десятках тысячелетий, когда сами языки много раз совершенно изменялись! Отдельные предметы, дожившие до нашего времени, не могут вполне характеризовать эпохи, их создавшие. Так нужно приложить особую осмотрительность к древним эпохам, которые для нас лишь смутные видения.

Будет время, когда ясновидение, научно поставленное, поможет соединить ос-

колки разбитых сосудов древнего знания. Умение терпеливо разбирать стертые знаки пусть будет отличием истинного ученого. Он поймет и значение вмещения.

232. Телепатия была признана ранее, нежели передача мысли. Посылки чувства были доступнее человеку, нежели посылка мысли. Можно заметить, что само слово телепатия произносится гораздо благодуще, нежели страшная для множества посылка мысли. Даже в психиатрических лечебницах врач легко согласится о телепатическом явлении, но за признание возможности передачи мысли определит опасное состояние. Так месмеризм осужден, но гипнотизм признан. Много несправедливости, но справедливость должна быть восстановлена.

233. При изучении психологии пророков можно видеть два фактора проявления. С одной стороны, как бы требуется одиночество, но с другой, пророк иногда прозревает и в окружении толпами. Оба условия не так противоречивы, как кажутся. Можно получить импульс энергии и от толпы. Нет таких условий, которые не могли бы оказаться проводниками тончайших энергий.

234. Постоянно говорю об осторожности, но не хочу внушить вам боязливость. Туча заставляет садовника принимать меры охраны, но он не боится каждого вихря.

235. Человеконенавистничество доходит до коренных способов уничтожения — газами и отравлением. Пусть ученые разьяснят, что газы не улетучиваются, но осаждаются на долгое время. Пусть изобретатели газов поселятся в доме, стены которого натерты мышьяком или сулемой, или другими эманулирующими ядами. Пусть на себе, на своих глазах, на коже, на легких, убедятся, как долго действуют эманулирующие яды. Кроме того, изготовление в большом количестве ядов уже наносит вред на большие расстояния. Лишь преступное неразумие думает, что вред будет нанесен только врагу.

Также ядовиты газы, раздражающие слизистые оболочки. Недозволительно травить народ, обрекая его на заболевания, которые обнаружатся лишь в будущем. Так называемые просвещенные правители заражают целые пространства и успокаивают себя, что отравы безвредны! Пусть они поживут в отравленном доме.

Среди всех научных находжений позорным пятном останутся газы и яды.

236. Нужно найти какие-то способы,

чтобы люди поняли смысл единения, иначе людские сборища походят на связку шаров, рвущихся во все стороны. Люди полагают, что внешняя улыбка черепа уже должна выражать единение. Но смысл соединенной остается чужд.

237. Называют путником не только уже находящегося в пути, но и уже собравшегося в путь. Так же и в мировом событии — оно уже сформировалось, уже существует, хотя корабль еще не отчалил. Нужно различать внешнее движение от внутренней готовности. Некоторые люди не придают значения внутренней готовности. Если нечто не движется у всех на глазах, то значит, это и не существует. Обратимся опять к врачевным примерам. Много болезней протекает внутри, не подавая внешних признаков. Только в последней степени они проявляются, когда лечение уже бесполезно. Не будем же считать процесс лишь по его смертельной степени. Так и в человеческих отношениях.

238. Многие учения предписывают воздержание от всякого убийства. Конечно, осталось недосказанным, как быть с убийством малейших существ невидимых? Конечно, имелось в виду преднамеренное убийство по злой воле, иначе в каждом дыхании человек становился бы убийцей. Сознание может подсказать, где граница. Сердце может учуять и уберечь человека от убийства.

Даже ветку, неразумно сломенную, отнесем ко храму; иначе говоря, пожалеем. То же чувство подскажет уберечься от убийства.

239. Огня много. Горят дальние Светила, и можно их видеть в огне сердца. Именно, много напряжения.

240. Можно заметить, что особо большие потрясения иногда гораздо меньше разрушают организм, нежели малые. Причина в том, что при больших потрясениях начинает особенно действовать психическая энергия, являя мощную защиту. При малых потрясениях и защита не будет сильна. Когда говорю — «нагружайте Меня сильнее, когда иду в Сад Прекрасный», то это не будет только поэтическим образом, но практическим указанием. Давно сказано, что в больших потрясениях дух крепнет и сознание очищается. Но в таких процессах главным фактором будет всеначальная энергия. Потому не будем огорчаться, если она чем-то приводится в действие. Гораздо хуже, когда нечто маленькое подтачивает организм и спасительная сила бездействует. Такое

положение надо осознать, иначе люди начнут стремиться к малому и удовольствуются ничтожным. Запас психической энергии должен быть пополняем. Без нагнетения она не получит Высшую Помощь. Даже такая энигматическая пословица — «чем хуже, тем лучше», имеет некоторое основание.

Поразительно наблюдать, как утеснения и гонения умножают силы. Можно удивляться, откуда люди черпают силы сносить и противостоять поношениям. Та же спасительная энергия, которая очищает сознание, она же создает и оборону. Полюбим же ее и не отгоним легкомысленно. Люди молятся о защите и сами разрушают лучший дар.

241. В Братствах предлагается избегать всяких взаимных издевательств и поношений. Даже в сложных обстоятельствах можно находить положительные черты, по таким камням безопаснее проходить поток. Брань, как чертополох, растет быстро и с нею не пройти. Нередко употребляются такие слова, которые вызывают недобрые эманации. Ведь каждое слово наносит глиф на ауре. Человек должен брать ответственность за свои порождения. Всякая грязь неуместна в Братствах.

242. Не следует выводить своевольно заключения о причинах ускорения или замедления событий. Нужно уметь принять во внимание многие условия, из которых самые важные, обычно, остаются в небрежении. Учю напрягать внимание, чтобы не увеличить сложность положения. Вольно или невольно люди не любят осознавать, как часто крупница раздора истребляет лучшие сочетания. Человек подобен магниту, но даже магнит может размагнититься, если он находится в неполезном соседстве. Так нужно приучиться к наблюдению и за малыми крупичками. Не может процветать единение, если в каждом колесе насыпаны скрипящие песчинки.

243. Сотрудничество дается не легко. Для усвоения его иногда требуется целый ряд жизней. Люди трудно понимают совмещение индивидуальности с общинным трудом. Как корабль в бурю качается человеческое сознание, забывая о синтезе.

244. «Дружба в молчании», так говорил один древний китаец. Можно сказать и обратно. При таком высшем состоянии мысль заменяет многие слова. Можно понимать друг друга на разных языках, выраженных мысленно. Тайна передачи мысли на разных языках остается великим проявлением всеначальной энергии.

245. Если бы люди относились друг к другу доверчивее, они могли бы наблюдать гораздо больше проявлений космического характера. Например, если бы они не стеснялись поверять о своих чувствованиях, можно было бы улавливать целые волны преходящих токов. Можно замечать особые гардовые ощущения или сердечные боли, или напряжение колен и локтей. По всем центрам могут проходить токи. Это не будет болезнью, но своеобразным недомоганием. По этим симптомам можно увидеть, где проходит напряжение токов. Но нужно проявить хотя бы малое доверие, без опасения быть осмеянным.

246. То же опасение мешает признанию Иерархии. По справедливости скажем, что Иерархия далека от всего насильственного. Она готова помочь и послать совет, но человечество готово заподозрить каждое доброе намерение. Без доверия нет и сотрудничества. Не будем забывать, что недоверие есть признак несовершенства. Человек, наполненный сомнением, прежде всего, будет не верить ближнему. Не будем называть эти воспоминания нравственными советами. Пусть люди назовут их физическими и механическими законами. Совершенно безразлично, как назвать основы Бытия, лишь бы они соблюдались!

247. Мы никогда не советуем притворство улыбки. Как противно каждое несправедливое суждение, так же и лицемерная личина будет показателем притворства и болезни ауры. Но просим быть добрее в сердце — это самый лучший бальзам.

248. Люди удивляются количеству преступлений, но забывают о еще несравненно большем числе никогда не обнаруженных злодеяний. Можно ужасаться несчетным мысленным преступлениям, которые не формулированы законами, но они уничтожают жизни людей и всей планеты. Нужно иногда подумать насколько плодородность планеты уменьшается, несмотря на все искусственные меры, иногда принимаемые правительствами. Можно посадить рощу деревьев и, в то же время, отравить и уничтожить целые леса. Люди удивляются остаткам девственных великанов лесных, но не задумаются — много ли таких же великанов подрастает теперь? Люди сдирают девственный покров планеты и поражаются росту песков. Можно пересчитать все виды, населяющие планету, и удивиться, что породы мало совершенствуются. Не будем счи-

тать некоторые странные скрещивания; которые могут, как в водянке, раздувать явления некоторых овощей. Такие опыты не влияют на общее состояние планеты.

249. Сердце устраняет многие заболевания. Неправильно не помогать сердцу, прежде всего. Может быть, сердце внешне может быть спокойно, но ему нужно дать импульс, чтобы оно могло усиленно повлиять на иные центры?

250. Может ли быть потоп, смывающий целые области? Может ли быть землетрясение, разрушающее целые страны? Может ли быть вихрь, сметающий города? Может ли быть падение громадных метеоров? Все может быть, и качание маятника может увеличиться. Не имеет ли значения качество человеческой мысли? Так пусть подумают о сущности вещей. Она очень близка мысли, и много мыслей устремлено из разных миров. Не будем винить одни солнечные пятна.

Одна мысль о Братстве уже целебна.

251. Угроза и насилие не Наша Область. Сострадание и предостережение будут областью Братства. Нужно быть жестоким по природе, чтобы принять предупреждение за угрозу. Люди судят по себе, они пытаются вложить свое значение в каждое услышанное слово. Поучительно дать самым разным людям один простой текст для толкования. Можно поразиться насколько различно будет раз'яснено содержание. Не только основные свойства характера, но и случайные настроения отразятся и извратят содержание. Так можно подтвердить, что злой видит злое, а добрый видит доброе. По всем отраслям знания проходит та же истина. Только очень зоркие глаза отличат, где действительность и где мираж настроения.

Когда человек мечтает о Братстве, пусть, прежде всего, очистит глаза от наносного сора.

252. Не мало людей думающих, что Братство вообще не существует. Может быть, в тишине ночной иногда перед ними мелькают отрывки воспоминаний, но тупость рассудка заслоняет эти мечтания. Правда, в малых воспоминаниях они обжигают сознание. Может быть, они не могут уже встать в определенном образе, но смысл их сверкает, как стрела пролетающая. Определенный образ не встает, потому что человек не учился мыслить образами.

253. Также человек не приучается различать совпадения от законных явлений, не учится проследить процесс мышления

со всеми привходящими обстоятельствами. Столько дисциплин доступно человеку в любом состоянии! У Нас ценят такое естественное накопление.

254. Никто не требует, чтобы телефон или телеграмма повторялись два раза, прежде чем им поверить. Но иначе обстоит дело с оповещением из Тонкого Мира. Люди почему-то непременно настаивают на повторении проявлений, как будто они бывают убеждены лишь при повторении, таким образом теряется много энергии. Условия уже успели измениться, но человек хочет вернуться к прежнему. Многие затрудняются от подобного ретроградства.

255. Люди также не хотят наблюдать процесс мышления в зависимости от изменения окружающего. Такие наблюдения могут выявлять много физических воздействий, но вместе с тем покажут насколько среди видимых воздействий постоянно ощущаются и незримые, но весьма сильные.

Кто готовится к братскому труду, должен уметь следить за собою.

256. Можно замечать, что люди, помнящие о своих прежних жизнях, принадлежат к самым различным положениям. Это лишь доказывает, что закон потусторонний гораздо сложнее, нежели полагают на Земле. Тем более он должен быть почитаем и изучаем. Такие исследования, неминуемо, должны быть отрывочными, но и подобные отрывочные сведения должны составить убедительную цепь фактов. Чем скорее можно начать такую земную хронику, тем скорее встанет правда. Нужно понять, что не в Наших обычаях требовать слепую веру. К чему было бы такое требование там, где наблюдательность и внимательность дают большие следствия.

Сказано, что ткань Превышней состоит из искр, значит, если усмотреть хотя бы одну искру, будет уже большим достижением. Но в этих опытах можно достигать удачи лишь при взаимном доверии. Ценные сведения могут принести и дети, и поселяне, и разные труженики, в которых запечатлелась хотя бы одна искра их коснувшаяся. Очень часто именно народ хранит явления воспоминания, но стыдится произносить их. Бережно нужно подходить к таким тайникам. Они не откроются высокомерному допросу или спешащему прохожему. Кроме того, закон земной запрещает касаться сокровенного. Врачи нередко назовут такое признание безумием.

Мы уже говорили, что все вопросы

внутреннего сознания должны быть испытаны сурово; но если из ста неверных и смутных сообщений окажется одно достоверным, то это будет уже успехом. Так будем искать правду.

257. Пусть поиски правды не будут желчными. Человек, утративший в своем доме какой-то предмет, уже раздражается. Что же будет при поисках во всем мире?

Поистине, доброе сотрудничество необходимо.

258. Зерна могут быть развеяны ветром, могут быть поклеваны птицами; могут быть сметены ливнем — много причин следствий. Особенно трудно человеку, что он не может предрешить судьбу посева. Но он и не должен по своему распределять следствия труда. Человек должен ясно представить назначение труда своего, но пути движения и новых заграждений не должны огорчать деятеля. По земной природе не легко примириться с мыслью, что зерна могут вырастать в неожиданном месте. Но пусть человек не забудет, что жизнеспособность зерна велика. Так будем сеять, не думая, где разрастется сад прекрасный. Человек ответит для сада пышное место по своему разумению, но рядом может оказаться более плодородная почва; и даже занесенное ветром зерно процветет — так будем сеять, не сомневаясь в жизнеспособности зерен.

Основа Братства в доверии к труду.

259. Иногда может показаться, что наставление дано не достаточно ясно, но так ли это? Не будет ли наше преходящее настроение ложным толкователем? Со временем пронесутся настроения, появятся облики истинные. Можно будет признать тогда, что наставления были непреложными. Так куется приближение к Братству.

260. Не будем удивляться, что после указанного срока напряжение как бы усиливается. Не забудем, что это следствие уже бывшего. Но посев причин может уже уменьшиться.

261. Облекаясь в земную оболочку, человек имеет творить добро, в том совершенствуясь — так говорит незапамятная Мудрость. И над Вратами Братства постоянно сияет этот Завет. Он не будет противоречить и тем, кто понимает не явленное, бесконечное зло несовершенства. Пусть несовершенство неизбежно, но, все-таки, существуют отрасли труда, воплощающие добро в полном его значении. Разве труд земледельца не добро? Разве

творчество прекрасное не добро? Разве мастерство высокого качества не добро? Разве знание — не добро? Разве служение человечеству — не добро? Можно утверждать, что существо жизни — добро, только человек, в нежелании совершенствования, предпочитает оставаться в невежестве, иначе говоря, во зле.

262. Огонь требуется для закалки лучших клинков. Без огня не могут утончаться и центры организма. Неизбежно воспламенение центров, но лишь нужно быть очень осторожным в такие часы. Клинок раскаленный легко сломать, так же и горячую струну нерва легко оборвать. Поэтому будем очень осторожны. Такая осторожность есть лишь знание положения.

263. Представьте себе дом, наполненный людьми, знающими о каком-то важном событии, и между ними один не будет знать, о чем все думают. Будет велика разница между знающими и незнающими. Даже по внешности можно будет судить о разнице очевидной. Незнающий начнет ощущать беспокойство, начнет оглядываться и прислушиваться; будет подозревать и озираться неприязненно. Чем больше будет в нем раздражения, тем дальше окажется он от разрешения загадки. На таких простых примерах можно наблюдать воздействие мысли и причины, препятствующие их восприятию. Для принятия мысли, прежде всего, не полезно раздражение. Может быть возбуждение или спокойствие, но никак не гнев или раздражение.

Пусть помнит те, кто предполагают наблюдать передачу мысли, что могут быть препятствия непреодолимые, но легко устранимые самим человеком. Успокоение раздражения лишь кажется трудным. Не забудем взглянуть на колонну, представляющую пространство, и представим себе, где на ней может быть отмечено раздражение — и места ему не найдется, так же и для самости перед Беспредельностью.

264. Сравнение малейшего с величайшим позволяет находить равновесие. На каждом трудном пути, где гладкая скала уже будет опорой. Но гладкая поверхность происходит от множества потоков. Так путник пусть не думает, что лишь ему трудно.

265. Древняя пословица говорит — «Думающий о смерти, ее призывает». Также и врачи иногда замечали, что мысль о кончине ее приближает. Каждая мудрость народная содержит в себе частицу истины. Но нужно, прежде всего,

подумать — можно ли занимать мысли о том, что не существует? Пора людям признать, что жизнь не прекращается. Так совершенно изменится отношение к земному существованию. Для правильной эволюции необходимо скорее утвердить правильную точку зрения на непрекращающуюся жизнь. Наука должна прийти на помощь, чтобы рассеять мрачные заблуждения. Не о могиле думать человеку, но о крыльях и красоте сужденной. Чем ярче человек внедрит в сознание красоту мира, тем легче он воспримет новые условия.

266. Учение жизни должно, прежде всего, утвердить понятие жизни и за пределами земной оболочки. Иначе к чему будет понятие Братства, если самое ценное должно развиваться для немногих десятков лет? Нужно накопить сознание вовсе не на завтра, но на вечные пути в Беспредельности. Полезно повторять эту истину при свете дня и ночи.

267. Сотрудничество может начинаться и кончаться, но Братство, однажды установленное, нерушимо. Потому не будем легкомысленны к понятию, заложенному в основу. При всех существованиях Братья будут встречаться и утверждать общую работу. Нужно радоваться такой возможности, которая не иссякает во всех веках.

268. Когда люди научатся различать причины от следствий, много познается, но до сих пор люди признают лишь следствия и даже в самой грубой степени. Никто не желает понять, что между причиной и следствием должно пройти известное время. Когда тонкое сознание познает причины, обычно оно подвергается насмешкам. Грубый глаз еще не видит уже происшедшее, и невежды разглашают, что ничто не произошло. Потому пора направить мысли на корень вещей. Но это не легко, ибо доверие заглушено и тем самым познавательная энергия приведена в бездействие. Можно назвать много случаев, когда познание может предвидеть причины, как начало следствий, но малое недоверие смысляет все возможности.

269. Хаос ревнив и яр. Он захлестывает, где находит малейшее колебание. Хаос не упустит ничего, чтобы прорвать слабую плотину. Можно заметить, что предательства происходят накануне особо полезных действий. Не было случая, чтобы предательства происходили без особых сроков, когда уже были сложены пути продвижения. Именно тьма и хаос не выносят всего созидательного. Они стере-

гут пути и ищут, кто способен им помочь. Можно назвать много примеров, но также много показательных действий, когда сердечное единение превозмогло тьму. Потому так нужно беречь понятие Братства.

270. Священные боли не принадлежат ни к какому виду болезней. Такое необычное состояние может превышать все известные заболевания. Все становится так напряжено, что малейший удар может порвать эти натянутые струны. Как уже сказано, такое состояние еще усугубляется неестественным положением планеты. Болезнь планеты угрожает нагнетанием сердцу. По глубокой причине издревле охраняли чуткие организмы. Название священных болей должно было привлечь внимание на сердце, прикоснувшееся к тончайшим энергиям. Такие сердца нужно беречь, они как провод высшего напряжения. Их нужно беречь и в домашнем быту, и во всей жизни. Если бы врачи были менее самонадеяны, они стремились бы наблюдать такие редкие явления. Но к сожалению все особенные симптомы, скорее, отталкивают ленивых наблюдателей. Между тем, наряду с механизацией жизни должно происходить изучение высших энергий.

271. Иногда получают и обратные следствия, когда к высшим энергиям прикасаются грубыми средствами. Для примера возьмем очки, придуманные для наблюдения над аурами. Принцип не плох, но средство грубо и поражает зрение. Между тем, уточнение чувств не должно вредить естественному состоянию организма. Так и употребление так называемого радия оказалось разрушительным, тогда как радиоактивность есть начало целительное. Также и алкоголь вместо медицинского средства сделался наркотиком разрушительным. Примеров много. Главная причина в нежелании осознать связь организма с тонкими энергиями.

Братство и сотрудничество должны помогать уточнению мышления. Уточнение мысли дает и подход к уточнению жизни. Уточнение и есть возвышение и продвижение.

272. Нет ничего удивительного, что даже совершенно простой человек может видеть излучения — причин этому много. Он может быть необычным человеком по своим бывшим жизням или в нем могло выразиться это особое качество среди мало выраженных других. Такие одиночные случаи не редки. Можно видеть, что даже безграмотные люди обладают необычными восприятиями. Они не знают,

почему такое знание приходит к ним, когда они говорят без лукавства. Такие свойства, хотя явно выраженные, не имеют общего с накоплениями прошлых жизней. Сколько химических воздействий могут пробудить отдельные свойства, которые возникают и могут временно исчезать. Только осознание переменных пространственных токов может объяснить происходящие изменения в организме. Вы знаете, что зрение и слух, и все чувствования изменяются под воздействием токов. Можно убедиться, что такие колебания происходят не только в явленные сроки, но вне человеческих рассуждений. Именно лишь внешние условия могут создавать такие необъяснимые явления.

273. Мудрый философ, проданный в рабство, воскликнул: «Благодарение, очевидно могу заплатить древние долги!» — Император, прозванный Золотым, ужаснулся — «Роскошь преследует меня, когда же смогу заплатить долги мои?» — Так мудрые люди мыслили о скорейшей уплате своих долгов. Они понимали, что бывшие жизни, наверно, не обошлись без задолженности. Сколько платы должен человек иметь, чтобы спешить с расплатой.

274. Если кто уверяет, что он в чем-то ни за, ни против, считайте, что он против. Среди этих безгласных гораздо больше противников, нежели среди кричащих. Люди надеются скрыть свои противомыслия под личиною лицемерия. Потому особенно ценно, когда человек имеет мужество сказать свое мнение. Но для правильности оценки нужно осознать Братство, как рычаг Мира. Не следует признавать только свою личность, ибо одиночества не существует, но отрывающийся попадает к низшим слоям и вредит себе.

275. Правильно, что люди должны одинаково владеть парными органами, но такое обладание может начаться лишь с малых лет. Ребенок владеет руками одинаково, но на окружающих примерах он видит предпочтение правой руки. В школах уже поздно восстанавливать равенство. Только среди первых проблесков сознания ребенок может избежать предрасудка взрослых. Мало обращают внимания на любознательность детей. Можно у них поучиться, как быстро они подмечают окружающее.

276. Учение может усваиваться детьми необычайно быстро, лишь бы наблюсти особенности ребенка. Он в большой степени вспоминает уже познанное ранее.

Но особенно полезно, если вместо новых знаний ребенку помогут вспомнить уже заложенное в нем. Тем легче после усвоить и новые предметы, но следует наблюдать.

277. Каждый истинный труженик иногда испытывает как бы в бездну падение всего его дела, при том не заполнима бездна. Так дух деятеля испытывает самое опасное предreshение. Слабый почувствует бездну и впадет в уныние, но мощный познает касание беспредельности. Много наблюдений и опытов предстоит человеку, прежде чем он сможет радостно встретить лик Беспредельности. Утеряно будет сожаление о растворенных творениях человеческих. Они, даже самые величественные, рассеются в Беспредельности. Ум земной не осознает, где могут проявиться его накопленные сокровища. Человек хотел принести пользу человечеству, но вместо плодов труда перед ним бездна неизмеримая. Может содрогнуться и не малый ум, но закаленный, явленный воин труда видит перед собою не бездну, но сияние Беспредельности.

Нужно Братство во всей его взаимной помощи. Кто же, как не брат покажет Свет неразрушимого труда? В пространстве растет каждая трудовая былинка. Сотворенное не разлагается, но сеет вокруг себя делимые, бесчисленные образы. Истинное благословение в наличии Беспредельности. Можно населять ее прекрасными образами.

278. Сказано в древности: «Все люди — Ангелы». Истинно, люди суть вестники дальних миров. За то и велика их ответственность. Они мало когда доносят порученное и даже не огорчаются утрате сокровища. Только редкие могут скорбеть, что забыли нечто ими услышанное. Пусть люди не забывают, что они вестник и связь с мирами дальними. Одно такое сознание уже украсит любой обиход.

279. Уже известно, что человеческая слюна бывает и целебна и ядовита. Но при этом обстоятельстве забыто очень важное условие — оказывается, что ядовитость слюны не зависит от болезни. Также и целебность остается при некоторых заболеваниях. Значит, такие свойства не будут лишь физическими, но проявляют тонкие вещества, связанные с психическими силами. Трансмутация психической энергии в вещество, уже материальное, будет само по себе уже утверждением тонких энергий. Следует наблюдать такие же проявления в животных и даже в растениях.

Уже приходят сроки, когда сотрудничество материальных и психических сил должно быть сформулировано, иначе человечество начнет отравлять себя неопознанными энергиями. Не так опасно умножение человечества, как отравленное его состояние.

280. Ученики заметили, что Учитель часто удаляется на берег ручья и пристально смотрит на бегущие волны. Они спросили: «Точно волны помогают пранаяме?» Учитель сказал: «Вы угадали, ибо ритм волн есть удивительное чередование, которое бывает лишь в Природе. В многообразии поражающее единство». Так обращайтесь внимание на все природные естественные движения.

281. Люди, нередко лукавя, говорят, что много условий мешают им творить добро. Между тем, в каждом состоянии человек может творить добро. Это преимущество человеческого состояния.

282. В основе Братства каждый работает, сколько может. Каждый помогает по мере сил; каждый не осуждает в сердце своем; каждый утверждает знание по опыту; каждый не упускает времени, ибо оно невосвратимо. Каждый готов уделить силы Брату. Каждый проявляет лучшее качество. Каждый радуется удаче Брата. Разве эти основы слишком трудны? Разве они сверхъестественны? Разве они вне сил человеческих? Разве они требуют сверхзнания? Неужели только герои могут понять единение? Именно, для вразумления давался пример лучших людей — врача, сапожника, ткача, мясника, чтобы в разных трудах запечатлеть лучшее мышление.

Поверх труда мужского стоит явление женщины. Она ведет, она вдохновляет, она руководит на всех путях, являет пример синтеза. Можно удивляться, насколько быстро она входит в любую область. От земли и до дальних миров она успеет соткать крылья Света. Умеет сохранить чашу в разных атмосферах. Когда говорим о сотрудничестве, Мы всегда указываем на подвиг женщины. Область Братства есть область сотрудничества.

283. Кто скажет и присвоит Учение Жизни, тот впадет в ложь. Истоки Учения вне пределов человеческих. Истина написана в Беспредельности, но каждый день она откроет новый иероглиф своей вечности. Безумен тот, кто на Земле присвоит себе Учение Жизни. Высший мудрец считает себя вестником. Не новое оповещается, но к часу нужное. Домоправитель зовет к трапезе — это не ново, но

для голодных весьма насущно. Тем хуже, если кто будет препятствовать зову к трапезе. Препятствующий кует себе оковы.

284. Если кто отгоняет голодного, он уже почти убийца. Редко, чтобы в доме не было куска хлеба. Черствость, скупость, жестокость — не у порога Братства.

285. Бесстрастие не есть бессердечие и безразличие. Когда люди читают исторические хроники, они не раздражаются, ибо эти записи принадлежат далекому прошлому, но опыт жизни научает, что почти все получаемые сообщения тоже относятся уже к прошлому. Также опыт подсказывает, что будущее может устремлять мысли вне раздражения и потрясения. Так лишь будущее освобождается от страстей. Из него рождается деятельное бесстрастие. Обычно люди упрекают за это понятие, смешивая его с самостью. Но скорее можно отнести его к справедливости, и только будущее, не засоренное смутю недавнего прошлого, может позволить умыслить разумно. Так будем очень разбирать значение многих понятий, не заслуженно униженных или вознесенных.

286. Истинно, речь человеческую следует беречь от различных уродств, некрасивых и невыразительных. Также нужно очистить язык от некоторых архаизмов, основанных на давно изжитых обычаях. Люди часто произносят слова, не отдавая себе отчета в их значении. Так они наполняют речь бессмысленными именами и понятиями. Сами же они стали бы смеяться, если подумали бы о смысле сказанного. Так и во всем следует оставлять изжитое, лишенное первоначального смысла.

287. Будем вместе, будем крепко стоять для будущего. Только в таком преданном стоянии будем, как в доспехе непроницаемом.

288. В разных производствах работники вдыхают и прикасаются к многим химическим веществам. На первый взгляд может казаться, что такие прикасания проходят без вреда, но это будет лишь поверхностным суждением. Можно убедиться, что разные отрасли труда вызывают со временем одинаковые заболевания. Первый прием опасного вещества не заметен по своему влиянию, но постоянная повторность овладевает всем организмом и бывает уже неизлечима. Говорю это для другого воздействия, о котором люди, все-таки, мало думают. Уже замечали воздействие Луны. Уже врачи обращали внимание на влияние Луны на многие состоя-

ния людей. Но ведь такие влияния происходят повторно. Можно не замечать человеческим глазом уявления последствий, но лучи светила овладевают не только физическою стороною, но и всеми чувствами. При этом замечается, что люди с сильной психической энергией менее подвергаются влиянию лучей на их психику. Таким образом, естественное развитие психической энергии будет хорошей профилактикой. То же будет и в отношении многих иных токов, потому небрежение к психической энергии есть невежество.

289. Если вестник выйдет в путь с определенным поручением и забудет его, что должен он сделать? Надеяться на то, что в пути прояснится память или поспешить спросить пославшего? Умение спросить уже будет достижением.

290. Если даже одиночная психическая энергия является профилактикой физического здоровья, то на сколько же мощнее будет влияние об'единенной энергии. Смысл Братства заключается в об'единении всеначальной энергии. Только расширение сознания поможет познать значение гармонии энергий. На всех планах жизни она проявляет свою богатую силу. Наверно вас не раз спросят, как развивать психическую энергию? И как познать полезность ее? Но достаточно сказано, что сердце, устремленное к высшему качеству всей жизни, будет проводником психической энергии. Никакая насильственная условная подвижность к проявлению сердечной деятельности не полезна. Сердце самый независимый орган, можно дать ему свободу к добру и оно поспешит наполниться энергией. Также лишь в дружном общении можно получать плоды об'единенной энергии. Но для этого необходимо понять, что есть согласие.

291. Особенно трудно воспринимается мгновенность действия тонкого тела. Люди настолько связали себя условным понятием времени в земном выражении, что им невозможно отрешиться от протяженности времени. Только те, кто уже привыкли выходить в Тонкий Мир, знают, как много можно восчувствовать мгновенно. Много можно восчувствовать в духе и нужно беречь каждое восприятие.

292. Лечение музыкой уже применяется, но следствия не всегда ощутимы. Причина в том, что не принято развивать восприятие музыки. Следует от малых лет приучать усваивать красоту звука. Музыкальность нуждается в образовании. Правильно, что в каждом человеке склонность

к звуку заложена, но без воспитания она спит. Человек должен слушать прекрасную музыку и пение. Иногда одна гармония уже навсегда пробудит чувство прекрасного. Но велико невежество, когда в семье забыты лучшие панацеи. Особенно, когда мир содрогается от ненависти, необходимо спешить открыть ухо молодого поколения. Без осознания значения музыки, невозможно понять и звучание Природы. И, конечно, нельзя мыслить о музыке сфер — только шум будет доступен духу невежды. Песня водопада, или реки, или океана будет лишь ревом. Ветер не принесет мелодии и не зазвенит в лесах торжественным гимном. Лучшие гармонии пропадают для уха не открытого. Может ли народ совершать свое восхождение без песни? Может ли без песни стоять Братство?

293. Также и для лечения цветом нужно открыть глаза. Часто достаточно одного касания, чтобы глаз навсегда усмотрел красоту цвета, но, все же, касание просвещенное нужно. Если даже от прежних накоплений глаза уже открыты, то все-таки нужно, чтобы прозвучало призывное — смотри!

И в Братстве, прежде всего, ободряют друг друга утверждениями красоты.

294. Разумно следует пользоваться внешними энергиями. Преступно подвергать человеческие организмы воздействию малоисследованных энергий. Так можно легко обречь множества на вырождение. Такое вырождение происходит незаметно, но следствия его ужасны. Человек теряет свои лучшие накопления, получается как бы паралич мозга, подобно отравлению опиумом. Явление курильщиков опиума иногда походит на отравление угаром или бензином. Можно просить человечество принять меры, чтобы города не были отравлены бензином и нефтью. Опасность одурения возрастает.

295. Торжественность должна быть подкреплена понятием Братства. Не должна она оставаться как пустой звук. Утверждать торжественность, значит петь гимны восходящему Солнцу. Нужно осознать и какое очищение снисходит при преисполнении целительной торжественностью. Все предлагаемые понятия имеют значение и возвышающее и целебное. Мы предлагаем все, что может укрепить и тело. Не будем думать, что возвышенные понятия являются лишь возвышением; они составляют и целебное средство, укрепляющее организм. Следует познать силу благих понятий.

296. Торжественность должна произноситься при осознании Беспредельности. Некто удивляется, почему книга «Беспредельность» дана раньше последующих частей? Но как же можно понимать «Сердце», «Иерархию», «Мир Огненный» и «Аум», если не предпослано понятие Беспредельности? Все названные понятия не могут быть в конечности. Человек не вмести каждое из них, если не вдохнет зова Беспредельности. Может ли сердце человеческое рассматриваться, как низший материальный орган? Ужель «Иерархия» может быть помещена в ограниченном пространстве? Мир Огненный только тогда засияет, когда пламена его сверкают в Беспредельности. Если Аум есть символ высших энергий, то разве они могут быть ограничены? Так произнесем Беспредельность торжественно.

297. Возможно ли, чтобы после величия Беспредельности следовало говорить о простом земном единении? Если даже не спросят, то многие так подумают. Но кто же сказал, что земное единение нечто простое? Для понимания его, прежде всего, нужно познание синтеза. Но такое обобщение может быть лишь при осознании Беспредельности. Не просто земное единение!

Часто произносится это слово, но редко оно прилагается к действию. Много ли людей могут сойтись в объединении? Только начало труда приблизится, как найдутся многие поводы к разногласию. Невозможно раз'яснить, что есть единение, если нет в сердце понятия Великого Служения.

298. Только призыв к Братству может иногда блеснуть, как молния. Пусть люди подумают, что Братство несвоевременно, что оно недостижимо, но, все-таки, даже в одичалом сердце забьется некоторый трепет. Такое напоминание о чем-то забытом не оставит даже ожесточенное сердце. Нужно находить слова простейшие, ибо народ ждет самого простого. Народ может получить слово доброе, если он убедится, что оно улучшает его быт.

299. Вы убеждаетесь, что народ открыт к познанию. Такая ступень эволюции не случайна. Много потрясений и трепета заставили сердца содрогнуться и зазвучать. Истинно, тяжка должна быть Ноша, чтобы дойти в Сад Прекрасный.

300. Если бы планета начала произвольно замедлять или ускорять свои движения, то легко можно представить все губительные последствия. Потому так важно усвоить значение ритма. Говоря о челове-

ческом труде, следует постоянно настаивать на ритме. Труд, постоянный и ритмичный, дает лучшие следствия. Труд Братства тому служит примером. Необходим ритм, ибо он утверждает и качество труда. Любит труд познавший ритм. Но магнит любви не легко напрягается. Без него возникают осуждения и отвращения. Без него происходит утеря качества и траты времени и материалов. Нужно чаще повторять о ритме труда, иначе даже даровитые работники утратят устремление.

Производство негодных предметов есть преступление против народа. При устремлении в Беспредельность нужно думать и о качестве всего труда. Каждое Учение, прежде всего, заботится о качестве, тем самым каждый труд должен стать высоким.

301. При разрастании областей труда качество сделалось особенно насущным. Сотрудничество разных областей потребует и одинакового высокого качества — это относится как к умственному труду, так и к физическому. В области умственного труда заметно расхождение устремлений. Мнения могут быть различны, но качество их не должно быть уродливо. Может быть большое знание и малое знание, но оба могут братски следовать в познавательном устремлении. Не будет убийства знания. Ведь такое убийство равняется отнятию жизни. Сколько зародышей достижений могли быть удушены убийцами знания.

Ценно не только знание, но также ценен процесс добывания знания. Когда-то философы приравнивали к высшему наслаждению такой процесс. Чем глубже он может быть восчувствован, тем больше радости. Но если в накоплении знания вмещается рабство самости, то не радость, но желчь вскипит. Борьба неразрывна с накоплением знания, но и она будет сокровищем добычи. Все пути знания не будут человеконенавистными.

302. Еще углубляем понятие настроения. При передаче на расстоянии нередко замечается какое-то препятствующее обстоятельство, что-то окрашивающее мысли и дает им иное значение. Человеческое настроение окрашивает целую жизнь в неожиданные краски. Наши настроения зовутся молчаливыми мыслями. Они не претворяются в слова, но влияют на мысленную энергию. Можно легко представить, что и отправитель и получатель находятся в противоположных настроениях, значит, передача мыслей не будет точной. Из этого не нужно заключать, что передача мысли не может быть совершен-

ной, она может быть истинно точной, когда предусмотрены привходящие условия. Из таких условий настроение будет наиболее уявленным, но урегулирование его вполне возможно. Организмы братски настроенные будут звучать без наносных наслоений.

303. Некоторые ученики низших степеней опасаются повыситься по лестнице восхождения, чтобы избежать ответственности, которая возрастает с каждой ступенью. Такие легкомысленные ученики даже полагают, что на низших ступенях их пребывание занимательнее. Они удовлетворяются физическими явлениями материализации и тому подобными безответственными занятиями. Но они знают, что затем каждый ученик должен явить себя в каждодневном труде и выносить натиск хаоса. Не так приятно это для легкомысленных. Таким путем и само Братство покажется им трудным.

304. Люди надеются — вот пройдет оно, самое трудное, но за ним начнется сладкая Амрита. Что же подумают люди, если сказать им, что за трудным придет труднейшее! Может быть, люди попытаются соскочить с пути человеческого? Но куда же им уйти? Только тот восчувствует сладость Амриты, кто не уstraшитсЯ труднейшего.

305. Будем наблюдать апостатов, появляющихся во всех веках. Можно заметить многие общие черты их предательства. Также можно заметить, как они по кармическим путям находили подход к лицам, явление которых было ненавистно тьме. Можно усмотреть те же приемы лжи, которые они употребляли на разных языках. Но также можно утверждать, что ни одно предательство не омрачило имени гонимого — так говорит истина всех веков.

Можно находить необычные записи о небывалых попытках тьмы ниспровергнуть зачатки знания.

306. Различны виды ожидания: есть ожидание открывающее, но есть и ожидание пресекающее. При первом — ждет сердце, но при втором — ждет я, самость. Мысль, даже самая высокая, с трудом долетит через забор самости. Она поникнет на острых кольях самости. Зазубрена самость, изломана завистью и звериною злобою. Такая встреча не может допустить мысли прекрасной. Много заметного происходит в процессе принятия мысли. Бывает миг затишья перед прилетом высшего Вестника. Но надутая самость разве почует этот миг сладчайший?

Сердце, только оно, умеет преисполниться ожиданиями. Только сердце не завопит — я жду: премногая самость звучит в таком я. Но ожидать сердцем, это уже предчувствовать. Много радости в таком чувстве. Древние называли его проводником. Утверждаю, что предчувствие есть уже открытие врат. Сердце — радушная хозяйка, оно предусматривает, как встретить гостя далекого. Нужно напрячь лучшие чувства, являя встречу мысли.

307. Говорят, что мысль нужно встречать в молчании, такое условие полезно, но еще не вполне выражает всю тонкость ощущения. Именно торжественность будет наилучшим определением. Но для торжественности нужна чистота сердца.

308. Врач может чувствовать торжественность, даже вид болезней не затемнит сердце, горящее помощью ближнему. Удивительно наблюдать, как добро становится целебным. Сострадание имеет корни лишь в сердце. Так накапливаются качества братские.

309. Под влиянием мысли можно не слышать даже близкую музыку — так доказывается сила мысли над физическим организмом. Также точно среди воли жизни можно не замечать касания руки Брата, но она может, все-таки, принести равновесие. Ведь и музыка, хотя и не услышанная, помогает возвышению мысли. У Нас называют неоощущенное касание Брата словом тайным. Оно не выражается словесными знаками, но оно отражается на сердце, поэтому сердце зовется отражением Братства.

310. Не считайте нелепостью показание трех авиаторов, увидевших на большой высоте коней. Такое видение возможно по нескольким причинам. Само движение может вызывать образы, связанные с самим движением, затем и быстрота может содействовать явлениям из Тонкого Мира. По прежнему нужно советовать замечать подобные знаки. Не нужно непременно считать их какими-то предзнаменованиями, но следует принимать их, как факты из сфер Тонкого Мира. Не мало подобных проявлений, но крайности отношения не позволительны. Или к ним относятся презрительно, или с нелепым преувеличением. Разумное наблюдение редко встречается.

311. Особая наука уметь найти разумное отношение к разным предметам. Такое отношение рождает истинное понимание Братства. Сохранение сокровенных понятий покажет развитие сознания.

312. Быстрота движения до известной

степени способствует сношению с Тонким Миром. Вихрь движения как бы сметаает пыльную оболочку низших слоев. Вертящиеся дервиши или американские трясунны или сибирские прыгуны основываются на таких движениях. Но тем самым они подтверждают насколько не допустимы такие насильственные нагнетения энергии. Низшие слои не должны быть насильственно физически преодолеваемы. Правильный путь через естественное духовное восхождение. Явление Братства именно помогает такому явно прекрасному восхождению.

313. Могли замечать необычные пространственные токи такого напряжения, что они пересиливали мысленные посылки. Явление редкое и тем более следует его отметить. Неистовые пространственные токи не продолжают долго, потому очень замечательно их наблюдать. Они не могут быть продолжительными, иначе они произвели бы катастрофу. Само равновесие не может не противиться им, но каждый такой момент опасен. Называем это — бездною вихрей.

314. Внимательное наблюдение тем нужнее, что невозможно представить себе, как иногда может произойти важное явление. Только очень утонченный организм может почуять как бы зов. Ему захочется внезапно понаблюдать. Нужно быть готовым придти на такой зов.

315. Не легко собрать братство в полном созвучии. Пусть будет малочисленная группа, но без противоречий; и сойтись, и разойтись легче малому сборищу. Всякая насильственная связь противна понятию Братства. Даже пусть будут лишь трое, но их согласие будет сильнее колебания сотни. Колебание и смущение будут вредны не только людям, но и космически.

В давние времена назначались длительные испытания, чтобы собрать ядро духовно-согласное. Но одна длительность не решает задачу подбора. Годы и годы может таиться семя злое. Чувство сердца может лучше подсказать. Слишком легко люди употребляют понятие высшее, но лишь немногие умеют хранить с полною любовью. Такое хранение не в жестах и поклонах, но в сердечной неразрывной привязанности. Для одних связь будет оковами и узами, но для других она есть лестница восхождения.

Невежды с омраченными сердцами скажут — туманна такая лестница, ибо им по ней не взойти. О Братстве тем более нужно уяснить, что уже скоро люди будут

искать сотрудничества. Всякое ободрение такому сотрудничеству будет нужным. Так во всем мире будет проявляться уважение к труду. Труд будет противостоять против золота. Но много раз придется говорить о красоте труда.

316. Говорится — без глупости Земля была бы раем. Ошибочно утешаться, что теперь глупости меньше, чем в древности — даже злее она теперь стала. Каждая усовершенствованная глупость особенно опасна в игре со взрывчатыми веществами. Не думает глупость о будущем. Мысль не беспокоит ее об эпидемиях. Много видов новых болезней, но будет еще больше. Появление Братства будет озоном среди отравленных развалин.

317. Электрический аппарат дает ряды, когда в нем накапливается энергия. Он не хочет поразить некоторых людей, но достигает оказавшихся вблизи. Также и возвратный удар психической энергии поражает прикоснувшихся со злою целью. Носитель не желает никого поразить, но все же начальная энергия посылает разряды, когда ей противостоит враждебная сила. Так обратный удар не посылается, но вызывается враждебною силою. Конечно, где всеначальная энергия мощнее, там и удар ее будет сокрушительнее. Было бы непростительной ошибкой обвинять носителя мощной энергии, что он сокрушает кого-то. Не он, но нападающий сокрушает себя.

318. Работоспособность должна быть воспитана, иначе она может пробыть в дремотном состоянии. Также и работоспособность в Тонком Мире должна быть развиваема. Но путь к этому должен соответствовать условиям Тонкого Мира. Много земных способов для приближения и осознания Тонкого Мира, но никакая насильственная условность не может создать лучших сочетаний с Тонким Миром. Как во всем Бытии нужно естественное осознание сотрудничества. Оно может быть осознано или менее осознано, но оно должно наполнить чувствование. Человек должен постоянно чувствовать себя в двух Мирах. Не говорю об ожидании смерти, ибо она не существует, но говорю о труде, как земном, так и тонком. Такое прилежание к труду тонкому, вовсе не должно отрывать от труда земного, наоборот, оно лишь улучшит его качество. Напрасно люди не думают о Тонком Мире — и во снах и на яву они могут мысленно принимать участие в самых возвышенных заданиях.

319. Наполняясь возвышенными задани-

ями, человек готовит себя к таким же областям. Постепенно он настолько сжигается с таким образом мышления, что он начинает всецело принадлежать к столь же прекрасной жизни в Тонком Мире. Земная жизнь есть миг, который не имеет соизмерения с Высшим Миром, потому разумно и в кратком мгновении почерпнуть пользу для длительного.

Братское сотрудничество приближает к возвышенным заданиям.

320. Опытный пловец с высоты бросается в глубь вод. Он ощущает смелость и радость, возвращаясь на поверхность. Так и сознательный дух погружается в материю плоти, чтобы возвестить опять в горние сферы. Опыт делает такое испытание радостным. Нужно среди земных проявлений находить сравнения с высшими Мирами. Путник является также полезным примером. Сравните ощущение путника с хождением по Тонкому Миру, и получите лучшую аналогию. Также припомните разные виды путников и получите точную картину жителей Тонкого Мира. Кто-то вообще боится даже подумать о пути. Кто-то мечтает о выгоде; кто-то поспешает на помощь ближнему. Кто-то горит злобою, кто-то ищет знания. Можно представить себе все особенности путников и решить, кому из них путь будет легче.

321. Устрашающиеся путники для пути вообще не пригодны. Можно ли представить себе пловца, боящегося воды? Также вреден страх перед продвижением в Тонкий Мир. Лишь твердость и стремление к Высшему могут способствовать восхождению. Устремленный к любимому не считает ступеней лестницы. Так нужно полюбить, чтобы достигать.

Братство учит такому способу восхождения.

322. Стояние на дозоре есть признак расширенного сознания. Многие вообще не понимают, что есть охрана самого драгоценного. Нельзя надеяться на тех, кто не знает о ценности. Но можно радоваться каждому неусыпному стражу.

Братство учит такому дозору.

323. Кришакти, во всей неисчерпаемости, была ведома людям с незапамятных времен. Употребляя индусское название, чтобы указать, как давно люди уже вполне точно определили эту энергию. Неужели мыслители нынешние отстанут от своих праотцев? Настолько сейчас мыслительное творчество находится под сомнением, что оно включается в гуманитарные предметы. По современной терми-

нологии мыслительная энергия скорее должна входить в физические науки. Так пусть нападающие на энергию мыслительную найдут себя в стане невежд. Не думайте, что говорю нечто новое, к сожалению, мало достойных познающих и, таким образом, самые естественные предметы остаются в соседстве с каким-то чародейством. Потому необходимо рассеивать суеверие и невежество.

324. Особенно трудно помочь людям, вовлеченным в карму. Можно заметить, что каждое доброе действие встречает какое-то противодействие от самого, кому помощь посылается. Тем подтверждается наличие особой энергии, называемой охранительницей Кармы. Утруждающие Карму как бы встречают отпор. Каждый может припомнить, что его полезные советы вызывали отпор, самый необъяснимый. Люди, считавшиеся разумными, иногда начинали говорить вопреки своей пользе. Следует тогда искать причину в кармических причинах. Хранительница Кармы очень сильна.

325. Молния мысли иногда может быть видима. Редкое явление, но нужно ценить, когда проявление энергии мысли достигает такого напряжения. Пусть люди пока считают такое проявление сказкою, но будет время, когда токи мысли будут исследоваться и измеряться.

326. Люди всегда удивляются неожиданным явлениям, но они забывают, сколько незримых условий нужно для каждого проявления в земных слоях.

327. Гималайские сияния наблюдались многими учеными, но все же для невежд они остаются под сомнением. Также и нежгущее пламя Гималаев, хотя его наблюдали и прикасались к нему, по прежнему остается в сказочных пределах.

Каждое световое явление имеет в основании энергию, но такая сила отрицается. Даже световые звезды или вспышки, видимые многими, относятся к глазным ненормальностям. Конечно, этому убогому пониманию противоречит, что такие явления видимы одновременно несколькими людьми. Но обычно люди не осведомляют друг друга об ощущениях и видениях. Таким образом, многое остается незамеченным. Потому и молнии мысли для большинства будут лишь фантомами. Между тем, многие животные называются электрическими, ибо сохраняют в себе значительный запас энергии. Также и некоторые люди могут быть названы электрическими. Неужели трудно представить, что их мысленная энергия может быть видима, как сияние вспышки, особенно когда может произойти скрещивание токов? Нужно уметь держать глаза открытыми. Нужно потрудиться наблюдать, иначе много замечательных явлений пройдет незамеченными. Гималайские сияния могут быть достаточным примером.

328. Те же напряжения энергии имеют и целебные качества. Так, например, молния мысли очень полезна для зрения. Но нужно не только видеть ее, но и осознать значение этого явления. В древности называли эти молнии прозрением. Также и другие световые явления могут иметь целебное значение.

329. Вот мы говорили о работоспособности как в земном, так и в Тонком Мире. Но одна работоспособность есть лишь возможность к преуспеванию. Требуется и полюбить всем сердцем стремление к тонкой работе. Она может проявиться каждое мгновение и для нее должно отставить все другие помыслы.

(Окончание в следующем номере)

*В ближайших номерах
«Радуга» опубликует:*

маленькую повесть «МАМА»
и рассказы
Виктора НЕКРАСОВА,

продолжение воспоминаний
о Викторе Некрасове,

повесть Марии ГЛУШКО
«УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ»,

социальный очерк Василия МАКОВЕЦКОГО
«ДАЧА ХРУЩЕВА»,

письма Станислава РЕРИХА.

*Читайте
в следующем номере:*

повесть Этери БАСАРИЯ
«МЕЖ УЛЫБОК И СЛОВ»,

окончание повести
Григория ГЛАЗОВА
«НЕ ВСТРЕТИТЬСЯ, НЕ РАЗМИНУТЬСЯ»,

продолжение
художественно-публицистической повести
Дэви АРКАДЬЕВА

«ФУТБОЛ ЛОБАНОВСКОГО»,

стихи Тамары КОЛОМИЕЦ,

социальное исследование
Сергея ВАСИНА
«МОЯ МЕДИЦИНА МЕНЯ БЕРЕЖЕТ?»,

статью В. БОРОДИНА
«БИОГРАФИЯ КНИГИ: «КОБЗАРЬ» 1860
ГОДА»,

статью Валентины КЛЕЩИКОВОЙ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ОЛОНЕЦКОЙ ДЕВЫ».